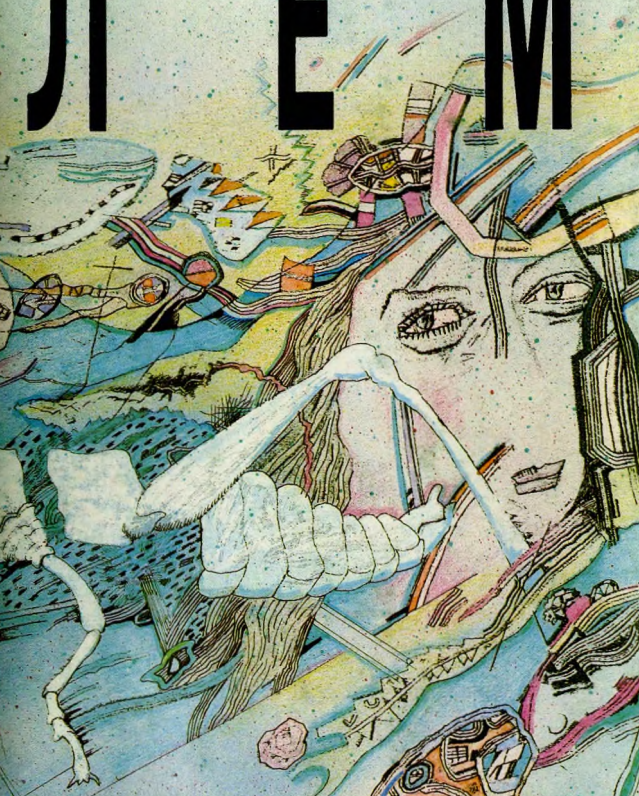


СТАНИСЛАВ ЛЕМ



S T A N I S Ł A W
LEM

DZIEŁA ZEBRANE

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ ПЯТЫЙ



РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В ВАННЕ *роман*
ВЫСОКИЙ ЗАМОК *роман*
МАСКА *повесть*

**84.4 П
Л 44**

**Издание подготовлено совместно
с литературно-издательской студией «РИФ»**

Художник Владимир Галнев

Ответственный редактор Александр Мирер

**Л 4703010100-036 подл.
94**

ISBN 5-87106-058-7

**© С.Лем, 1961, 1966, 1974
© «Текст», 1994**

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ВАННЕ

роман



I

...комнату с номером, указанным в пропуске, я не смог отыскать. Сперва я попал в Отдел верификации, потом в Отдел дезинформации, где какой-то чиновник из Секции высоких давлений отправил меня на девятый этаж, но там никто даже не стал со мной разговаривать; я блуждал среди множества военных чинов, все коридоры наполнял энергичный топот, щелканье дверных щеколд и каблучков, и в эти воинственные звуки вплеталось стеклянной музыкой далекое позвякивание словно бы санных бубенчиков. Время от времени курьеры пронесли чайники, пускавшие пар, я по ошибке забредал в туалеты, где торопливо красились секретарши; агенты, переодетые лифтерами, завязывали со мной разговор; один из них, с фальшивым протезом, столько раз возил меня с этажа на этаж, что кивал мне издали и даже перестал фотографировать меня аппаратом, прикрепленным к петлице вместо гвоздики. Ближе к полудню он уже начал мне тыкать и показал свою гордость — спрятанный под полом кабины магнитофон, но мне в моем все более скверном настроении было не до того.

Я упорно ходил из комнаты в комнату и как заведенный задавал вопросы, на которые получал ложные ответы; я по-прежнему пребывал вне оживлявшего Здание безустанного круговорота секретности, но должен был, черт побери, подключиться к нему в какой-нибудь точке; дважды я случайно оказывался в подземном хранилище и пролистал

лежавшие сверху секретные документы, но и там не нашел никаких для себя указаний. Через пару часов изрядно уже раздраженный и проголодавшийся, потому что время обеда прошло, а мне не удалось найти даже столовой, я решил наконец сменить тактику.

Я помнил, что больше всего высоких, седовласых чинов попадалось на пятом этаже, и поехал туда; через двери с надписью «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОКЛАДА» попал в кабинет помощника секретаря, в котором никого не было, оттуда, через боковую дверь с табличкой «СТУЧАТЬ», в зал, где было полно сохнувших мобилизационных планов, и тут оказался перед выбором, потому что отсюда вели две двери: на одной значилось «ТОЛЬКО ДЛЯ БАЛАНСИРОВ», на другой — «ПРОХОДА НЕТ». Подумав, я открыл вторую дверь, и оказалось, что угадал: я попал в приемную главнокомандующего, комендэра Кашенблейда. Так как я вошел через этот вход, дежурный офицер, уже ни о чем не спрашивая, провел меня прямо к командующему.

И здесь в воздухе дрожал нежный стеклянный звук. Кашенблейд помещивал чай. То был могучий, лысый старик. Его лицо с обвисшими, словно фартуки, щеками и складками под подбородком, покоилось на отворотах мундира с нашивками в форме спиральных галактик. На письменном столе перед ним в две шеренги выстроились телефоны, справа и слева от них — агентурные аппараты, а посредине — банки для экспонатов с разными этикетками, однако кроме спирта я в них ничего не заметил. Генерал — вены на его лысине вздулись — был занят нажиманием кнопок, заставлявших умолкнуть зазвонивший в данный момент телефон. Если несколько телефонов звонили одновременно, он бил по клавиатуре кулаком. Заметив меня, он бухнул сразу по всем клавишам. Наступила тишина, в которой комендэра какое-то время позвякивал ложечкой.

— А, это вы! — отрывисто произнес он. Голос у него был могучий.

— Так точно, я.

— Погодите, молчите, память у меня о-го-го, — пробурчал он, приглядываясь ко мне из-под кустисто нависших бровей. — Икс-27 контрастелларная ретранспульсия Сигни Эпс, а?

— Нет, — сказал я.

— Нет? А! Ну! Ах да!! Морбилатринкс Б-КуК восемьдесят один, запятая, операция «Гвоздулька»? «Бе», читай «Бипропода»?

— Нет, — сказал я, протягивая ему свою повестку так, чтобы он мог прочитать ее, но он недовольно ее оттолкнул.

— Н-н-ет?.. — буркнул он. Похоже, его самолюбие было уязвлено. Он задумался. Помешал чай. Телефон звякнул. Он задавил его львиным рывком.

— Пластиковый? — вдруг бросил он мне в лицо.

— Я-то? Нет, вряд ли — обыкновенный...

Кашенблейд одним ударом придушил трезвонившие уже добрую минуту телефоны и пригляделся ко мне еще раз.

— Операция Гипербог... Маммациклогастрозавр... энта-ма, пента-кла... — не сдавался он, не желая примириться с неожиданной брешью в своей непогрешимости, но я молчал; тогда он уперся могучими ручищами в клавиши и гаркнул: — Вон!!!

Похоже было на то, что он и вышвырнет меня за дверь, но я был слишком исполнен решимости и к тому же был человеком слишком штатским, чтобы послушаться беспрекословно. Я по-прежнему стоял, протягивая руку с повесткой. Кашенблейд наконец взял ее; не глядя, словно бы нехотя бросил в щель стоявшего рядом с ним аппарата, тот зашумел и начал что-то ему нашептывать. Кашенблейд слушал, слушал, тучи пробегали по его лицу, вспышки мелькали в зрачках. Он глянул на меня исподлобья и принялся нажимать на кнопки. Сперва раззвонились телефоны — таким хором, что получилась конкретная музыка; он прекратил ее и продолжал нажимать. Окружавшая его батарея аппаратов громко, наперебой сыпала цифрами и псевдонимами. Он сидел, насупившись, вслушиваясь, с дергающимся веком, но я уже видел — гроза прошла стороной. Он стянул брови в узел и проворчал:

— Давайте сюда эту вашу писульку!

— Я уже дал...

— Кому?

— Вам.

— Нам?

— Вам, господин комендерал.

— Когда, где?

— Только что, вы ее сюда бро... — начал я, но прикусил язык.

Комендерал зыркнул на меня и вырвал нижний ящичек аппарата. Тот был пуст. Бог знает, куда отправился мой документ; разумеется, я ни минуты не верил, что он бросил его туда по ошибке. Я уже какое-то время подозревал, что Командование Космического округа, как видно, чересчур

разросшееся, чтобы следить за прохождением каждого из триллиона дел в отдельности, перешло к вероятностной стратегии делопроизводства, исходя из того, что каждое дело, кружа между мириадами столов, рано или поздно попадет куда надо. Подобным методом, нескорым, но безотказным, действует сам Космос; для творения столь же вечного — а именно таким было Здание — скорость этих оборотов и пертурбаций, конечно, не могла иметь существенного значения.

Как бы то ни было, повестка исчезла. Кашенблейд, с треском захлопнув ящичек, смотрел на меня, моргая. Я стоял неподвижно, с опущенными руками, неприятно ощущая их пустоту. Он моргал все упорней — я молчал; он заморгал страстно — тогда я моргнул в ответ, и это его вроде бы успокоило.

— Н-н-а... — заурчал он и принялся нажимать на кнопки. В аппаратах взбурлило. Разноцветные ленты полезли из них на стол. Он отрывал по кусочку от каждой, читал, а иногда не глядя швырял в другие аппараты, которые делали копии, оригиналы же шли в автоматическую корзину. Наконец из одного аппарата выползла белая фольга с надписью «ДЛЯ ИНСТРУКТАЖА Б-66 — ПАПРА — ЛЕБЛ» — такими крупными буквами, что я прочитал их через стол.

— Вам... будет... поручена... Особая... Миссия, — размеренно ронял он слова. — Глубокое проникновение, дело о подрывной деятельности — вы там уже были? — спросил он и моргнул.

— Где?

— Там.

Он поднял голову и снова захлопал ресницами. Я не отзывался.

Он посмотрел на меня с презрением.

— Агент, — произнес он наконец. — Агент, а?.. Агент... вот он, нынешний агент...

Он понемногу мрачнел. Протягивал это слово на все лады, издевался над ним, посвистывал, пропускал через дырку в зубе, измывался над слогами, нервным движением задавил все телефоны сразу и взорвался:

— Все вам объясни! Газет не читаете?! Звезды! Ну? Что звезды? Что они делают? Ну?!

— Светят, — неуверенно произнес я.

— И это называется агент!!! Светят! Ба! Как?! Как светят?! А? Ну?!

Веками он подавал мне знаки.

— М... мигают, — сказал я, невольно понижая голос.

— Какой догадливый! Наконец-то! Мигают! Да! Подмигивают! А когда? Что?! Не знаете?! Ну конечно!!! Вот какой материал мне сюда присылают! Ночью! Ночью!! Мигают, трясутся, втемную! Что это? Кто мигает?! Кто ночью?! Кто трясется?!

Он рычал как лев. Я стоял бледный, прямой как струна, выжидая, пока гроза пройдет, но она не проходила. Кашенблейд, посиневший, обрюзгший, со вздувшейся лысиной, гремел на весь кабинет, на все Здание:

— А разбегание туманностей?! Что?! Не слышали?! Разбегание!!! Что это?! Кто убегает?! Это подозрительно, больше того — это признание в виновности!!!

Он раздавил меня взглядом; вконец обессиленный, тяжело опустил веки и решительно бросил стальным голосом:

— Болван!

— Вы забываетесь, господин комендерал! — выпалил я.

— Что? Что?! Вы за... а? Вы забыва... Что это? А-а! Пароль! Пароль, хорошо. Ага, это дело другое. Пароль есть пароль...

Он принялся резко вбивать пальцы в клавиатуру. Аппараты зашуршали, как дождь по жестяной крыше. Из них вылетали, подрагивая, зеленые и золотые ленты и скручивались на столе в клубки. Старец жадно читал их.

— Хорошо! — заключил он, сменяя все ленты. — Ваша миссия: исследовать на месте, проверить, обыскать, если понадобится — спровоцировать, донести. Точка. Энного числа в час эн, в энном секторе энного района вы будете вызнатованы с борта боевой единицы эн. Точка. Жалованье по категории «Карапуз», планетарные суточные с кислородной надбавкой, расчет нерегулярный, в зависимости от важности донесений. Докладывать постоянно. Связь эн-люменическая, камуфлятор формата Лира-ПиП, если падете при исполнении — посмертное награждение Орденом Тайной Степени, почести по полной программе, военный салют, памятная таблица, занесение в книгу почета... Хватит?! — отчеканил он последнее слово.

— А если не паду?.. — спросил я.

Широкая, снисходительная улыбка озарила лицо комендерала.

— Резонер, — сказал он. — Резонер, а? Хе-хе... резонер... если того, то так... Хватит! У меня нет никаких «если»! Задание получил? Получил! Баста! А ты знаешь, что это? Хе?! — выдохнул он широкой грудью. Щеки у него мягко

заколыхались, блеск пробежал по золотым четырехугольным орденов. — Миссия — это великая честь! А уж Особая — ба! Особая! Ну! В добрый энный час! За дело, парень, — и не давай себя угробить!

— Буду стараться, — ответил я, — а мое задание?

Он нажал на несколько кнопок, вслушался в звонки телефонов, погасил их. Потемневшая перед тем лысина медленно розовела. Он смотрел на меня добродушно, отечески.

— Крайне! — произнес он. — Крайне опасное! Но уж ладно! Не ради себя! Не я посылаю! Общество! Благо! Ой, ты, ты... энный... трудное дело... трудное тело тебе досталось! Увидишь! Трудное, но так надо, потому что, того...

— Служба, — быстро подсказал я.

Он просветлел. Встал. Заколыхались на груди ордена, зазвенели; аппараты и телефоны умолкли; огоньки погасли. Волоча за собой спутанные разноцветные проводочки, он подошел и подал мне могучую, волосатую, старческую ладонь стратега. Сверлил меня взглядом, словно брал пробу, брови у него сошлись, образуя выпуклые бугорки, а подпирали их складки помельче; так мы стояли, спаянные рукопожатием — главнокомандующий и тайный курьер.

— Служба! — сказал он. — Нелегкая. Служба, мой мальчик! Служба... будь здоров!!!

Я отдал честь, развернулся на каблуках и вышел, у дверей еще слыша, как он приклебывает остывший чай. Могучий это был старец — Кашенблейд...

II

Еще под впечатлением разговора с главнокомандующим я вошел в секретариат. Секретарши красились и помешивали чай. Из трубы пневматической почты выпал свиток бумаг с моим назначением, подписанный знаком комендерала. Одна из секретарш поставила на каждой бумаге штамп «совершенно секретно» и передала их другой; та вставила всю пачку в картотеку, затем картотека была зашифрована на портативной машине, ключ к шифру уничтожен по акту, а все оригиналы сожжены; пепел, после просеивания и регистрации, был запечатан в конверт с моим кодом и отправлен на специальном подъемнике в подземное хранилище. Все это, хотя и происходило рядом со мной, я наблюдал отстраненно, в ошеломлении, вызванном столь неожиданным поворотом судьбы. Загадочные замечания комендерала, несомненно,

относились к вопросам такой секретности, что на них можно было лишь намекать. Раньше или позже меня ознакомят с ними — иначе как я выполню Миссию? Я даже не знал, имеет ли она что-либо общее с пропавшей повесткой, но все это бледнело на фоне моей поразительно быстрой карьеры.

Мои размышления прервало появление молодого брюнета в мундире и при сабле; он представился тайным адъютантом комендэра, поручиком Бландердашем и, многозначительно пожав мне руку, сказал, что прикомандирован к моей особе. Он пригласил меня в кабинет, располагавшийся в том же коридоре напротив, угостил чаем и начал восхищаться моими способностями, по его мнению, незаурядными, коль скоро Кашенблейд доверил мне столь крепкий орешек. Он также восторгался естественностью моего лица, особенно носа, и я наконец понял, что то и другое он считает поддельным. Я молча помешивал чай, полагая, что сдержанность тут уместна как нельзя более. Через четверть часа поручик провел меня по офицерскому переходу к служебному лифту; мы вместе распечатали его и поехали вниз.

— Однако, однако, — вдруг произнес он, когда я уже ступил одной ногой в коридор, — не нападает ли на вас временами зевота?

— Не обращал внимания... а что?

— Ах, ничего... зевающему можно просто заглянуть внутрь, знаете ли... а вы, случаем, не храпите?

— Нет.

— О, это хорошо. Из-за храпа гибнет столько наших людей...

— Что с ними случилось? — неосмотрительно поинтересовался я.

Он улыбнулся, прикоснувшись к чехольчику, который закрывал нашивки на мундире.

— Если это вам интересно, может, посмотрите наши коллекции? Как раз на этом этаже... там, где колонны... это Отдел коллекций...

— Весьма охотно; только не знаю, можем ли мы так свободно располагать временем?

— Разумеется, — ответил он, с легким поклоном указывая мне дорогу. — Впрочем, это не простое удовлетворение любопытства... Чем больше в нашем деле знаешь, тем лучше...

Он открыл передо мной обыкновенную белую дверь. За ней блестела еще одна, бронированная. После набора цифро-

вого замка она раздвинулась, и тайный адъютант пропустил меня первым. Мы оказались в большом, ярко освещенном зале без окон. Кессонное перекрытие покоилось на колоннах, стены были увешаны роскошными гобеленами и ковриками, по большей части в черных, золотых и серебряных тонах. Таких я еще не видел; изготовлены они были из чего-то наминавшего мех. Между колоннами на восшенном полу стояли застекленные музейные столы, витрины на стройных ножках и тяжелые сундуки с поднятыми крышками. Ближайший к нам сундук был заполнен какими-то вещами, сверкавшими, как драгоценности; я узнал в них запонки. Должно быть, их были здесь миллионы. В другом сундуке высился холмик продолговатых жемчужин. Поручик провел меня к витринам; за толстым стеклом на бархатной подстилке лежали, удобно освещенные, искусственные уши, носы, зубопротезные мостики, имитации ногтей, бородавок, ресниц, фальшивые флюсы и горбы — некоторые, для наглядности, в разрезе, чтобы показать их внутреннее строение; горбы попадались и надувные, но преобладали набитые конским волосом. Чуть отступив назад, я задел сундук с жемчужинами и вздрогнул. Это были зубы — разлапистые и маленькие как жемчуг, лопатообразные, с дыркой и без, молочные, коренные, зубы мудрости.

Я поднял глаза на провожатого; тот со сдержанной улыбкой показал на ближайший гобелен. Я вгляделся в него. Он был сделан из саженных бород, бакенбард, париков, нашитых на нейлоновую основу, причем златовласые образовывали на темном фоне большой государственный герб. Мы перешли в следующий зал. Он был еще больше. Под никелевыми отражателями стояли витрины, заполненные троянскими дарами и колодами карт; с лиственничных перекрытий свисали фальшивые протезы, корсеты, костюмы; немало было и поддельных насекомых — сработанные с такой точностью, какую способна обеспечить только могущественная, располагающая всеми средствами разведслужба, они занимали четверной ряд стеклянных шкафов. Адъютант не навязывался с объяснениями, словно был убежден, что собранные здесь *согрома delicti** говорят сами за себя, и лишь иногда, когда я готов был среди множества экспонатов пропустить какой-нибудь особенно интересный, указывал на него еле заметным движением руки. Так он обратил мое

* Вещественные доказательства (лат.).

внимание на груду мака на белом шелке под стеклом, которое было отшлифовано так искусно, что над самым холмиком маковых зерен прозрачная пластина утолщалась, образуя сильную линзу, и я увидел, что каждое зернышко высверлено изнутри. Пораженный, я обратился с немим вопросом к поручику; тот лишь сочувственно улыбнулся и развел руками, показывая, что не вправе ничего говорить, а его полные губы, оттененные усиками, сложились в беззвучное слово *секретно*. Лишь у следующих дверей, открывая их передо мной, он заметил:

— Любопытные у нас трофеи... верно?

Эхо наших шагов разносилось по еще более великолепно-му залу. Я посмотрел вверх. Всю стену напротив занимал гобелен; мастерская композиция, выполненная в рыжих и черных как смоль тонах, изображала созидание государства. Адьютант, не без некоторого колебания, показал мне подстриженные черные бачки, составлявшие часть плаща одного из высших сановников, давая понять, что они принадлежали разоблаченному им агенту.

Веявший из-за колонн сквозняк предвещал близость широкой анфилады. Я уже не разглядывал экспонаты; потерянный, ошеломленный, я шествовал вслед за своим провожатым через их скопища, искрившиеся в свете ламп, мимо отделов открывания касс, искусительства, сверления стен, пробивания гор, осушения морей, дивился многоэтажным машинам для копирования мобилизационных планов на расстоянии, для превращения ночи в искусственный день и наоборот; под огромным хрустальным куполом мы прошли через палату фальсификации солнечных пятен и планетных орбит; вделанные в плиты какого-то драгоценного металла, сияли подделки созвездий и фальсификаты галактик с шифрованными пояснительными табличками; у стен бесшумно работали мощные вакуумные насосы, поддерживая высокое разрежение и нужную мощность излучения, при которых только и могли существовать поддельные атомы и электроны. Голова у меня шла кругом от избытка впечатлений; Бландердаш, несомненно, понимая мое состояние, повел меня к выходу. У дверей, снабженных часовой защелкой, мы распечатали верхний карман его мундира, он достал оттуда конверт с паролем, и мы прочли его.

Уже где-то на середине нашего шествия через Отдел коллекций я начал составлять в уме комплименты, которые скажу после осмотра всего собрания, но теперь не мог

выдавить из себя ни слова. Бландердаш, как видно, понимал и мое молчание, поскольку не нарушил его; когда мы были уже у лифта, к нам подошли двое молодых, тайных, как и он, офицеров. Отдав честь, учтиво извинившись передо мной, они отозвали адъютанта в сторону. Последовал короткий обмен репликами, за которым я наблюдал, прислонившись к дверному косяку. Бландердаш казался слегка удивленным — приподняв брови, он что-то говорил офицеру постарше, но тот сделал запрещающий жест, слегка повернув локоть в мою сторону. На этом сцена закончилась. Адъютант, не попрощавшись со мной, ушел со старшим офицером, а второй подошел ко мне и объяснил с предупредительно вежливой улыбкой, что ему приказано проводить меня в Отдел Н.

Я не видел причин возражать. Мы уже вошли в распечатанный лифт, когда я спросил его про моего прежнего чичероне.

— Простите? — переспросил офицер, наклоняя ухо к моим губам и в то же время прижимая руку к груди, как будто у него заболело сердце.

— Ну, Бландердаш... наверное, он ушел по делам службы? Знаю, что я не должен, собственно, спрашивать...

— Да нет, что вы, — поспешно проговорил офицер. Медленная, необычная улыбка растянула его тонкие губы. — Как вы сказали? — спросил он задумчиво.

— Простите?

— Ну, это имя...

— Бландердаш? Ну как же... ведь так зовут того адъютанта, верно? Или я ошибаюсь?..

— О, нет, безусловно нет, — быстро произнес он, но улыбка его становилась все задумчивее. — Бландердаш, — пробормотал он, когда лифт сбавил скорость, перед тем как мгновенно остановиться. — Бландердаш... фи... Бландердаш... пожалуйста...

Не знаю, к кому относилось его «пожалуйста» — быть может, ко мне, потому что он как раз открывал дверь лифта, — и много бы я дал, чтобы это узнать, но мы уже быстро шли по коридору, направляясь к одной из множества сияющих белых дверей. Офицер впустил меня и тотчас снова закрыл дверь. Я стоял в длинной, узкой комнате без окон; за четырьмя столами, освещенными настольными лампами, работали офицеры в расцвете лет; спасаясь от жары, они снимали мундиры, повесили их на спинки стульев и, подвернув манжеты рубашек, корпели над грудami бумаг.

Один из них выпрямился и уставился на меня черными, блестящими из-за очков глазами.

— Вы по какому делу?

Я слотнул, подавив нетерпение.

— Особая Миссия — по поручению комендэра Кашенб-лейда.

Если я — не отдавая себе в этом отчета — полагал, что остальные офицеры поднимут головы при этих словах, то я ошибался.

— Ваше имя? — спросил все тем же твердым, деловым тоном офицер в очках. У него были мускулистые руки спортсмена, загорелые, с маленькой шифрованной татуировкой.

Я назвал себя. Почти одновременно он нажал клавиши какой-то машинки у себя на столе.

— Характер Миссии?

— Особая.

— Цель?

— Я должен был узнать ее здесь.

— Вот как? — сказал он. Он снял мундир со стула, надел его, застегнул, поправил чехольчик на эполетах и направился к следующей двери. — Прошу за мной.

Я вошел следом и лишь тогда, глянув украдкой в сторону, убедился, что офицер, который меня сюда привел, вообще не вошел в комнату, а остался в коридоре.

Новый мой провожатый включил настольную лампу и стоя представился:

— Младший шифрант Дашерблар. Прошу вас, присаживайтесь.

Он нажал кнопку звонка; молодая девушка, несомненно секретарша, принесла два стакана чая и поставила их перед нами. Дашерблар сел напротив меня и начал молча помешивать чай.

— Вы ждете, что вас ознакомят с сущностью вашей Миссии, не так ли? — наконец сказал он.

— Да.

— Гм. Это трудная и сложная Миссия... да... или, вернее, необычная, господин... простите, как вас зовут?

— Все так же, — ответил я с еле заметной улыбкой.

Офицер улыбнулся в ответ. У него были отличные зубы; его лицо излучало в эту минуту непринужденность и искренность.

— Ха-ха, превосходно, превосходно. Благодарю вас. Итак, значит... сигарету?

— Спасибо, не курю.

— Это хорошо, это очень хорошо. Человек не должен иметь дурных привычек, не должен, так... один момент.

Он встал и включил верхний свет; я увидел огромный бронированный сейф свинцового цвета, протянувшийся во всю ширину стены. Дашерблар поочередно поставил в нужное положение семь цифровых валиков, массивная стальная плита бесшумно сдвинулась, и он начал перекладывать пачки папок, лежавших между металлическими перегородками.

— Я дам вам инструкцию, — проговорил он; при басовом звуке зуммера замолчал, повернулся и взглянул на меня. — Извините... как видно, что-то срочное. Вы могли бы подождать? Это займет самое большее пять минут...

Я кивнул. Офицер вышел, тихо опустив дверную ручку. Я остался один, освещаемый лампой, прямо напротив приоткрытой дверцы сейфа.

«Неужели они хотят испытать меня? Таким наивным, незатейливым способом?» — возмущенно подумал я. Некоторое время я сидел спокойно, пока какая-то сила не повернула мою голову в сторону сейфа. Я сразу же отвернулся — и встретил глазами зеркало, отражавшее ряды полок с секретными документами. Я решил считать дощечки паркета. Увы, пол был линолеумный. Я сплел ладони, напряженно вглядываясь в побелевшие косточки пальцев; наконец меня охватил гнев. Почему я не могу смотреть туда, куда хочется? Папки были черные, зеленые, розовые и лишь несколько желтых. Как раз с желтых свисали тесемки, обвешанные тарельчатыми печатями. У одной папки, лежавшей наверху, были загнуты уголки. «Тоже мне, секреты, — подумал я. — В конце концов Миссию доверил мне сам главнокомандующий, в случае нужды я могу на него сослаться — но о какой нужде я, собственно, думаю?»

Я посмотрел на часы. После ухода офицера прошло уже десять минут. В комнату не проникало ни шороха; стул, на котором я сидел, был жесткий — с каждой минутой я ощущал это все явственней. Я закинул ногу на ногу, но так было еще хуже. Встал, подтянул брюки, чтобы не мялась стрелка, и поспешно уселся опять. Теперь меня стеснял даже стол, о который я оперся локтем. Я пересчитал папки на полках, вдоль и поперек. Потянулся. Проходили минуты. Я все сильнее чувствовал голод. Выпил остатки чая и выскреб ложечкой сахар со дна стакана. На открытый сейф я уже не

мог смотреть. Я был просто взбешен. Взглянув на часы, обнаружил, что прошел почти час. Еще через час я начал терять надежду на возвращение офицера. Что-то с ним, видно, случилось. Что? Возможно, то же самое, из-за чего вдруг отозвали Бландердаша. Или его имя было Кашерблад? Олдеркларш? Далдербларл? Балдеклаш? Я никак не мог вспомнить — должно быть, от голода и злости. Встал и принялся нервно рассказывать по комнате. Почти три часа один на один с открытым сейфом, полным секретных документов, — дело выглядело смертельно серьезным. Веселую шутку сыграл со мной этот... этот — как же *этого* звали, черт подери?! Если меня спросят, кого я жду... Я решил выйти. Хорошо, но куда? Вернуться в ту комнату, через которую я сюда попал? Меня начнут спрашивать. Моя история прозвучит неправдоподобно. Я это чувствовал. Я уже видел лица судей. «Офицер, имени которого вы даже не помните, оставил вас одного в комнате с открытым сейфом? Неплохо, однако старо... может, выдумаем что-нибудь пооригинальнее?» Мне было жарко, пот струился по спине, в горле пересохло. Я выпил чай офицера, быстро огляделся вокруг и попробовал закрыть сейф. Защелки никак не вставали на место. Я вертел цифровые валики так и сяк — дверцы упорно отскакивали, никак не желая защелкиваться. Мне показалось, я слышу звук шагов в коридоре. Я отпрянул назад, рукавом зацепил папки, целая их стопка посыпалась на пол. Дверная ручка повернулась. Тогда я сделал нечто совершенно безумное — залез под стол. Я видел только ноги вошедшего — форменные брюки, черные, остроконечные полуботинки. Минуту он стоял неподвижно. Тихо закрыл дверь, на цыпочках подошел к сейфу и пропал из поля моего зрения. Я слышал шелест поднимаемых с пола бумаг, потом к нему добавилось тихое цыканье. Я понял. Он фотографировал секретные документы. А значит... значит, это не был офицер Командования Космического округа, но...

Я вылез из-под стола на четвереньках и поспешил, не отрываясь от пола, к выходу. Вскочил, схватился за ручку двери и одним прыжком очутился в коридоре. Когда я с размаху открывал дверь, на какую-то долю секунду передо мной мелькнуло перекошенное от страха, бледное личи-чужака, фотоаппарат выпал у него из рук, но прежде чем он стукнулся об пол, я уже был далеко. Вытянувшись в струнку, я шел прямо вперед чрезмерно жестким, мерным шагом. Я проходил мимо изломов и поворотов коридора, мимо рядов белых дверей, из-за которых доносился приглушенный гомон

чиновничьей суеты, вместе со стеклянным позвякиванием, в котором не было уже ничего загадочного.

Что делать? Куда идти? Доложить обо всем случившемся? Но того человека там уже наверняка не было — он убежал сразу после меня, это уж точно. Оставался лишь сейф, открытый сейф и бумаги, разбросанные по комнате. Я оцепенел. Ведь в соседней комнате я назвал свое имя; впрочем, меня привел тот молодой офицер. Они, конечно, всё уже знают. По всему Зданию наверняка объявлена тайная тревога. Меня ищут. Все лестницы, выходы, лифты под наблюдением...

Я огляделся вокруг. В коридоре кипела обычная суета. Несколько офицеров несли папки, как две капли воды похожие на те, что лежали в сейфе. Подошел курьер с кипящим чайником. Лифт остановился, из него вышли два адъютанта. Я прошел мимо них. Они даже не обернулись. Почему ничего не происходит? Почему никто не ищет меня, не преследует? Неужели... неужели все это... все это было по-прежнему — испытанием?

В следующую минуту я принял решение. Подошел к ближайшей двери. Прочитал ее номер: 76 941. Он мне не понравился. Я двинулся дальше. Перед номером 76 950 остановился. Стучать? Чепуха.

Я повернул ручку и вошел. Две секретарши помешивали чай, третья раскладывала на тарелке бутерброды. На меня они внимания не обратили. Я прошел между их столами. Вторая дверь — в следующую комнату. Я переступил порог.

— Это вы? Наконец-то... Прошу. Располагайтесь, пожалуйста...

Из-за стола мне улыбался невзрачный старичок в золотых очках. Под редкими, молочно-белыми волосами наивно розовела лысинка. Глаза у него были как орешки. Он радушно улыбался, делая приглашающие жесты. Я опустился в мягкое кресло.

— С Особой Миссией комендатора Кашенблейда... — начал я.

Он не дал мне закончить.

— Ну конечно... конечно... вы разрешите?

Дрожащими пальцами он нажимал на клавиши машинки.

— А разве вы... — начал я. Он встал — торжественный, серьезный, хотя и с улыбкой на лице. Нижнее веко левого глаза слегка подергивалось.

— Младший подслушник Бассенкнак. Разрешите позвать вашу руку!

— Мне очень приятно, — сказал я. — Так вы обо мне слышали?

— Помилуйте, как бы я мог о вас не слышать?

— Да? — ошеломленно пробормотал я. — А... значит... у вас для меня есть инструкция?!

— О, это дело неспешное, неспешное... годы одиночества в пустоте... зодиак... сердце сжимается при одной только мысли!.. об этих расстояниях... знаете... хоть это и правда, как-то трудно человеку поверить, примириться, не так ли? Ах, я тут, старый, болтаю... я, знаете ли, в жизни никогда не летал... такая профессия... все за столом... нарукавники... чтобы манжеты не снашивались... восемнадцать пар нарукавников стер и... вот так, — он развел руками, — вот так, знаете ли... вот потому-то... вы уж извините меня за болтливость... разрешите?

Он приглашающим жестом указал на дверь за своим креслом. Я встал.

Он провел меня в огромный, выдержанный в зеленых тонах зал; пол сверкал, точно озеро; далеко, в глубине, стоял зеленый стол в окружении стульчиков с тонкой резьбой. Наши шаги звучали словно в приделе храма. Старичок поспешно семенил рядом, улыбаясь, поправляя пальцем очки, то и дело сползавшие с его короткого носа; пододвинул мне мягкий стул со спинкой в виде герба, сам сел на другой, высохший ручонкой помешал чай, прикоснулся к нему губами, шепнул: «Остыл уже...» — и посмотрел на меня. Я молчал. Он доверительно наклонился.

— Вы, наверно, немного удивлены?

— О... нет, нисколько...

— Э-э... мне-то, старику, можете наконец сказать... хотя я не настаиваю, не настаиваю... это было бы с моей стороны... но, видите ли: одиночество, врата тайны распахнуты, глубь соблазнительно мрачная, зарождение искусства — как это по-человечески! Как понятно! Ведь что такое любопытство? Первое движение новорожденного! Натуральнейшее движение, архаическое стремление обнаружить причину, которая порождает следствие, а оно, в свою очередь, давая начало следующим актам, создает целое... и вот уже готовы сковывающие нас цепи... а начинается все так наивно! Так невинно! Так просто!

— Извините, — перебил я, несколько замороченный этой тирадой, — о чем вы, собственно, говорите и... куда клоните?

— Вот именно! — крикнул он слабым голосом. — Вот именно! — Он наклонился ко мне еще ближе. Золотые

проволочки его очков поблескивали. — Здесь причина — там следствие! О чем? Откуда? Для чего? Ах, мысль наша не в состоянии мириться с тем, что такие вопросы могут остаться без ответа, и поэтому немедленно творит ответы сама, заполняет пробелы, переиначивает, здесь немного отнимет, там прибавит...

— Простите, — сказал я, — но я просто не понимаю, что это все...

— Сейчас! Сейчас, дорогой мой! Не все, не все лежит во мраке. Я постараюсь, в меру своих возможностей... Уж вы меня, старика, извините, — чего вам было угодно пожелать от меня?

— Инструкцию.

— Инстр... — Он как бы пережевывал крупичу удивления. — Вы уверены?

Я не ответил. Он опустил веки за золотыми проволочками. Губы бесшумно двигались, как будто он что-то считал. Мне показалось, что я угадываю по их вялым движениям: «шестнадцать... один убрать... шесть еще...»

Он посмотрел на меня, доверчиво улыбаясь.

— Да... превосходно... превосходно... О чем это мы? Инструкция... бумаги... планы... документы... схемы наступательных действий... стратегические расчеты... и все секретное, все единственное... О, чего бы только не дал враг, коварный, омерзительный враг, чего бы он только не дал, говорю я, чтобы завладеть всем этим! Завладеть на одну только ночь, на минуту хотя бы! — Он почти пел. — И вот он посылает замаскированных, вышколенных, переодетых, матерых — чтобы те проскользнули, прорвались, выкрали и скопировали — а имя им легион! — выкрикнул он тоненьким, ломающимся голосом, увлеченный уже до того, что обеими ручками придерживал с боков очки, которые все время перекашивались у него на носу.

— И вот — как же, увы, этому помешать? — и вот они завладели... В ста, в тысяче случаев мы раскроем, мы отрубим преступную руку... разоблачим происки... обнаружим яд... но покушения повторяются... вместо отрубленного вырастает новое щупальце... а конец, конец известен — что один человек закрыл, другой откроет. Естественный ход вещей, о, сколь же естественный, дорогой мой...

Он боролся с одышкой, улыбкой умоляя о снисхождении. Я ждал.

— Но если бы, представьте себе на минуту, если бы планов было больше? Не один вариант, не два, не четыре — но

тысяча? Десять тысяч? Миллион? Выкрадут? Выкрадут, да, ну так что же... первый противоречит седьмому, седьмой — девятьсот восемнадцатому, а тот опять-таки всем остальным. Каждый твердит свое, каждый по-своему — который из них настоящий? Который из них тот самый, единственный, наисекретнейший, который из них правильный?

— Конечно, оригинал! — вырвалось у меня почти против воли.

— Вот именно! — крикнул он с таким торжеством, что тут же раскашлялся.

Он просто давился кашлем, очки едва не слетели, в последнюю минуту он поймал их, и мне показалось, что они отделились от лица вместе с частью носа, но это, конечно, была иллюзия, отвратительная иллюзия; он весь посинел от кашля. Облизал ссохшуюся полоску губ. Сложил на коленях дрожащие руки.

— А значит... значит, тысячи сейфов... тысячи оригиналов... всюду, везде, на всех этажах — за замками, за цифровыми комбинациями, за засовами. Одни оригиналы, только они, имя им миллион, и каждый иной!

— Простите, — прервал я его, — уж не хотите ли вы сказать, что вместо одного стратегического или мобилизационного плана существует их множество?

— Да! Именно так! Вы поняли меня превосходно. Превосходно, скажу я вам...

— Допустим... но ведь должен же быть один настоящий, то есть тот, согласно которому, в случае, если уж до этого дойдет, если понадобится...

Я не закончил, пораженный переменой, произошедшей в его лице. Он смотрел на меня так, точно я мгновение ока превратился в какое-то чудовище.

— Вы так... полагаете? — прохрипел он. Он моргал ресницами, трепыхавшимися в золотых рамках очков словно засохшие мотыльки.

— Неважно, — произнес я медленно. — Допустим, все обстоит так, как вы говорите. Хорошо... только... какое мне до этого дело?! И — простите — какую это имеет связь с моей Миссией?

— С какой Миссией?

Он улыбался покорно, тревожно и приторно.

— С Особой Миссией, которую поручил мне... но ведь я говорил вам об этом в самом начале, верно?... которую поручил мне главнокомандующий, комендерал Кашенблейд...

— Кашен...?

— Ну да, Кашенблейд — не будете же вы утверждать, что не знаете имени своего командующего?

Он закрыл глаза. Когда он открыл их, на его лице лежала тень.

— Извините... — прошептал он, — разрешите, я покину вас на минутку? Один момент и...

— Нет, — твердо возразил я, а так как он уже вставал, мягко, но решительно взял его за плечо. — Мне очень жаль... но вы никуда не пойдете, пока мы не закончим то, что должны закончить. Я пришел за инструкцией и хотел бы ее получить.

Губы у старичка задрожали.

— Но... но... милостивый государь... как прикажете понимать это... этот...

— Причина и следствие, — сухо произнес я. — Прошу назвать мне задание, цель и содержание операции!

Он побледнел.

— Я слушаю!

Он молчал.

— Зачем вы рассказывали мне о множестве планов? А? Кто вам велел это делать? Не желаете отвечать? Очень хорошо. Время у нас есть. Я могу подождать.

Он сплетал и расплетал трясущиеся руки.

— Итак, вам нечего мне сказать? Спрашиваю в последний раз!

Он опустил голову.

— Что вы... что вы делаете? — крикнул я, хватая его за плечи.

Его лицо переменялось в одну минуту — синее, отекшее, страшное. Выпучив глаза, он впился губами в камень перстня на безымянном пальце. Что-то тихонько треснуло — словно металлический штифт ударился о металл, — и я почувствовал, как его напрягшиеся мышцы расслабляются у меня в руках. Секунда — и я держал в объятиях труп. Я отпустил его — он тяжело осел на пол, застывший, с совершенно бескровными губами, золотая дужка очков сползла, а вместе с ней — младенчески розовая, просвечивающая под сединой лысинка, и открылась прядь совершенно черных волос... Я стоял, вслушиваясь в громкий стук собственного сердца, — над мертвецом. Глаза метались по сверкающей комнате. Куда бежать? В любую минуту кто-нибудь может войти и застать меня с трупом человека, занимавшего ответственный пост... какой, собственно? Старший... старший — что?.. Шифрант? Подслушник? Не все ли равно! Я бросился к двери и посреди зала остановился. Пройду ли? Меня узнают. Второй раз не

получится, это уже невозможно! Как объяснить? Как из этого выпутаться?

Я вернулся, поднял с пола мертвое тело, парик сполз — как старец вдруг помолодел после смерти! — я старательно натянул парик обратно, сдерживая непроизвольную дрожь, вызванную прикосновением к остывающему телу, и, ухватив его под мышки — ноги волочились по полу, — спиной попятился к двери. Скажу, что ему вдруг стало нехорошо, — уловка, конечно, дикая, однако не хуже и не лучше других. Плохо дело... плохо... вот уж влип...

Комната, в которой я разговаривал с ним перед тем, была пуста. Из нее можно было выйти двумя дверьми — одна вела в приемную, другая, должно быть, в коридор. Я усадил его за столом в кресле, он провалился в него, я попробовал исправить позу, но так было еще хуже, левая рука болталась, свисая с подлокотника; я бросил его и выбежал через вторую дверь. Будь что будет!

III

Время, похоже, было обеденное — офицеры, служащие, секретарши, все толпились у лифтов. Я присоединился к самому большому скоплению. И через минуту уже спускался вниз — лишь бы подальше от этого проклятого места, лишь бы подальше...

Обед был довольно скромный: картофельный суп с гренками, жаркое, довольно мочалистое, жидкий компот и чай, черный как деготь, но безвкусный. Никто не спрашивал денег и не выписывал счет. За столами, на счастье, не разговаривали. Даже хорошего аппетита никто никому не желал. Зато повсюду разгадывали ребусы, логогрифы, кроссворды, мнемонки и алгоритмы. Чтобы не выделяться, я начал что-то царапать карандашом на отыскавшемся в кармане клочке бумаги. Три четверти часа спустя, пробравшись через толпу у выхода, я вернулся в коридор. Большие лифты поглощали группы спешивших на работу служащих. С каждой минутой становилось все безлюднее — надо было и мне куда-то идти. Я вошел в лифт одним из последних. Я даже не заметил, на каком этаже остановилась кабина. Коридор, как и все остальные, был без окон. Два ряда белых дверей до поворота, за которым — я знал — тянулись новые ряды. Свет молочных шаров переливался в эмалированных табличках: 76 947, 76 948, 76 950...

Я остановился. Этот номер... этот номер...

Я стоял неподвижно. Коридор пока что был пуст. Каким образом, блуждая вслепую, я вернулся как раз сюда? Он лежал — если его до сих пор не нашли — за этими дверьми, уткнувшись лбом в стол, с вдавленными в лицо золотыми проволочками очков...

Кто-то уже шел сюда. Я не мог так стоять. Величайшим усилием подавил в себе желание броситься в бегство. Из-за поворота показался высокий офицер без фуражки. Я хотел уступить ему дорогу, но он шел прямо ко мне. Загадочная, неуверенная улыбка появилась на его смуглом лице.

— Простите... — приглушенным голосом произнес он в трех шагах от меня, — не угодно пройти вот сюда?

Он показал рукой на следующую дверь.

— Не понимаю, — ответил я так же тихо, — это, должно быть... какая-то ошибка.

— О, нет... нет... безусловно нет... прошу покорнейше...

Он уже открыл дверь и ждал меня. Я сделал шаг, второй — и очутился в светло-желтом кабинете. Кроме стола с несколькими телефонами да стульев тут ничего не было. Я стоял у самой двери. Он тихо, старательно закрыл ее и прошел мимо меня.

— Располагайтесь, прошу вас...

— Вы знаете, кто я? — спросил я медленно.

Он кивнул головой, словно бы кланяясь.

— Да, знаю... пожалуйста. — Он пододвинул мне стул.

— Не знаю, о чем мы стали бы говорить.

— О, разумеется, я вас понимаю, и все же постарайтесь сделать все, чтобы сохранить абсолютную тайну.

— Тайну? О чем вы?

Я все еще стоял. Он придвинулся ко мне так близко, что я почти чувствовал тепло его дыхания. Его глаза впились в мои, ускользнули, вернулись.

— Вы... действуете тут... вне плана... — произнес он голосом, сниженным почти до шепота. — Конечно, мне, вообще говоря, не следовало бы вмешиваться, но будет лучше, если я дам вам некоторые... если я поговорю с вами вот так, с глазу на глаз, это помогло бы избежать ненужных осложнений.

— Не вижу никаких общих тем, — возразил я сухо. Не столько сами его слова, даже не их тон, сколько задабривающий, такой неофицерский взгляд вселил в меня бодрость. Разве что он умышленно хотел меня успокоить, чтобы тем ужаснее...

— Понятно, — сказал он после долгой паузы. Нота

какого-то отчаяния прозвучала в его голосе. Он провел рукой по лицу. — В подобных обстоятельствах... с таким поручением... любой офицер вел бы себя, как вы, и все же, в интересах дела, иногда можно допустить исключение...

Я смотрел ему в глаза. Веки у него задрожали. Я сел.

— Слушаю, — сказал я, опершись кончиками пальцев о стол. — Говорите то, что вы... считаете нужным...

— Благодарю вас... благодарю! Я не буду кружить вокруг да около... вы действуете по приказу сверху, теоретически мне ничего не известно о суперревизии... но вы знаете, как это бывает! О Боже! Есть ведь утечки! Вы же знаете! — Он ждал, чтобы я сказал хоть слово, хотя бы моргнул, но я сидел неподвижно, и тогда он, лихорадочно сверкая глазами, с румянцем, сквозь который, точно от холода, на смуглом его лице проступала бледность, выпалил: — Послушайте! Этот старик давно работал на нас. Когда я разоблачил его и он мне признался, то вместо того чтобы передать его Отделу Дз-Эс, что было, вообще говоря, моей обязанностью, я решил не трогать его... *Те* по-прежнему считали его своим агентом, но теперь он уже работал на нас... они должны были прислать к нему своего человека, курьера, и я поставил ловушку... К сожалению, вместо него пришли вы и...

Он развел руками.

— Погодите... так он работал на нас?

— Ну конечно! Ведь я на него нажал! Отдел Дз-Эс поступил бы точно так же, но тогда дело ушло бы из моего Отдела, понимаете? И хотя разоблачил его я, кто-то другой записал бы это на свой счет... но я не поэтому, а только чтобы упростить, ускорить... в интересах службы...

— Хорошо, хорошо... но тогда почему он...

— ...отравился? Разумеется, он решил, что вы-то и есть курьер, которого он ждал, и что вы уже знаете о его измене... он был только пешкой...

— Ах, вот как...

— Ну да... дело вовсе несложное... Не спорю, я превысил свои полномочия, решив не трогать его. И вот, чтобы меня подсадить, вас послали прямо к старику... интрига...

— Но ведь... я случайно зашел в его комнату! — вырвалось у меня. Прежде чем я успел пожалеть об этих словах, офицер криво усмехнулся.

— Откуда вы можете знать, что вас ожидало в соседних? — буркнул он, опуская глаза.

— То есть как это...

Призрак длинного ряда одинаковых, розовато-седых

старичков в золотых проволочных очках, с терпеливой улыбкой ожидающих за своими столами — их нескончаемой галереи в светлых, опрятных комнатах, — проглянул из его слов, и я внутренне задрожал.

— Значит, не в одной этой комнате?

— Разумеется, ведь мы должны работать без риска...

— И в тех, других комнатах тоже?..

Он кивнул.

— И все остальные?..

— Перевербованные, само собой...

— На кого же они работают?

— На нас — и на них. Вы же знаете, как это выглядит; но мы держим их на крючке, на нас они работают — производительнее...

— Минутку... но что он мне плел? О мобилизационных пла... о тысячах вариантов оригинала...

— Ох, это был шифр... опознавательный шифр... пароль... вы его не поняли, потому что это был *их* шифр... а он-то, конечно, решил, что вы *не хотите* понять, то есть уже проведали о его измене. Ведь все мы носим нагрудные дешифраторы...

Он расстегнул мундир на груди и показал спрятанный под рубашкой плоский аппарат. Я вспомнил, как хватался за сердце офицер, что вез меня в лифте.

— Вы говорили — интрига. Чья?

Офицер побледнел. Веки у него задрожали, опали; несколько секунд он сидел, закрыв глаза.

— С большой... — прошептал он, — с большой высоты в меня целились, но я невиновен... Если бы вы захотели хотя бы отчасти воспользоваться своими обширными полномочиями и...

— И что?

— И закрыть это дело, я бы сумел от...

Он не закончил. С близкого расстояния он изучал мое лицо. Я видел стеклянные белки его неподвижных, расширенных глаз. Пальцами рук, сплетенных на коленях, он поглаживал, ласкал, выщипывал сукно мундира.

— Девятьсот шестьдесят семь дробь восемнадцать дробь четыреста тридцать девять, — умоляюще шепнул он.

Я молчал.

— Четыреста... четыреста одиннадцать... шесть тысяч восемьсот девяносто четыре дробь три... Нет? Тогда дробь сорок пять! Дробь семьдесят!!! — заклинал меня его содрогающийся голос.

Я хранил молчание. Бледный как стенка, он встал.

— Де... девятнадцать... — попробовал он еще раз. Это прозвучало как стон.

Я не отозвался. Он медленно застегнул мундир.

— Вот, значит, как? — сказал он. — Понимаю. Шестнадцать... хорошо... согласно... согласно... извините меня.

Прежде чем я оправился от изумления, он вышел в соседнюю комнату.

— Погодите! — закричал я. — Погодите! Я...

За неплотно прикрытой дверью прогремел выстрел; следом, как эхо, послышался шум падающего тела. Со вставшими дыбом волосами я застыл посреди комнаты. «Бежать! Бежать!!!» — выло у меня в голове; одновременно, обратившись в слух, я ловил звуки, все еще доносившиеся из-за двери. Что-то слабо стукнуло, словно каблуком об пол. Еще шорох... и тишина. Полная тишина. В щелке приотворенной двери темнела штанина с лампасом. Не отрывая от нее взгляда, я попятился к выходу, нащупал дверную ручку, нажал на нее...

Коридор — я проверил это двумя косыми взглядами — был пуст. Я закрыл дверь, повернулся и привалился к ней спиной. Напротив, небрежно опершись рукой о косяк, стоял в открытых дверях приземистый офицер и смотрел на меня, не двигаясь. Внутренности у меня обрушились в пустоту. Я перестал дышать, все более уплощаясь под его слегка скучающим, ленивым взглядом. На его лице, плоском, с пухлыми щеками, рисовалось все возрастающее отвращение. Он достал из кармана какой-то мелкий предмет — перочинный ножик? — подбросил его раз, другой, третий, по-прежнему глядя на меня, крепко ухватил, потянул указательным пальцем — с тихим щелчком выскочило лезвие. Он попробовал его кончиком большого пальца. Улыбнулся уголками рта. Медленно закрыл глаза, словно говоря «да», отступил в свою комнату и закрыл дверь. Я стоял и ждал. В тишину вплыло далекое, гнусавое пение поднимающегося где-то лифта. Оно ослабло, исчезло — и снова я слышал только толчки собственной крови. Я отлепил руки от лакированной двери. Замочная скважина — подглядывала она или нет? Нет. Она была черным, слепым пятнышком. Шаг, второй, третий... я шел... шел... снова один, среди бесчисленных коридоров, сходящихся, расходящихся, лишенных окон, залитых электрическим светом, со стенами без единого изъяна и рядами дверей с белоснежным отливом, измученный, слишком слабый, чтобы решиться на еще одну попытку вторгнуться

куда бы то ни было, войти в любой из тысяч круговоротов, циркулирующих за звуконепроницаемыми плитами. Время от времени я пробовал опереться о стену, но она была слишком уж гладкой, слишком вертикальной, не давала опоры; часы, не заведенные вовремя, остановились неизвестно когда, и я не знал уже, ночь это или день, временами я впадал в настоящее оцепенение, терял сознание, но тут же меня заставляло очнуться хлопанье каких-то дверей, звук трогającego лифта, я пропускал мимо людей с папками, — то становилось пусто, то целые хороводы офицеров устремлялись в одну и ту же сторону, возможно, здесь работали круглые сутки, — я видел выходящих и тех, что их сменяли; не знаю толком, что было потом. Из того, что происходило в последующие часы, я, собственно, не помню уже ничего: хотя я шел, не разбирая дороги, садился в лифт, куда-то ехал, выходил, даже отвечал, если меня случайно спрашивали — кажется, кто-то желал мне «спокойной ночи», — мой ум не принимал в себя ничего, а только отражал окружающее, словно облитый водой, отливающий влажным блеском комок ссохшейся глины. Под конец, в самом деле не знаю как, я забрел в комнатуху, ведущую в туалет. Открыл дверь: там оказалась похожая на операционную, сверкающая никелем и фарфором ванная комната, с мраморной ванной, покрытой резьбой, как саркофаг; едва я уселся на ее краю, как почувствовал, что засыпаю. Последним усилием хотел погасить следящий за мной свет, но нигде не увидел выключателя; покачиваясь то в одну сторону, то в другую, я сидел на широком краю ванны; блики света, отраженного от никелированных труб, не давали покоя глазам, впивались в веки, выворачивая их наружу, разбрызгивались на ресницах, — я заснул, несмотря на всю эту пытку, закрыв руками лицо; сполз на какое-то твердое ложе, ударился обо что-то угловатое головой, но даже боль не заставила меня очнуться.

Не знаю, как долго я спал. Просыпался я невероятно медленно, преодолевая теснившиеся во вратах яви бесформенные, инертные, хотя и невесомые, препятствия. Наконец я оттолкнул последнее из них, точно крышку гроба, и в зрочки мне впился блеск, бьющий из голой лампочки, свисавшей с высокого, белого, лепного потолка.

Я лежал навзничь у мраморного основания ванны, все кости были словно раздавлены в страшной аварии. Поскорее стащил с себя все и вымылся под душем. Над ванной, в серебристой посудинке, оказалась баночка с жидким,

ароматным мылом; кроме того, я нашел мохнатые, идеально жесткие, вышитые узорчиком в виде широких глаз, полотенца, от прикосновения которых кровь живее заструилась по всему телу. Разогревшийся, освеженный, я торопливо оделся. До сих пор я совершенно не думал о том, что буду делать дальше. Протянув руку к дверной задвижке, я в первый раз со времени пробуждения вдруг осознал, где я, и отчетливость этой мысли ударила меня словно электрическим током. Я ощутил недвижный, белый лабиринт, который за этой тонкой перегородкой с неколебимым спокойствием ждал моего бесконечного, как и сам он, странствия, ощутил сети его коридоров, его разделенные звуконепроницаемыми перегородками комнаты, и каждая готова была втянуть меня в свою историю, чтобы тут же выплюнуть обратно, — от этого ясновидения я задрожал, облился мгновенным потом и чуть не выбежал в дверь с пронзительным, бессмысленным криком о помощи или милосердном последнем ударе... но этот приступ слабости скоро прошел. Я глубоко вздохнул, выпрямился, отряхнул костюм, даже проверил в зеркале над раковиной умывальника, достаточно ли прилично я выгляжу, и ровным, деловым, не слишком быстрым и не слишком медленным шагом, в темпе, который навязывало мне Здание, — вышел.

Перед уходом я поставил часы на восемь — наугад, чтобы ориентироваться хотя бы в относительном течении времени, раз уж я не знал даже, ночь сейчас или день. Коридор, в который я вышел, был почти совершенно безлюдным рукавом главного. Приближаясь к главному, я заметил обычное оживление. Служебные занятия шли полным ходом. Я спустился на лифте вниз, в слабой надежде, что, может быть, попаду туда в обеденное время и столовая будет открыта, но застал стеклянные двери запертыми. Внутри шла уборка. Я повернулся и поехал на четвертый этаж — лишь потому, что кнопка у этого номера блестела, будто ее нажимали чаще других. Коридор, такой же, как все остальные, оказался пустым.

Почти в самом конце, перед поворотом, стоял у дверей солдат. На нем — первом из всех встреченных мною военных — не было никаких знаков различия. Простой мундир был стянут белым ремнем. Он застыл, как статуя, в стойке «смирно», сжимая в перчатках темный автомат, и даже не моргнул, когда я миновал его. Я прошел несколько десятков шагов, резко повернулся и направился прямо к двери, которую он охранял. Если это был главный вход в

штаб-квартиру главнокомандующего, у меня было мало надежды пройти, но я все же решился. Я скользнул по нему краешком глаза, берясь за дверную ручку. Он просто не замечал меня — абсолютно безразличный, уставившийся в какую-то нейтральную точку противоположной стены, Я вошел. Напротив двери — это было так неожиданно, что я вздрогнул, — за потрескавшейся балкой притолки крутой спиралью уходила наверх лестенка с седлообразными вытоптаннами ступенями. Ступив на первую, я почувствовал, что ноги охватил пронизывающий до костей холод. Я опустил руку. Она погрузилась в струю плывущего сверху ледяного воздуха. Я стал подниматься. Там, наверху, белым пятном маячило в полутьме стекло приоткрытой двери. Я оказался на пороге сумрачной часовни. В глубине, под распятым Христом, стоял открытый гроб, окруженный свечами. Язычки пламени слабо колыхались, тусклым, неуверенным отблеском ложась на лицо покойника. По обе стороны прохода, в желтоватой мгле чернеющим массивом стояли скамьи. За ними открывались темные, что-то таящие ниши. Послышался стук подошв о каменный пол, но я никого не увидел. Я медленно пошел по проходу, думая уже только о том, куда направлюсь, когда выйду из часовни, пока наконец мой взгляд, блуждая среди подвижных теней, не встретил лицо покойника. Умиротворенное, словно запечатленное в чистом отвердевшем воске, — я узнал его сразу. В гробу, закрытый до пояса флагом, который свешивался на ступени обильными, искусно уложенными складками, покоился старичок. Его голову окружали жестко накрахмаленные кружева, выступающие из-под изголовья гроба; золотых очков на нем не было, поэтому — и еще, может быть, потому, что он был мертв, — его черты утратили конфузливую игривость. Он лежал прямо, торжественно, словно уже окончательно готовый и заверченный; я еще шел к нему — все медленнее, в поднимающейся волне ледяного воздуха, которая, казалось, текла от него. Из-под флага, по обе стороны старательно отутюженного полотна, высовывались аккуратно сложенные руки. Один мизинец не был согнут и торчал то ли издевательски, то ли предостерегающе, притягивая взгляд этим своим строптивым оттопыриванием. Откуда-то сверху раз и другой донеслась одна-единственная нота, вернее, посапывание треснутой органной трубы, словно кто-то неумело пробовал звук на клавиатуре, — но потом опять стало тихо.

Почести, которых удостоился покойный, несколько удивили меня, но я не особенно над этим задумывался. Уж

слишком меня занимала моя собственная ситуация. С зябнувшими стопами я стоял у гроба, вдыхая тепловатый запах стеарина. Затрещал фитиль, я почувствовал деликатное прикосновение к своему плечу и одновременно услышал проникающий в самое ухо шепот:

— Ревизия уже была...

— Что? — отозвался я, и это слово, произнесенное вовсе не повышенным, а лишь не сдерживаемым голосом, отразилось от невидимого потолка глубоким, усиливающим эхом. Вплотную за мной стоял высокий офицер с бледным, слегка обрюзгшим, лоснящимся лицом и посиневшим носом; между отворотами мундира белел прицепленный наизнанку жесткий воротничок.

— Вы... то есть, вы, святой отец, что-то сказали? — спросил я тихо. Он благоговейно закрыл глаза, словно хотел благословить меня возможно тактичнее.

— Ох, нет... это недоразумение... я принял вас за другого. К тому же я не отец, а... брат.

— Ах, вот как?

С минуту мы стояли молча. Он наклонил голову вбок. Она была обрита наголо, на темени лежала маленькая круглая шапочка.

— Вы... извините, что спрашиваю... возможно, были в дружеских отношениях с покойным?

— В известном смысле... впрочем, не слишком близких... не слишком, — ответил я.

Его глаза — собственно, я видел лишь дрожащие в них микроскопические отражения свечей — необычайно медленно поползли по моей фигуре вниз и с той же задумчивостью поднялись обратно.

— Последний долг? — выдохнул он мне прямо в ухо с оттенком неприятной доверительности. Он посмотрел на меня еще раз, осторожнее. Я ответил твердым, неприязненным взглядом. Этот взгляд заставил его выпрямиться.

— Вы... с поручением? — смиренно выдохнул он.

Я молчал.

— Сейчас... сейчас состоится отпевание, — усердно забормотал он, — заупокойная молитва, а потом отпевание. Если вам будет угодно...

— Это не имеет значения.

— Конечно, конечно...

Я зябнул все сильнее. Леденящие дуновения кружили среди свечей, шевеля язычки пламени. Откуда-то сбоку в глаза мне сверкнул отраженный свет. Там, подле гроба,

стояло что-то тяжелое, квадратное, — большой холодильник, обжигающий холодом через никелевую решетку.

— Неплохо устроено, — равнодушно буркнул я. Монах-офицер бросил взгляд в сторону и белой, мягкой, словно вылепленной из сыра ладонью прикоснулся к моему рукаву.

— Осмелюсь доложить, не все, — шептал он, — много упущений... нерадивость... недобросовестное исполнение обязанностей... офицер-настоятель не справляется...

Он цедил эти слова, одновременно изучая вблизи мое лицо, готовый к отступлению в любую минуту, но я молчал, вглядываясь в омываемое тенями лицо покойника, не делая ни малейшего движения, и это явно придавало ему смелости.

— Конечно, это не мое дело... я только... — дышал он мне в висок, — однако, если мне позволено будет спросить, в надежде споспешествовать, обычным служебным порядком, вы... уполномочены высокой инстанцией?

— Да, — ответил я.

Губы у него восхищенно раздвинулись, обнажая большие, лошадиные зубы. Он стоял, болезненно улыбаясь, словно наслаждался моим ответом.

— В таком случае позвольте сказать... если я не мешаю?

— Нет.

— Благодарю... Все многочисленнее упущения воинства...

— Господнего? — подсказал я.

Улыбка его стала вдохновенной.

— Господь не забывает о нас никогда... я имею в виду дела нашего Отдела.

— Вашего?

— Так точно. Теологического... Отец Амнион из секции конфиденентов в последнее время растратил...

Он продолжал говорить, но я уже не слушал — потому что оттопыренный мизинец покойника дрогнул. Леденя, чувствуя на своей шее омерзительное, теплое дыхание офицера-монаха, я вглядывался в этот палец. Все остальные, полусогнутые, плотно прилегали друг к другу, будто вылепленная из воска вогнутая раковина; только мизинец, вроде бы более пухлый, розоватый, подрагивал, и мне почудилось, что в этой невозможной выходке, в дрожащей игривости движений я узнаю рассеяннo-бодрoу натуру старичка. В то же время было в этом движении нечто бесплотное, удивительно легкое, заставлявшее думать не столько о воскресении, сколько о мельчайших и быстрых движениях насекомых, из-за которых, к примеру, чуть заметно размазываются контуры брюшка перед самым

взлетом. Расширенными глазами я ловил эту дрожь, все более явную, непрекращающуюся.

— Этого не может быть! — вырвалось у меня. Монах припал ко мне, наполовину согнувшись.

— Слово чести! Клянусь! Долг службы не позволил бы мне осквернить уста ложью...

— Да? Ну... тогда... расскажите о ваших... занятиях, — почти машинально ответил я и вдруг понял, что предпочитаю его отвратительную настырность перспективе остаться один на один со старичком, словно надеясь, что в присутствии сразу двоих покойник не отважится на что-нибудь большее.

— Исповедные картотеки содержатся в небрежении... контроля нет... половина наших осведомителей провалена... офицер-привратник не следит за своевременной доставкой пропусков и извлечений из дел... в Секции движения душ совершенно запущена провокационная деятельность...

— Что вы... что вы такое говорите, брат? — пробормотал я. Палец успокоился. Надо было идти, и как можно быстрее, но я уже увяз в этой нелепой ситуации.

— Как обстоит дело... с отправлением обрядов? — бросил я нехотя, помимо воли входя в роль ревизующего инспектора.

Его возбуждение росло; он шипел, поблескивая слезящимися глазами, блаженство доносительства распирало его, облепляло губы беловатым осадком слюны.

— Обряды! Обряды! — он нетерпеливо скривился, раззадоренный тяжестью обвинений, которые собирался выдвинуть. — Проповеди не подстрекают ни к каким выступлениям, не имеют численных результатов, правила подслушивания систематически нарушаются, а в секции Высшей Цели растраты привели к скандалу, затушеванному лишь потому, что тайный брат Мальхус столкнулся с ризничим, которому взамен посылает паломниц с девятого, понятно, наставленных соответствующим образом, а отец офицер Орфини, вместо того чтобы доложить куда следует, развлекается мистикой... толкует о внеземных карах...

— Космических?

— Если бы! О, нет, видите ли... простите, не имею чести знать вашего звания...

— Ничего, неважно...

— Понимаю... толкует об апокалипсических карах, хотя располагает гораздо более эффективными средствами благодаря коллегам из Башни... а вдобавок тайный брат Мальхус утверждает всем и каждому, что расшифровал Библию... Вы понимаете, что это такое?

— Святотатство, — предположил я.

— Со святотатствами Господь как-нибудь управится сам, ему они не страшны... речь идет о всем ордене! Теологические основы теории святого отступничества.

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо перебил я, — давайте без общих фраз. Этот тайный брат Мальхус... как это выглядело? Но, пожалуйста, покороче...

— Слушаюсь... Что брат Мальхус — триплет, было известно давно — его поведение во время псалмов... вы понимаете — брат Альмигенс должен был высветить его... мы подсунули ему парочку штатских... распластавшись крестом, подавал знаки... ну, это статья четырнадцатая... а во время квартального анализа в ризе его офицера-исповедника были обнаружены вшитые серебряные нити, скрученные по две...

— Нити? С чего это вдруг?

— Ну как же... для экранирования подслухофона... я лично провел следствие среди причастников.

— Благодарю, — сказал я, — довольно. Я уже составил себе общее представление. Вы свободны...

— Но как же так, как же так, я еще только...

— Прощайте, брат.

Монах выпрямился, сложил руки по швам и вышел. Я остался один. Итак, церковные обряды не были даже дополнительным, побочным занятием, чем-то вроде хобби, но служили лишь прикрытием обычной служебной деятельности? Я посмотрел на мертвеца. Палец дрогнул. Я подошел к гробу. «Пора идти», — подумал я. Рука, которую я прятал в карман, внезапно выскочила из него и упала на ладонь старичка. Прикосновение к его коже, холодной, высохшей, как ни было оно мимолетно, врезалось мне в память, и одновременно мизинец, едва задетый кончиками моих пальцев, остался у меня в руке. Я инстинктивно выпустил его — он закатился в складки флага и лежал там, розовый как крохотная колбаска. Я не мог его так оставить. Я поднял его и поднес к глазам. Он был словно из пузыря, с нарисованными морщинками и даже ногтем. Протез? Послышались шаркающие шаги. Я спрятал эластичную вещичку в карман. Несколько человек вошли в часовню. Они несли венок; я отступил за колонну. Раскладывали траурные ленты с золочеными буквами. У алтаря появился священник. Прислужник поправлял на нем литургическое облачение. Я огляделся вокруг. Сразу за мной, рядом с рельефом, изображавшим отступничество святого Петра, были узкие, с пробойчиком для замка, двери. За ними я нашел коридорчик,

сворачивавший влево, в его конце, перед чем-то вроде обширной ниши с тремя ведущими вверх ступеньками, сидел на трехногом табурете монах в рясе и деревянных сандалиях и переворачивал загрубевшими, мозолистыми пальцами страницы требника. Он поднял на меня глаза. Он был очень стар, с землисто-бурой шапочкой на лысом черепе.

— Куда ведет эта дверь? — спросил я, указывая в глубь ниши.

— А-а? — прохрипел он, приставляя ладонь к уху.

— Куда ведет эта дверь?! — крикнул я, наклонившись над ним. Радостный блеск понимания оживил его лицо со впалыми щеками.

— Да нет... никуда не ведет... это келья... отца Марфеона, келья... пустынника нашего..

— Что?!

— Келья, говорю..

— А... можно к этому пустыннику? — ошеломленно спросил я.

Старик покачал головой.

— Нет... нельзя... потому, значит, пустынь...

Я на минуту задумался, потом взошел по ступенькам и открыл дверь. Я увидел нечто вроде темной, захлавленной прихожей; по углам валялись грязные мешочки, засохшая луковичная кожура, пустые банки, хвостики от колбас, угольная пыль — все это, вперемешку с бумажным сором, устилало пол, лишь посередине имелся проход, вернее, ряд проплешин, — чтобы поставить ногу; он вел к следующей двери, сколоченной из нетесаных бревен. Я пробрался к ней через завалы мусора и нажал на огромную, кованую, дугообразную ручку. Послышалось торопливое шарканье, взволнованный шепот, и в темноте, еле рассеиваемой низко, словно на самом полу, горящей свечой, я увидел беспорядочное бегство каких-то фигур; они тыкались по углам, на четвереньках заползали под кривой стол, под нары; кто-то из пробежавших мимо задул свечу, и воцарилась чернильная темнота, наполненная сварливым перешептыванием и посапыванием. В воздухе, который я втянул в легкие, стояла духота немытого человеческого муравейника. Я поспешно попятился. Старый монах, когда я проходил мимо, оторвал глаза от молитвенника.

— Не принял пустынник, а? — прохрипел он.

— Спит, — бросил я на ходу.

Меня догнали его слова:

— Ежели кто первый раз взойдет, всегда говорит, что

спит, мол, а уж кто во второй раз, остается подолее, вот ведь какое дело...

Возвращаться приходилось через часовню. Как видно, заупокойную молитву уже прочитали, потому что гроб, флаги и венки исчезли. Отпевание кончилось тоже. На слабо освещенном амвоне стоял священник, размахивая руками на всю церковь; под парчой у него на груди обозначалась квадратная выпуклость.

— ...ибо сказано: «И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени»... — вибрировал высокий голос проповедника, доходя до мрачного свода. — Сказано «до времени», но где пребывает он? В море ли красном, что плещет под нашею кожей? Или в природе? Однако же, братья, не сами ли мы — необъятная эта природа? Не шум ли ее древес отзывается в треске наших костей? А нашей крови потоки ужели менее солонны, нежели те, коими океан омывает известковые пещеры подводных своих скелетов?! А пустыни наших очей разве не жжет неугасимое пламя?! И разве не оказываемся мы в итоге шумной увертюрой покоя, супружеским ложем праха, а космосом и вечностью лишь для микробов, кои, в жилах затерянные, всячески тщатся наш мир окружить?! Неисповедимы мы, братья, как и то, что нас основало, неразгаданным давимся, с неразгаданным переговариваемся...

— Слышите? — раздался шепот за моей спиной. Уголком глаза я поймал светящееся бледное лицо брата офицера. — «Затеряны», «давимся»... и это называется провоцирующая проповедь! Ничего не способен протащить между строк. Тоже мне провокация!

— Не ищите ключа тайны, ибо то, что отыщете, не более чем отмычка! Не тштитесь постигнуть непостижимое! Смиритесь! — гудел в каменных изломах перекрытий голос с амвона.

— Это отец Орфини. Он уже кончает, сейчас я его позову... вы должны этим воспользоваться — хорошо бы в рапорт его!! — шипел бледный брат, обжигая мне плечи и шею гнилым дыханием. Стоявшие поближе начали оглядываться.

— Нет, нет! — крикнул я, но он уже крался к алтарю по боковому проходу.

Священник исчез. Мой возглас, вызванный внезапной поспешностью монаха, привлек внимание остальных. Я хотел уйти незаметно, но у выхода образовалась толкучка. Тем временем монах уже возвращался, ведя отца проповедника,

без сутаны, в одном мундире. Он взял его за рукав, подтолкнул ко мне, состроил за его спиной многозначительную гримасу и исчез в тени колонны. Мы остались вдвоем.

— Вы хотите... исповедоваться? — мелодичным, мягким голосом спросил меня этот человек. У него были седые виски, коротко подстриженные волосы, напряженное, неподвижное лицо аскета, во рту — золотой зуб, блеск которого заставил меня вспомнить о старичке.

— Нет, вовсе нет, — поспешно возразил я и, пораженный внезапной мыслью, выпалил: — Мне нужна лишь некая... информация.

Исповедник кивнул.

— Прошу вас.

Он двинулся первым. За алтарем, в розовом свете рубиновой лампочки, горевшей перед каким-то изображением, виднелась низкая дверь. Коридор за ней был почти темным. По обе стороны стояли фигуры святых, повернутые к стене, задернутые полотнищами или открытые. Меня поразила освещенность комнаты, в которую мы вошли. Стену напротив двери занимал огромный сейф. На его оксидированной стали чернел большой, инкрустированный эмалью крест. Священник указал мне на кресло, а сам уселся по другую сторону заваленного бумагами и старыми книгами стола. Он и в мундире выглядел как священник; руки у него были белые, выразительные, с сухожилиями пианиста, мертвая сетка голубых прожилок покрывала виски, кожа, казалось, прилегала там прямо к сухой, сводчатой кости, все в нем дышало неподвижностью и спокойствием.

— Я слушаю вас...

— Отец Орфини, вы знаете начальника Отдела инструкций? — спросил я.

Он чуть приподнял брови.

— Майора Эрмса? Знаю. Знаю.

— И номер его комнаты?

Отец Орфини смешался. Он потрогал пуговицы мундира, точно это была сутана.

— А разве... — начал он, но я прервал его:

— Итак, какой это номер, как вы думаете?

— Девять тысяч сто двадцать девять... но я не понимаю, почему я...

— Девять тысяч сто двадцать девять, — повторил я медленно. Я был уверен, что не забуду этот номер.

Священник смотрел на меня со все возрастающим удивлением.

— Прошу прощения... брат Персвазий дал мне понять...
— Брат Персвазий?.. Тот монах, что решил привести вас?

Что вы о нем думаете?

— Но я действительно не понимаю... — сказал священник. Он все еще стоял у стола. — Брат Персвазий возглавляет ячейку орденового рукоделья.

— Полезное дело, — заметил я, — а что это за рукоделье, разрешите узнать?

— Вообще говоря, литургические принадлежности, облачения, предметы культа...

— И это все?

— Ну, скажем, по специальным заказам, например, для Отдела Эс-Дэ, недавно была изготовлена, как я слышал, партия подслушивающих кипятильников для чая, а Геронтофильная секция изготавливает одежду и всякие мелочи для больных стариков, например, митенки с пульсографами...

— С пульсографами?

— Ну да, для регистрации тайных влечений... магнитофонные подушечки для тех, кто разговаривает во сне, — и так далее. Но в чем дело... или брат Персвазий что-нибудь говорил обо мне?

— Он говорил мне о разных...

Я не закончил.

— Сотрудниках нашего Отдела?

— Мы беседовали...

— Извините...

Священник сорвался с кресла, подбежал к сейфу и тремя привычными движениями пальцев набрал номер на цифровом щитке. Стальные дверцы щелкнули и приоткрылись; я увидел груды разноцветных, опечатанных папок. Священник лихо-радожно перерыл ее, схватил одну из папок и повернул ко мне свое бледное лицо; на лбу и под носом блестели капельки пота, мелкие, как булабочные острия.

— Прошу вас, располагайтесь, я через минуту вернусь!

— Нет! — крикнул я, вскочив. — Дайте мне эту папку!

Я действовал в каком-то нантии.

Он прижал ее обеими руками к груди. Я подошел к нему, впился взглядом в его глаза, взялся за картонный уголок. Он не отпускал папку.

— Девятнадцать... — произнес я медленно. Капля пота, словно слеза, стекла по его щеке. Папка вдруг сама перешла в мои руки. Я открыл ее. Она была пуста.

— Долг службы... я действовал... приказ сверху, — бормотал священник.

— Шестнадцать... — сказал я.

— Пошадите! Нет! Нет!!!

— Сядьте. Вы не выйдете из этой комнаты, пока не получите разрешения по телефону. Вам понятно?

— Так точно! Так точно!

— И вы никому не будете звонить!

— Нет! Клянусь!

— Хорошо.

Закрыв за собой дверь, я вышел через коридор, через пустую, сумрачную часовню, потом по крутым ступеням вниз — снаружи уже не было часового. Я уже хотел вызвать лифт, как вдруг заметил, что держу в руке отобранную у священника желтую папку.

Комната 9129 находилась на девятом этаже. Я вошел без стука.

Одна секретарша вязала, другая ела бутерброд с ветчиной и помещивала чай. Я поискал глазами следующую дверь, в кабинет начальника, но больше никаких дверей не было. Я растерялся.

— Я к майору Эрмсу, с Особой Миссией.

Секретарши словно не слышали. Та, что вязала, считала вполголоса петли.

«А вдруг это какой-то пароль?» — промелькнула мысль. Я еще раз окинул взглядом небольшую комнату. У стен стояли узкие стеллажи с перегородками для бумаг. Над одним из них, удивительно высоко, висел разрисованный цветочками микрофон. Заговорить снова значило бы признать свое поражение. Я положил желтую папку на стол той девушки, которая завтракала. Она взглянула на папку, продолжая жевать. Над зубами розовели бледные десны. Аккуратными движениями мизинца она отодвигала салфетку, в которую был завернут хлеб. Я подошел к стеллажам и в промежутке между ними заметил что-то белое — дверь. Они ее загораживали. Я не задумываясь ухватился за стеллаж и начал отодвигать его. Ряд перегородок над моей головой опасно зашатался.

— Шестнадцать... семнадцать... *девятнадцать*... — считала пронзительным шепотом вторая секретарша. Ее голос становился все громче. Стеллаж за что-то задел. Дверь была наполовину открыта — она открывалась наружу. Я нажал на ручку и боком пропихнул туловище между дверной рамой и стеллажом.

— Наконец-то вы соизволили явиться! — приветствовал меня юношеский голос. Из-за стола красного дерева поднялся офицер со светло-русой шевелюрой, в одной рубашке. В комнате было очень жарко. Он достал маленькую щеточку из ящика стола.

— Вы запачкались о стену...

Чистя рукав моего пиджака, он продолжал говорить:

— Я вас жду со вчерашнего дня, надеюсь, вы сносно провели ночь? Работа не позволила сегодня мне выйти, но я даже был этому рад, потому что мог быть уверен, что теперь-то уж мы обязательно встретимся — погодите, вот тут ещё штукатурка осталась, — однако, однако, я уже так втянулся в ваше дело, что смотрю на вас как на старого знакомого, а ведь мы, собственно, еще не виделись. Меня зовут Эрмс, да вы, впрочем, знаете...

— Да, знаю, — сказал я, — спасибо, не беспокойтесь, майор, это пустяк. У вас есть для меня инструкция?

— Ясное дело, а то зачем бы я здесь сидел? Чаю?

— Спасибо, с удовольствием.

Он пододвинул мне стакан, спрятал щетку в ящик и сел. У него был располагающий облик русоволосого паренька, хотя, присмотревшись поближе, я обнаружил вокруг веселых голубых глаз морщинки, — но это потому, что он улыбался. Зубы у него были как у молодого пса.

— Ну, к делу, дорогой мой, к делу; инструкция, где она тут у меня, эта инструкция...

— Только не говорите, пожалуйста, что вы должны за ней выйти, — заметил я с бледной улыбкой.

Его охватил такой приступ веселости, что даже слезы выступили на глазах. Он поправлял развязавшийся галстук, восклицая:

— Ну вы и шутник! Мне не надо никуда выходить, она у меня здесь, — он показал рукой в сторону — там из бледно-голубой стены торчал корпус небольшого сейфа. Он подошел к нему, набрал на цифровом щитке номер, что-то заурчало; достал из сейфа толстую пачку бумаг, перевязанную шпагатом, бросил на стол и, положив на нее сильные, большие ладони, сказал: — Я дал вам наш старый орешек — как раз то, что надо. Придется попотеть, ведь вам это впервые, а?

— Вообще говоря, да, — сказал я и, так как его глаза излучали безусловную добропорядочность, добавил: — Побудь я здесь дольше, стал бы, наверно, первоклассным

специалистом, не отправляясь с какими-либо миссиями. У вас невольно пропитываешься этим, этим... — Я не мог подобрать нужное слово.

— Колоритом! — выпалил он и опять рассмеялся.

Смеялся и я. Мне было легко и хорошо и даже не приходилось преодолевать себя, чтобы помешивать чай. Просто удивительно, с чем это у меня до недавнего времени ассоциировалось.

— Можно мне посмотреть это? — спросил я, указывая на связанные шпагатом бумаги.

— Все, что вам будет угодно. — Он протянул через стол связку, довольно тяжелую. — Пожалуйста...

Его тихий, с мягким нажимом голос помешал мне взглянуть на инструкцию.

— Может быть, сперва приведем в порядок некоторые... фактические обстоятельства... Так неуклопе, по-казенному это у нас называют. Вы мне поможете, верно?

— Да?.. — произнес я губами, ставшими вдруг чужими и непослушными.

— Если вам нужно куда-нибудь позвонить... — подсказал он, тактично опуская глаза.

— Ах да! И как это я забыл! Священнику из Теологического отдела — совершенно вылетело из головы! Разрешите?

— О, я уже сделал это за вас...

— Вы? Как это — почему?..

— Пустяки. Остается еще кое-какая мелочь, гм?

— Не знаю, как быть. Рассказать вам?

— Я не настаиваю...

— Это было... скажите, майор, — все это было испытанием? Да? Меня решили испытать?

— Что вы понимаете под испытанием?

— Ну, откуда мне знать... что-то вроде предварительного исследования. Я понимаю, что пригодность, в некотором роде, э-э... новичка, может быть поставлена под сомнение, вот ему и подсовывают...

— Но, простите... — Он был неприятно поражен, опечален. — Сомнения? Исследование? Подсовывание? Как вы можете предполагать что-либо подобное! Я имел в виду то, что вы... взяли там... намереваясь вручить мне... не так ли? Однако же вы забывчивы, — улыбнулся он, видя мою беспомощность. — Ну, там, в часовне. Оно у вас при себе — должно быть, в кармане, верно?

— А-а!

Я достал из кармана пузыревидный палец и подал майору.
— Благодарю, — сказал он. — Я приобшщу это к документации по его делу. Это порядочно усугубит его вину.

— Там внутри что-то есть? — спросил я, глядя на обмякший мизинец, который он положил перед собой.

— Нет, откуда... — Он поднял розовую колбаску и показал ее на свет. Она просвечивала — пустая. — Просто приобщим к делу, как доказательство особой дерзости. Это ему даром не пройдет...

— Старику?

— Ну, ясно.

— Да ведь он мертв...

— Ну и что? Действие было враждебное! Вы же видели! Из-под флага, того...

— Да ведь это был труп!

Он тихонько засмеялся.

— Дорогой коллега — я ведь могу вас так называть, правда? — хорошо бы мы выглядели, если бы смертью можно было от всего отвертеться. Но хватит о нем. Благодарю за сотрудничество. Вернемся к делу. Перед отправкой вас ожидает еще то да се...

— Что?

— Ничего неприятного, уверяю вас! Обычное введение в курс дела. Ну, пропедевтика. Вы ориентируетесь — хотя бы отчасти — в том объеме шифров, которыми должны овладеть?

— Нет, разумеется, нет.

— Вот видите. Имеются шифры опознавательные, дежурные и особые, это как раз для вас, — улыбнулся он. — Их каждый день меняют, это необходимо, но как же хлопотно! Вдобавок каждый отдел имеет свой собственный, внутренний, так что, если тыходишь и говоришь что-то, одно и то же слово или имя на разных этажах означает нечто иное.

— И имя тоже?

— А как же! А как вы думали! Ха-ха, ничего себе была бы история — явное имя, скажем, главнокомандующего! Вы не заметили, как специфически звучат имена сотрудников его штаба?

— Действительно...

— Ну, видите. — Он посерьезнел. — Поэтому зашифрованы звания, ранги, приветствия...

— Приветствия?

— А вот, к примеру, беседуешь с кем-нибудь по телефону, с кем-нибудь извне, и говоришь, скажем, «добрый вечер», — отсюда можно заключить, что у нас и ночью работают, что

есть смены, а это уже важная информация... для кое-кого, — выделил он последнее слово. — Впрочем, любой разговор...

— То есть как это? А теперь, когда мы...

Он кашлянул с еле заметным замешательством.

— Неизбежно, дорогой мой!

— Простите, но я, ей-богу, не понимаю...

Он смотрел мне в глаза.

— О... и зачем вы это говорите? — отозвался он приглушенным голосом, в котором чувствовалось сожаление. — Понимаете, прекрасно понимаете. «Забыл»... «Не знаю, о чем речь»... «Испытание»... «Предварительное исследование»... Теперь вам понятно? О, вижу, вижу, что понятно. Ну, зачем делать такое отчаянное лицо? Зачем? Каждый шифрует, как может, — и вы тоже научитесь профессиональному подходу. Ведь все в порядке, так ведь?

— Да, раз вы говорите...

— Побольше уверенности в себе, мой дорогой! Служба есть служба, течение дел анонимное, есть свои сложности, неожиданности, но вы, сотрудник, на которого возложена столь трудная Миссия, не дадите сбить себя с толку всякими глупостями, тем более что они неизбежны. Теперь я направлю вас в Отдел шифров — там лучшие, чем я, специалисты объяснят вам все, что нужно, разумеется, без всякой муштры, просто в дружеской беседе... а инструкция тем временем будет ждать вас здесь.

— Я даже не заглянул в нее...

— А кто вам мешает?

Я развязал лежавшую на столе пачку. Мой взгляд блуждал по строчкам машинописи, пока наконец не выхватил наугад: «Твой ум не принимал в себя ничего, а только отражал окружающее, словно облитый водой, отливающий влажным блеском комок сохнейся глины»...

Я перескочил через несколько строчек.

«До сих пор ты совершенно не думал о том, что будешь делать дальше. Протянув руку к двери, ты в первый раз осознал, где ты, ощутил ожидающий тебя за тонкой перегородкой недвижимый, белый лабиринт».

— Что это? — выдавил я из себя, поднимая глаза на майора. Страх плоским жаром разливался в груди. — Что это такое?

— Шифр, — равнодушно сказал он, ища чего-то в разложенных на столе бумагах. — Инструкция должна быть шифрованной.

— Но это... это звучит, как... — Я не закончил.

— Шифр должен походить на все что угодно, за исключением шифра, — ответил он.

Перегнувшись через стол, он взял у меня из рук инструкцию. Мои пальцы скользнули по картонной обложке.

— А... мог бы я взять ее с собой?

— Зачем? Она будет ждать вас здесь.

В его голосе звучало неподдельное удивление.

— Ну, мне могут ее перевести — в этом Отделе шифров. Он рассмеялся.

— Да, сразу видно новичка. Ничего. Необходимые навыки войдут вам в кровь. Мыслимое ли дело — выпустить из рук инструкцию? Ведь о вашей Миссии знает, кроме главнокомандующего, только начальник штаба да я, общим счетом три человека.

Молча проводил я глазами пачку бумаг, которую он опять положил в сейф, а потом, словно забавляясь, покрутил цифровые валики.

— Но вы можете по крайней мере сказать, в чем состоит моя Миссия? Хотя бы в общих чертах, в двух словах, — настаивал я.

— В общих чертах, да? — бросил он. Прикусил нижнюю губу; непослушная светлая прядь волос закрыла ему левый глаз, но он не откинул ее. Он стоял, кончиками пальцев опершись о стол и по-школярски распирая языком щеку, потом вздохнул и улыбнулся. На левой щеке обозначилась ямка.

— Ну, что мне с вами делать, что мне с вами делать... — повторил он. Вернулся к сейфу, вынул оттуда бумаги и, крутя цифровой щиток защелкнувшейся дверцы, сказал: — У вас ведь есть папка, а? Сложим-ка туда все это добро, так, прекрасно...

Он взял пустую папку, которую я положил перед тем на стол, и запихнул туда бумаги.

— Прошу, — сказал он, вручая мне ее с весело сощуренными глазами. — Теперь она уже у вас, эта ваша инструкция, да еще в такой папке! Желтой... ну-ну!

— А этот цвет что-нибудь значит?

Моя наивность развеселила его. Он сдержал улыбку.

— Значит ли он что-нибудь? Превосходно! Значит, да еще как! А теперь идемте вместе, лучше я вас провожу, так будет скорее, туда, пожалуйста...

Я заспешил за ним, сжимая под мышкой растолстевшую папку. Мы перешли в соседнюю комнату — длинную, почти как школьный класс. На стенах, над головами служащих,

висели большие листы с рисунками акведуков и шлюзов; а в следующем помещении — доходившие до потолка карты полушарий какой-то красной планеты. Подойдя ближе, я узнал марсианские каналы. Майор открывал передо мной двери, я шел за ним по узкому проходу между столами. Сидевшие даже не поднимали глаз, когда мы проходили мимо. Еще одна просторная комната. На большом цветном листе была изображена — в увеличении — крыса в разрезе, с головы до хвоста. В стеклянных ящичках белели опрятные, словно склеенные из вылущенных орехов и связанные проволочкой, скелеты грызунов. Эта комната, в отличие от прочих, загибалась дугой. В ее колене за лабораторными столами, у микроскопов, сидело больше десятка людей. Вокруг каждого лежали стеклянные пластинки, пинцетики, баночки с какой-то вязкой, прозрачной, жидкостью — должно быть, с клеем; они накладывали на стекло обрывки бумаги, какие-то замазанные и грязные, проглаживали их плоскими гребками и соединяли с точностью часовщиков. В воздухе ощущался отчетливый, резкий запах хлора.

За столами с микроскопами находилась дверь в коридор.

— Чтобы не забыть, — понизив голос, сказал доверительно майор, беря меня за руку, когда мы оказались одни среди белых стен, — если решите что-нибудь выкинуть или уничтожить какой-нибудь маловажный документ, ненужную заметку, черновик, — не пользуйтесь, пожалуйста, туалетом. Это лишь прибавляет нашим людям ненужной работы.

— То есть как это?

Он нетерпеливо поднял брови.

— Ну да, вам все надо объяснять с азов — моя вина. Это был Канализационный отдел — он рядом с моим, мы прошли там, потому что так ближе... Итак: сточные воды фильтруются и отцеживаются, ведь это путь наружу, возможность утечки информации... А вот и наш лифт.

Кабина как раз останавливалась. Из нее вышел офицер в длинной шинели, со скрипящим футляром под мышкой, извинился, что должен еще вынести свои свертки и вернулся за ними, и вдруг где-то совсем рядом прогрехотало. Офицер выскочил из кабины, захлопнул ее дверь ногой и швырнул в нас какие-то пачки, а сам понесся по коридору, на бегу раскрывая футляр. Тяжелая пачка словно снаряд ударила меня в грудь, ошеломленный, я потерял равновесие и ударился о двери лифта, за поворотом стены стрекотал пулемет, что-то щелкнуло над головой, и все заволочла известковая пыль.

— Ложись! Ложись!!! — крикнул Эрмс, дернув меня за плечо, и бросился на пол. Я лежал рядом с ним между разбросанными пачками, кругом тарахтели выстрелы, коридор гремел с одного конца до другого, пули пели над нами, белые дымки рикошетов взметались со стен. Бегущий с высоко задранными полами шинели свалился на самом повороте, выпавший из рук скрипичный футляр на лету раскрылся, и оттуда вылетела туча клочков бумаги, порхая как снег. Запах сгоревшего пороха щипал нос. Майор всунул мне в руку маленькую ампулу.

— Как только дам знак — в зубы и разгрызть!!! — кричал он мне в ухо. Кто-то мчался по коридору.

Загремело так нестерпимо, что я едва не оглох. Эрмс рывками вытаскивал из карманов запечатанные конверты, затапливал их в рот, жевал с величайшей поспешностью, выплевывая печати как косточки. Снова гроыхнуло.

Офицер в глубине коридора хрипел в агонии. Его левая нога постукивала о каменный пол. Эрмс шепотом начал считать, приподнялся на локтях и с криком «Два да пять, наша взяла!» вскочил. Было уже тихо.

Он стряхнул с себя пыль и, протягивая мне папку, которую поднял с пола, сказал:

— Идемте. Я постараюсь еще устроить вам обеденные талоны.

— Что... что это было? — пробормотал я. Умиравший все еще стучал о пол, попеременно двумя и пятью ударами.

— Ах, ничего особенного. Разоблачение.

— И... как это, и мы... уйдем?

— Да. Это, — он показал в сторону хрипевшего, — уже не мой Отдел, понимаете?

— Но этот человек...

— Им займется Семерка. О, уже идут из Теологического, видите?

Действительно, по коридору шел офицер-священник, а перед ним мальчуган с колокольчиком. Садясь в лифт, я еще слышал стук шифрованной агонии. Кабина остановилась на десятом этаже. Майор не открыл дверь.

— Не могли бы вы вернуть мне отраву?

— Простите? — не понял я.

— Ну, ту ампулу, хотел я сказать.

— А, верно...

Я еще сжимал ее в руке. Он спрятал ампулу в кожаный футляр, похожий на бумажник.

— Что это? — спросил я.

— Ах, ничего. Все в порядке.

Он пропустил меня вперед. Мы направились к ближайшим дверям.

В квадратной комнате сидел за столом необычайно толстый офицер и, помешивая чай, грыз конфеты, которые брал из бумажного пакетика. Больше в комнате никого не было. В задней стене виднелись маленькие дверцы, совершенно черные. В них еле-еле прошел бы ребенок.

— Где Прандтль? — спросил Эрмс.

Толстяк, не переставая причмокивать, показал три пальца. Мундир у него был расстегнут. Казалось, он стекал со стула, на котором сидел. У него было налитое лицо, шея вся в складках, заплыла жиром, дышал он шумно, присвистывая. Он выглядел так, точно кто-то его душил.

— Хорошо, — сказал майор. — Прандтль скоро будет. А вы пока что располагайтесь. Он-то уж вами займется. Как кончите, загляните ко мне за талонами, ладно?

Я пообещал, что так и сделаю. Когда он ушел, я перевел взгляд на толстяка. Конфеты хрустели у него на зубах. Я сел на стул у стены, стараясь не смотреть на болезненно оплывшего офицера, — он меня раздражал своим хрупаньем, а еще больше тем, что выглядел так, словно в любую минуту его мог хватить удар. Складки шеи под щеткой коротко подстриженных волос прямо-таки посинели. Его ожирение было его муклой, его пыткой. Дышал он с усилием, возможным, казалось бы, лишь в крайнем случае, на какую-нибудь минуту, а он дышал так все время, словно бы не замечая того. Хватал воздух ртом и хрупал конфеты. Во мне нарастало желание вырвать у него пакет со сладостями; он запихивал их в себя, глотал, краснел, синел и протягивал липкие пальцы за новыми. Я передвинул стул и сел к нему боком. Спинай я все же не мог — не потому, что это было бы нетактично, просто я боялся, что он там за мной задохнется, а мне не хотелось иметь у себя за спиной труп. Секунд на двадцать я закрыл глаза.

Немало бы дал я, чтобы выяснить, улучшилось ли мое положение. Мне казалось, что да, но слишком многое этому противоречило. За то, что Эрмс был готов меня отравить — ибо я не сомневался насчет содержимого ампулы, — я отнюдь не был на него в претензии. Несколько хуже выглядело дело о старичке в золотых очках. Я вовсе не был уверен, что оно уже окончательно с меня снято. Во всяком случае, в будущем оно, похоже, не грозило особыми неприятностями. Был куда более серьезный повод для тревоги: инструкция. Меня

тревожило даже не то, что она поразительно напоминала протокол моих хождений по Зданию, — ба! даже моих мыслей. В конце концов, я, возможно, все еще оставался объектом испытания, и, хотя Эрмс категорически это отрицал, он сам признался потом, что нашу беседу надо понимать не буквально, что это шифр, а значит, отсылка к чему-то еще, апелляция к другим, не названным прямо значениям, которые незримо витали над ней. Хуже всего было другое. В глубине души я начинал сомневаться в самом существовании инструкции. Правда, я внушал себе, что ошибаюсь, что моя подозрительность безосновательна, ведь если бы меня не собирались послать с Миссией исключительной важности, никто бы мною не интересовался и не подвергал испытаниям. Ведь никакой вины за мной не было, и я ничего бы тут, собственно, не значил, если б не это неожиданное назначение, которое постоянно отсрочивалось, приостанавливалось и наполовину подтверждалось снова.

Если бы я мог в ту минуту задать один, всего лишь один вопрос, я спросил бы: чего от меня хотят? Чего от меня хотят на самом деле? Любой ответ я принял бы с облегчением, любой, кроме одного...

Офицер за столом всхрипнул ужасающе. Я вздрогнул. Высморкавшись, он заглянул в платок, потом спрятал его, посапывая с полуоткрытыми, опухшими губами.

Дверь открылась. Вошел высокий, сутулый, худой офицер. Было в нем что-то — что именно, затрудняюсь сказать, — из-за чего он казался штатским человеком, переодетым в мундир. В руках он держал очки и, остановившись за шаг до меня, быстро завертел ими.

— Вы ко мне?

— К господину Прандтлю из Отдела шифров, — ответил я, чуть приподнявшись.

— Это я. Я капитан. Не вставайте, прошу вас. Речь идет о шифрах, да?

Этот слог прозвучал как направленный в меня выстрел.

— Да, господин капитан...

— Можно без званий. Чаю?

— С удовольствием...

Прандтль подошел к маленькой дверце и из высунувшейся оттуда руки принял подносик с двумя уже наполненными стаканами. Поставив его на стол, он надел очки. При этом лицо его, худое и вызывающее, как-то сосредоточилось, все в нем заняло исходные позиции и застыло.

— Что такое шифр? — спросил он. — Что вам об этом известно?

Своим металлическим голосом он словно бил по чему-то твердому.

— Это система знаков, которую при помощи ключа можно перевести на обычный язык.

— Да? А запах розы, к примеру, — шифр это или нет?

— Нет, ведь он не является знаком чего-то еще, а просто самим собой. Если бы он означал что-то другое, то мог бы, в качестве символа, стать частью шифра...

Я отвечал оживленно, довольный тем, что могу продемонстрировать способность к правильному мышлению. Толстый офицер наклонился в мою сторону, так что мундир у него на животе, переполнившись жиром, покрылся складками; казалось, пуговицы вот-вот отлетят. Я, не обращая на него внимания, глядел на Прандтля, который снял очки и снова вертел ими; лицо его приняло рассеянный вид.

— А как, по-вашему: роза пахнет просто так или с определенной целью?

— Ну... она может заманивать запахом пчел, которые ее опыляют...

Он кивнул.

— Так. Перейдем к обобщениям. Глаз превращает луч в нервный шифр, а мозг расшифровывает его как свет. Но сам луч? Не взялся же он ниоткуда. Его послала лампа или звезда. Информация об этом содержится в его структуре. Можно ее прочитать...

— Где же тут шифр? — перебил я. — Ни звезда, ни лампа ничего не пытаются скрыть, тогда как шифр скрывает свое содержание от непосвященных.

— Да?

— Но это же очевидно! Все дело в намерениях отправителя информации.

Я замолчал и протянул руку за чаем. В нем плавала муха; минуту назад ее там наверняка не было. Неужели ее бросил толстяк? Я посмотрел на него. Он ковырял в носу. Я выловил муху ложечкой и бросил на блюдце. Раздался стук. Я дотронулся до нее. Она была из дутого металла.

— В намерениях? — сказал Прандтль. Он надел очки. Толстяк — беседуя со своим наставником, я старался не упускать и его из виду, — посапывая, рылся в карманах, а его лицо приобретало все более помятый вид. Шея спереди походила на воздушный шар. Он вызывал настоящее омерзение.

— Вот луч, — продолжал Прандтль. — Его послала какая-то звезда. Какая? Большая или маленькая? Горячая или холодная? Какова ее история, ее будущее? Можно ли об этом узнать по ее излучению?

— Можно, обладая необходимыми знаниями.

— А знания — что это такое?

— Что такое?

— Ключ. Так ведь?

— Ну... — я помедлил с ответом. — Излучение — все же не шифр.

— Нет?

— Нет, потому что никто не укрыл в нем этой информации... впрочем, так мы придем к выводу, что шифром является все.

— И будем правы. Все, решительно все является шифром — или камуфляжем. Вы тоже.

— Это шутка?

— Нет. Это правда.

— Я — шифр?

— Да. Или камуфляж. Говоря точнее, дело выглядит так: всякий шифр является маской, камуфляжем, но не всякая маска является шифром.

— Ну, шифр, это еще куда ни шло... — сказал я, осторожно подбирая слова. — Вы, безусловно, имеете в виду наследственность, те крохотные подобию нас самих, которые мы носим в каждой капельке тела, чтобы метить ими потомство... но камуфляж? Что... что я имею с ним общего?

— Вы? Простите, — возразил Прандтль, — но это не мое дело. Ваше дело решаю не я. Это меня не касается.

Он подошел к дверце в стене. Из руки, которая в ней появилась, должно быть, женской — я заметил лакированные красные ногти, — он взял бумажную ленту и протянул ее мне.

«Угроза обходного маневра — тчк, — читал я, — подкрепления направлять в сектор VII — 19431 — тчк — за квартирмейстера седьмой оперативной группы дилл полк Ганцмирист — тчк».

Отложив ленту в сторону, я поднял голову и чуть наклонился вперед. В стакане плавала вторая муха. Должно быть, толстяк бросил ее туда, пока я читал. Я посмотрел на него. Он зевал. Выглядело это так, словно он агонизировал с разинутым ртом.

— Что это? — спросил Прандтль. Его голос донесся до меня откуда-то издалека. Я очнулся.

— Какая-то расшифрованная депеша.

— Нет. Это шифр, который еще предстоит разгадать.

— Но ведь это какое-то тайное сообщение!

— Нет, — он опять покачал головой. — Маскировка шифров под видом невинных сведений, наподобие личных писем или стихов, давно устарела. Каждая сторона пытается сегодня убедить другую в том, что ее послание не зашифровано. Понимаете?

— Отчасти...

— Теперь я покажу вам тот же текст, пропущенный через «ДЕШ» — так мы называем нашу машину.

Он опять подошел к дверце, вырвал из белых пальцев ленту и вернулся к столу.

«Инпеклансибилистическая баремисозитура ментосится, чтобы канцепудрийствовать неоткочивратипосмейную амбрендафигиантюфель», — прочитал я и взглянул на него, не скрывая удивления.

— И это вы называете расшифровкой?

Он снисходительно улыбнулся.

— Это второй этап, — пояснил он. — Шифр сконструирован так, чтобы при расшифровке получился сплошной вздор. Это должно было окончательно убедить нас в том, что первоначальное содержание депеши не было шифром, то есть ее смысл лежит на поверхности и именно таков, каким кажется.

— А на самом деле? — подхватил я.

Он сделал движение головой.

— Сейчас увидите. Я принесу текст, пропущенный через машину еще раз.

Бумажная лента сплыла с ладони в квадратном оконце. Что-то красное сновало там, в глубине. Прандтль закрыл собою отверстие. Я взял ленту, которую он мне протянул, — она была теплой, не знаю уж, от прикосновения человека или машины.

«Абруптивно канцелировать дервишей относящих барби-мушинные снулобухи через целеративный тюрьманск рекомендуется проницательность».

Таким был этот текст. Я встряхнул головой.

— И что же вы будете с этим делать?

— Тут кончается работа машины и начинается наша. Кру-ух!! — крикнул он.

— Ну-у-у? — застонал вырванный из оцепенения толстяк. Затуманенными, словно покрытыми пленкой глазами он уставился в Прандтля, а тот отрывисто произнес:

— Канцелировать!
— Не-е-е-е, — заблеял фальцетом толстяк.
— Дервишей!
— Бу-у-у! Д-е-е-е!
— Относящих!
— О... от... — стонал он. Слюна струйкой текла между его губами.

— Барбимушинные!
— Ве... мм... му-у-у... искуст... искусственные м... м! м!!!
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — Толстяк разразился безудержным хохотом, который перешел в стон, заплывшее жиром лицо посинело, он рыдал, роняя слезы, исчезающие в складках его мешкообразных щек, и хватал ртом воздух.

— Хватит! Кру-ух! Хватит!!! — загремел капитан. — Сбой, — повернулся он ко мне. — Ложная ассоциация. Впрочем, вы уже слышали почти весь текст.

— Текст? Какой текст?

— «Не будет ответа». Это все. Кру-ух!! — повысил он голос.

Толстяк всей своей затянутой в мундир тушей трясся на стуле, вцепившись колбасками-пальцами в стол. При крике Прандтля он затих, с минуту еще постанывал и наконец принялся обеими руками поглаживать свое лицо, словно утешая себя.

— «Не будет ответа»? — повторил я тихо. Вроде бы я совсем недавно слышал эти слова, но от кого — не мог вспомнить. — Содержание довольно скудное. — Я поднял глаза на капитана; его рот, перед тем искривленно-неподвижный, будто он пробовал что-то чуть горькое, сложился в легкую улыбку.

— Покажи я вам фрагмент, более богатый содержанием, мы оба могли бы потом пожалеть об этом. Впрочем, и так...

— Что «и так»?! — резко спросил я, точно за этими словами крылось что-то необычайно важное для меня.

Прандтль пожал плечами.

— Ничего. Я показал вам фрагмент современного шифра, впрочем не слишком сложного. Это был реально используемый шифр, и потому имел многослойный камуфляж.

Он говорил быстро, как бы стараясь отвлечь мое внимание от недосказанного намека. Я хотел вернуться к этому намеку и уже открыл было рот, но сказал только:

— Вы говорили, что шифром является все. Это была лишь метафора?

— Нет.

— Значит, любой текст?..

— Да.

— А литературный?

— Тоже. Пожалуйста, подойдите сюда...

Мы подошли к дверце. Вместо следующей комнаты, которую я ожидал увидеть, открыв дверцу, за нею обнаружилась заполнявшая весь проем темная плита с небольшой клавиатурой; посредине виднелось что-то вроде окаймленной никелем щели, из которой высовывался, будто язычок змеи, кончик бумажной ленты.

— Дайте, пожалуйста, какой-нибудь отрывок, — обратился ко мне Прандтль.

— А можно... из Шекспира?

— Все, что угодно.

— И вы утверждаете, что его драмы — собрание зашифрованных депеш?

— Смотря что вы понимаете под депешей. Но, может быть, просто сделаем опыт? Говорите.

Я опустил голову. Довольно долго мне не приходило на мысль ничего, кроме восклицания Отелло: «О попка дивная!» — но эта цитата показалась мне слишком короткой и неуместной.

— Пишите! — сказал я вдруг, поднимая глаза. — «Десятка слов не сказано у нас, а как уже знаком мне этот голос! Ты не Ромео? Не Монтекки ты?»

— Хорошо.

Капитан быстро нажимал на клавиши, выстукивая предложенную мной цитату. Из щели, похожей на щель почтового ящика, подрагивая, вылезла бумажная змейка. Прандтль бережно взял ее и протянул мне — я держал в пальцах кончик и терпеливо ждал; лента сантиметр за сантиметром выползала из щели; слегка натягивая ее, я ощущал внутреннее подрагиванье механизма, который передвигал полоску бумаги. Пробегавшая по ней слабая дрожь вдруг прекратилась. Лента все еще разворачивалась, но уже пустая. Я поднес печатные буквы к глазам.

«По длец Ма тюз По длец руки ноги ему оторвал бы с не зем ным на сла жде ньем Ма тюз су чий от прыск Ма тюз Мать».

— И что же это такое? — спросил я, не скрывая удивления.

Капитан несколько раз кивнул.

— Предполагаю, что, сочиняя эту сцену, Шекспир питал

неприязнь к некоему Матьюзу — и зашифровал ее в тексте трагедии.

— Ну, знаете! В это я никогда не поверю! Получается, он умышленно упрятал в этот дивный лирический диалог кабацкие ругательства по адресу какого-то Матьюза?

— Кто говорит, что умышленно? Шифр есть шифр, независимо от намерений его автора.

— Разрешите? — Я подошел к клавиатуре и сам простукал на ней уже расшифрованный текст. Лента поползла, скручиваясь спиралью. Я заметил какую-то странную усмешку на губах Прандтля; он, однако, молчал.

«Ес либ да ла мне ай рай эх ес либ эх рай да ла мне ай эх ми ла да ла бы эх ес», — прочитал я аккуратно сгруппированные по слогам буквы.

— Это как же? — сказал я. — Что это такое?!

— Следующий слой. А вы чего ожидали? Мы добрались до следующего, еще более глубокого уровня психики англичанина семнадцатого столетия, только и всего.

— Такого не может быть! — закричал я. — Выходит, эти чудесные стихи — всего лишь футляр, в котором спрятаны какие-то сучьи отпрыски, ай и дай?! И если вложить в эту вашу машину высочайшие шедевры литературы, плоды человеческого гения, бессмертные поэмы, саги — получится какое-то бормотанье?

— Потому что это и есть бормотанье, — ответил капитан холодно. — Диверсионное бормотанье. Искусство, литература — знаете чему они служат? Отвлечению внимания!

— От чего?

— Вы не знаете?

— Нет...

— Очень плохо. Вам бы следовало знать. В таком случае что вы тут, собственно, делаете?!

Я молчал. С неподвижным лицом, на котором кожа вдруг натянулась, как палатка на острых выступях скал, он тихо произнес:

— Разгаданный шифр по-прежнему остается шифром. Под недремлющим оком специалиста он будет сбрасывать с себя оболочку за оболочкой. Он неисчерпаем. У него нет ни дна, ни конца. Можно углубляться во все более труднодоступные, все более глубокие его слои, но это странствие бесконечно.

— Вот как? А... «не будет ответа»? — уцепился я за последние его слова. — Вы показали мне эту фразу как окончательный результат.

— Нет. Это этап. В рамках определенной процедуры —

существенный, но всего лишь этап. Поразмыслив, вы дойдете до этого сами.

— Не понимаю.

— Поймете в свое время, но и это будет лишь еще одним шагом.

— А вы не можете мне в этом помочь?

— Нет. Вы должны дойти до этого сами. Как и каждый. Это трудное требование, но ведь вы, как человек избранный, знаете, чего тут требуют... Я не могу уделить вам больше времени. В будущем сделаю все, что в моих силах, разумеется, в рамках установленного порядка.

— Но... как же так... ведь я, по сути, так и не знаю, — торопливо, в замешательстве бормотал я, — вы должны были ознакомить меня с шифрами, необходимыми мне в связи с моей Миссией.

— С вашей Миссией?

— Да.

— Назовите ее.

— Н-н-е... не знаю подробностей, предполагаю, что они есть в инструкции, она у меня при себе, в папке, но я не могу показать вам, погодите... где моя папка?!

Я вскочил со стула, заглянул под стол — папки не было. Я обернулся к толстяку. У него был взгляд снулой рыбы; в полуоткрытом рту посвистывал воздух.

— Где моя папка?! — повысил я голос.

— Спокойно, — отозвался у меня за спиной Прандтль, — у нас ничего не может пропасть. Кру-ух! Кру-ух!!! — повторил он укоризненно. — Отдай! Слышишь? Отдай!

Толстяк шевельнулся, и что-то стукнуло о пол. Я схватил папку, проверяя на ощупь, пуста она или нет, и выпрямился.

Сидел он, что ли, на ней? И когда он стянул ее со стола — у меня на глазах? Выходит, он, вопреки видимости, был необычайно проворен. Я уже хотел открыть папку, как вдруг понял, что не прочитаю нужных сведений в зашифрованном тексте, а не зная, о чем речь, капитан не сможет мне дать нужный ключ. Порочный круг. Я сказал ему об этом.

— Должно быть, недосмотр майора Эрмса, — закончил я.

— Не знаю, — ответил он.

— Я пойду к нему! — заявил я почти вызывающе. Это значило: пойду и скажу, что ты демонстративно умываешь руки, становясь помехой Миссии, которую доверил мне главнокомандующий. — Сейчас же пойду! — загорелся я.

— Поступайте, как считаете нужным, — ответил он и словно бы с некоторым колебанием добавил: — Но вы разбираетесь в служебной процедуре?

— Значит, из-за этой процедуры я ухожу ни с чем? — осведомился я холодно.

Прандтль снял очки, будто маску, и его лицо, вдруг обнажившееся, открыло мне свою утомленную беспомощность. Я чувствовал: он хочет мне что-то сказать и не может — или же не вправе. Враждебность, нараставшая между нами во время беседы, вмиг улетучилась. В овладевшем мной замешательстве я различил что-то вроде неуместной — быть может, бессмысленной — симпатии к этому человеку.

— Вы... выполняете приказы? — спросил он так тихо, что я едва услышал его.

— Я? Да...

— Я тоже...

Он открыл передо мной дверь и неподвижно стоял возле нее, ожидая, пока я выйду. Когда я проходил мимо, он раздвинул губы. Слово, которое он должен был произнести, не слетело с них. Он лишь выдохнул мне очень близко в лицо, сделал шаг назад и захлопнул за мной дверь, прежде чем я понял, что происходит. Я очутился в коридоре, крепко сжимая в руках папку. Даже если посещение Отдела шифров не оправдало моих ожиданий — ведь я ни на волос не приблизился к познанию Миссии, — то теперь мне хоть было куда идти, а это уже кое-что. «9129», — повторил я про себя. Я знал, что не пойду к Эрмсу с претензиями. Я приду просто за обеденными талонами, которые он обещал мне устроить. Хороший предлог, чтобы начать разговор.

Я прошагал уже порядочную часть пути между шпалерами белых дверей, когда до меня вдруг дошло, что содержится в папке. Если весь шифр — даже мысленно я называл это шифром, ведь какой-то версии надо было держаться — выглядит как отрывки, с которыми я познакомился в кабинете Эрмса, то в следующих частях может оказаться описание моих дальнейших хождений по Зданию — тех, что мне еще предстоят. Эта мысль вовсе не показалась мне безумной. Коль скоро повсюду, куда я приходил, мне давали понять, что знают о моих действиях больше, чем я полагаю, коль скоро — а именно на это указывал прочитанный у Эрмса фрагмент — порой переставали быть тайной даже мои мысли, то почему бы в папке не оказаться плану моих будущих блужданий, включая то, что ждет меня в конце?

Я решил открыть папку, удивляясь уже только тому, что не додумался до этого раньше. Теперь я держал в руках собственную судьбу и мог в нее заглянуть.

V

Ряд дверей по правой стороне оборвался. За стеной, должно быть, тянулся какой-то длинный зал. Чуть дальше я обнаружил боковое ответвление коридора; оно привело меня в туалет этого этажа. Дверь первой комнатки была приоткрыта. Я заглянул в ванную, она оказалась пустой; я заперся в ней и, уже сидя на краю ванны, заметил на подзеркальнике небольшой темный предмет. Это была наполовину раскрытая, гостеприимно положенная на чистую салфетку бритва. Не знаю почему, но это насторожило меня. Я взял ее; выглядела она как новая. Еще раз оглядел ванную, сверкавшую чистотой хирургического кабинета. Положил бритву на прежнее место. Я как-то не мог решиться открыть при ней свою папку. Вышел из ванной, собираясь спуститься на лифте ниже, где была ванная комната, приютившая меня прошлой ночью.

Она тоже была пуста, совершенно в том же состоянии, в каком я ее оставил, только полотенца заменили свежими. Сев на краю ванны, я развязал тесемку, и из картонной обложки выпала толстая пачка чистой бумаги.

Руки у меня слегка дрожали: я помнил, что верхний листок был с машинописным текстом. Страницы раздвинулись веером — пустые все до единой. Я листал их все быстрее. Водопроводная труба издала один из бессмысленных, диких воплей, какими сопровождается иногда поворот крана на другом этаже. Она застонала почти человеческим голосом, который перешел в бормотанье, все более слабое и далекое, по мере того как оно расходилось по железному чреву Здания. Я все еще перекладывал чистые листы, машинально их пересчитывая, неизвестно зачем, и в то же самое время мысленно возвращался к Прандтлю, бросался на толстяка, бил его, пинал его омерзительное распухшее тело — ах, если бы он попался мне в руки!

Ярость схлынула так же внезапно, как и пришла. Я сидел на краю ванны, складывая листы бумаги, пока не увидел, уже другими глазами, что значил этот его странный выдох. Все было подстроено заранее, чтобы украсть у меня инструкцию. Но зачем, если Эрмс мог просто не давать ее мне?

Руки, перекладывавшие страницу за страницей, застыли.

В пачке чистых листов были два с текстом. На одном я увидел набросанный от руки план Здания вместе с маленькой картой гор Сан-Хуан, в недрах которых оно находилось, на другом, подшитом к первому белой ниткой, — план диверсионной операции «Штык» из двенадцати пунктов. Не отводя от них глаз, я уже пустился в дальнейшее странствие. Я отдам эти бумаги властям. Расскажу, как они попали мне в руки. Возможно, мне и поверят. Но как я докажу, что не ознакомился с этими — тайными — документами, не запомнил местонахождения Здания — сто восемнадцать миль к югу от вершины Гарварда, — его плана, расположения комнат, штабов, не прочел описания диверсионной операции? Все было продумано до мелочей. Теперь я видел, как проделанный мною путь выстраивается во все более логичное целое, и то, что казалось слепым случаем, оборачивается ловушкой, в которую я забирался все глубже, вплоть до настоящей минуты, смысл которой был столь очевиден.

Пальцы у меня дернулись, чтобы порвать компрометирующие бумаги и спустить клочки в унитаз, — но я тотчас вспомнил о предостережении Эрмса. Значит, и вправду ничего тут не делалось просто так? Любое произнесенное ими слово, любое движение головы, минутная рассеянность, улыбка — все было рассчитано, и весь этот гигантский механизм работал с математической точностью единственно мне на погибель? Мне почудилось, будто я торчу посреди горы, напшигованной блестящими глазами, и я с трудом удержался, чтобы не рухнуть на каменный пол. Если бы можно было куда-нибудь скрыться от них, схорониться, сплющиться в какой-нибудь щели, перестать существовать... Бритва! Не потому ли она там лежала? Они знали, что я захожу остаться один, и подложили ее?

Мои руки ритмично двигались. Я складывал страницы в папку. По мере того как она заполнялась, полчища замыслов, обещавших спасение, таяли, и я, пытаюсь найти еще какой-нибудь выход, дерзкую уловку, с помощью которой, как прожженный игрок, внезапно переменю ход игры, все яснее видел собственное лицо — облитое покорным потом лицо смертника. Вот что ожидало меня после нескольких еще не выполненных формальностей. «Надо уладить это быстро и просто, — думал я, — теперь, раз уж я все равно пропал, бояться мне нечего». Должно быть, я подготовил себя к этой мысли раньше, потому что она сверкнула в нагромождении нереальных уловок как освобождение.

Когда я уже был готов облечься в тогу приговоренного, из

последних страниц выскользнул и упал к моим ногам небольшой, плотный листок с не слишком отчетливо записанным номером 3883. Я медленно поднял его. Словно для того, чтобы исключить любые сомнения, чья-то другая рука приписала маленькими аккуратными буквами сокращение «Ком.» — комната.

Мне велели туда идти? Хорошо. Я завязал тесемки папки и встал. У выхода еще раз окинул взглядом фарфоровое нутро ванной, и из зеркала, будто из темного окна, на меня глянуло собственное лицо, разломанное на плывущие плоскости — из-за неровности зеркальной поверхности; но мне показалось, что я вижу его в ледяных лучах страха. Так мы смотрели друг на друга — я и я, и если только что я лишь вползал в слишком тесную шкуру изменника, то теперь я уже наблюдал перемены, произошедшие снаружи. Мысль, что это обезображенное страхом, поблескивающее, словно облитое водой лицо исчезнет, не была неприятной. В сущности, я давно подозревал, что так оно все и кончится.

Я смаковал размеры катастрофы со странным удовольствием, вызванным тем, что мои предвидения оправдались. И все же: не подбросить ли куда-нибудь эти бумаги? Но тогда я остался бы без всего; ни избранный, ни даже обманутый и преданный — сплошное ничто. Может, я очутился между молотом и наковальней, был вовлечен, не зная об этом, в какую-то грандиозную интригу, и уничтожить меня пытались колесики враждебных друг другу интересов? В таком случае апелляция к высшей инстанции могла бы оказаться спасительной...

Комнату номер 3883 я решил оставить на самый крайний случай, а теперь идти к Прандтлю. Все-таки он — выдохнул. Это должно было что-то да значить. Выдохнул — значит, благожелательствовал мне. Был потенциальным союзником. Правда, он сам отвлек мое внимание, чтобы помочь толстяку выкрасть папку. Как видно, не мог иначе. Он ведь спросил, выполняю ли я приказы, — и сказал, что сам он их выполняет.

Я решил идти. Коридор был пуст. Я почти бежал к лифту, чтоб не раздумать. Ждать его пришлось довольно долго. Наверху было большое оживление. Кабину, из которой я вышел, заняло несколько офицеров сразу. По мере приближения к Отделу шифров я шел все медленнее. Бесплодность этой затеи бросалась в глаза. Тем не менее я вошел в кабинет. На столе, за которым прежде сидел толстяк, на стопке запачканной бумаги стояли пустые стаканы. Я

узнал свой по искусственным мухам, лежавшим, как косточки, на краю блюдца. Я ждал, но никто не появлялся. Стол у стены был завален документами; я начал рыться в них, в призрачной надежде отыскать хотя бы след своей инструкции. Хотя среди прочих там лежала желтая папка, я нашел в ней только ведомость выплаты жалованья и просмотрел ее. При других обстоятельствах я, конечно, посвятил бы ей больше внимания — тут значились такие специальности, как Тайный Инфернатор, Демаскатор I ранга, Мацератор, Фекалист, Процеженец, Слеженец, Частный Опроверженец, Крематор, Остеофаг, — но теперь я равнодушно бросил ее. Зазвонивший у самой моей руки телефон заставил меня вздрогнуть. Я посмотрел на него. Он упорно трезвонил. Я взял трубку.

— Алло? — послышался мужской голос. — Алло?

Я не ответил. В эту минуту — так временами случается — кто-то еще подключился к линии, и я мог слышать обоих собеседников.

— Это я, — отозвался голос, который перед тем говорил «алло», — не знаем, как быть, господин капитан!

— А что? Так с ним плохо?

— Все хуже! Боимся, как бы он над собою чего не сделал.

— Не годится? Я так с самого начала и думал. Значит, не годится?

— Этого я не говорю. Был в порядке, но вы знаете, как это бывает. Это дело надо вести бережно.

— Это для Шестерки, не для меня. Чего вы от меня хотите?

— Так вы ничего не можете сделать?

— Для него? Не вижу, что я мог бы. Просто не вижу...

Я слушал, затаив дыхание. Нараставшее ощущение, что говорят обо мне, превращалось в уверенность. Трубка на время умолкла.

— В самом деле не можете?

— Нет. Это случай для Шестерки.

— Но это означало бы снятие с должности.

— Ну да.

— Так что же, нам от него отказаться?

— Вам, как вижу, не хочется.

— Не в том дело, чего мне хочется, но, видите ли, он уже пообвык...

— Ну так что?.. У вас там своих специалистов полно. Что говорит Прандтль?

— Прандтль? С того времени как улизнул — ничего. Он на совещании.

— Так вызовите его. А вообще-то я не собираюсь этим заниматься. Не мое это дело.

— Я пошлю к нему конфиденентов из Медицинского.

— Как хотите. Прошу прощения, мне пора. Привет.

— Привет.

Обе трубки звякнули, брошенные на рычаги, и я остался один на один с шумящей, как раковина, тишиной в ухе. Я не знал, что думать. Теперь я уже не был так уверен, что речь шла обо мне.

Во всяком случае, я узнал, что Прандтля нет. Я положил трубку; услышав шаги — кто-то шел сюда из соседней комнаты, — выбежал в коридор и сразу же пожалел об этом, но уже не решился вернуться. Теперь у меня был выбор между Эрмсом и комнатой 3883. Я шел прямо, никуда не сворачивая. 3883 — это, должно быть, где-то на пятом этаже. Следственный отдел? Наверняка он. Оттуда мне уже не выйти. В конце концов, слоняться по коридорам не так уж и плохо... Можно отдохнуть в лифте, остановиться, зайти в ванную комнату...

Я вспомнил о бритве. Странно, что я раньше о ней не подумал. Кому она предназначалась — мне? Возможно. Этого я не отгадаю. Слишком уж я возбужден. Я спускался по лестнице, голова немного кружилась. Шестой этаж. Пятый. Коридор — белый, необычайно чистый, как и все остальные, — шел прямо. 3887, 3886, 3885, 3884, 3883.

Сердце бешено колотилось. В таком состоянии трудно было бы говорить. Я остановился, чтобы перевести дух. «В крайнем случае просто загляну туда», — подумал я. Если спросят, скажу, что искал майора Эрмса и ошибся дверью. Папку небось никто у меня силой вырывать не станет. В конце концов это моя инструкция, в случае чего я потребую, чтобы они позвонили в Отдел инструкций, Эрмсу. Конечно, все это чепуха, ведь они и так знают. А если знают, нечего сражаться с собственными фантазиями. Я попытался вкратце резюмировать все, что уже случилось и что мне придется занести в протокол. Если меня поймают на какой-нибудь неточности, это будет лишней уликой против меня. Но случилось уже столько всего, что я начал путаться в воспоминаниях; что было раньше — история со старичком или арест в коридоре моего первого инструктажиста? Ну конечно, сперва был арест. Я закрыл глаза и нажал на дверную ручку.

Хорошо, что в этой большой, темной, заполненной картотеками и стеллажами комнате никого не было, — добрую минуту я не смог бы произнести ни звука. Огромные книжищи, пачки перевязанных шпагатом бумаг, баночки белого канцелярского клея, ножницы, подушечки для печатей и письменные принадлежности загромождали большие письменные столы, стоявшие вдоль стен. Кто-то шел сюда. Я слышал шарканье. В приоткрытой боковой двери, за которой чернела непроницаемая темнота, появился неопрятного вида старик в запачканном мундире.

— Вы к нам? — заскрипел он. — К нам? Редкий, редкий гость! Чем могу служить? Хотите о чем-нибудь справиться?

— Я... э... — начал я, но антипатичный субъект, шмыгая носом, на кончике которого болталась сверкающая капелька, продолжал:

— Вы, как вижу, в цивильном — значит, что-нибудь из каталога... прошу покорнейше, вот сюда...

Он проковылял мимо предмета, который я принял было за обыкновенный шкаф, и привычными движениями стал выдвигать один за другим узкие, длинные каталожные ящички. Я еще раз осмотрел загроможденную мебелью комнату: огромные груды бумажной рухляди лежали и на полу тоже — в углах, под стульями; воздух наполнял душный запах сухой пыли и слежавшейся бумаги. Поймав мой взгляд, старик захрипел:

— Господина архивариуса Глоубела нет. Совещание, да, ничего не поделаешь! Господина субалтерн-архивариуса тоже, увы, нет, с вашего разрешения — вышел. И вообще я один, если позволите, остался в хозяйстве. Капприль Антеус, к вашим услугам, привратник девятого ранга, с выслугой, сорок восемь годочков службы. Пора, мол, на заслуженный отдых! — говорят господа офицеры, но я — вы и сами, милостивый государь, видите! — в некотором роде незаменим. Однако, однако я тут болтаю себе, а вы, милостивый государь, спешите небось по делам службы? Заказец покорнейше прошу вон в тот ящичек-шкатулочку, а как изволите потянуть за звоночек, так я появлюсь, вмиг отыщу — старые глаза, хе-хе, доложу я вам, не хуже молодых, — принесу и, если на месте, любезнейше просим, а если с собой, то извольте только цифирку свою на бланке изобразить, в графе «четыре римское дробь Бэ», — и все...

В завершение этой хриплой речи он расшаркался — не знаю, был ли это поклон или ноги у него уже отнимались —

и приглашающим жестом показал на ряд выдвинутых ящиков огромного каталога.

Одновременно он ловко перебросил свои стальные очки с носа на лоб и все с той же заискивающей улыбкой начал пятиться к двери, из которой возник.

— Господин Капприль, — неожиданно сказал я, не глядя на него, — скажите, прокуратура на этом этаже?

— Простите, что? — Он с готовностью приставил к уху сложенную трубкой ладонь. — Про..? Не слышал. Нет, знаете ли. Не слышал.

— А... Следственный отдел? — тянул я свое, не обращая внимания на возможные последствия такой откровенности.

— Отдел?.. — Его улыбка блекла, сменяясь выражением удивления. — Отдела тоже нет, разрешите заметить, и не может быть, потому что здесь мы, только мы — и никого больше...

— Архив?

— Совершенно верно, Архив, Главный Каталог, Библиотека, наше местопребывание, как я уже имел честь доложить, да, да. Могу ли еще чем-нибудь служить?

— Нет... пока что спасибо.

— Не за что — это мой долг. Звоночек я вот тут поставлю для высокочтимого гостя, на подставочке, так будет ловчее.

Он ушел, шаркая; тут же за дверью закашлялся — старчески, пронзительно, и это покашливание — стесненное, будто он старался не привлекать к себе внимания, и жестокое, будто кто-то его душил, удалялось, пока я не остался один в нагретой тишине, перед рядами ящиков с латунными табличками.

«Что бы это могло значить? — размышлял я, усаживаясь на стуле, который он мне пододвинул. — Неужели они хотят разузнать о моих интересах? Но зачем? Что это им даст?» Я лениво водил взглядом по гравированным названиям разделов. Каталог был не алфавитный, а систематический, с рубриками: СЕРВИЛИСТИКА, ЭСХАТОСКОПИЯ, ТЕОЛОГИЯ, ПОНТИ- и МИСТИФИКАТОРИКА, КАДАВРИСТИКА ПРИКЛАДНАЯ. Я заглянул за разделитель теологической рубрики. Кто-то переставил карточки, и теперь они стояли в полном беспорядке.

«АНГЕЛЫ — смотри: Воздуш. Сообщение. Там же: Праздничные приказы».

«ЛЮБОВЬ — смотри: Диверсия. Там же: Благодать».

«ВОСКРЕСЕНИЕ — смотри: Кадаврестика».

«ПРАВЕДНИКОВ ОБЩЕНИЕ НА НЕБЕСАХ — смотри: Связь».

«В конце концов, чем мне это грозит?» — подумал я, записывая на бланке номер одного из праздничных приказов относительно ангелов. Много было непонятных рубрик, к примеру: **ИНФЕРНАЛИСТИКА, ЛОХАНОВОЖДЕНИЕ, ИНЦЕРЕБРАЦИЯ, ЛЕЙБГВАРДИСТИКА, ДЕКАРНАЦИЯ**, но мне не хотелось даже в них рыться — каталог был непомерно велик; подпираемый маленькими деревянными колоннами, он возвышался до потолка, шелестел словно море, даже беглое ознакомление с ним заняло бы недели; доставаемые из ящичков зеленые, розовые и белые карточки постепенно затопляли меня, стекали, порхая, на пол, я откладывал по две, по три, наконец огляделся и, видя, что я все еще здесь один, как попало, не глядя, позасовывал их обратно в ящички.

Смутное подозрение закралось мне в душу: неужели беспорядок в каталоге возник оттого, что иногда и другие попадают сюда так же, как я? На столе с каталожными ящиками лежали сваленные грудой громадные, черные тома энциклопедии. Я взял первый попавшийся. Что там было на карточке? **ЛОХАНОВОЖДЕНИЕ**? Я поискал на «Л». «**ЛУКОВИЦА — разновидность многослойной операции**». Нет, не то... «**ЛОХАНОВОЖДЕНИЕ — эрзац-наука о плавании в лохани. См.: Псевдогнозия, а также: Науки Фиктивные и Камуфлирующие**».

Я захлопнул том, другой том открылся на букве «А», в самом ее начале. В глаза бросилась колонка набранных жирным шрифтом статей, начинающихся на «Аг»: «**АГЕНТ... АГЕНТУРАЛЬНЫЙ... АГЕНТУРНЫЙ...**» — ниже помещалась большая статья «**АГЕНТЫ И АГЕНТСТВА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ**».

Рядом лежал третий том, открытый, с подчеркнутой красным карандашом статьей: «**ГРЕХ ПЕРВОРОДНЫЙ — разделение мира на информацию и дезинформацию**». «Что за энциклопедия такая?» — подумал я, толстыми ломтями переворачивая страницы, бегал по ним глазами, наталкиваясь на все новые определения: «**ДЕКАРНАЦИЯ — истеление, растеление, также: вытеление (сравни: выселение), см.: АППАРАТЫ ИНВЕСТИГАЦИОННЫЕ**». Я поискал эти аппараты и нашел целый их список, начинавшийся с перечисления каких-то странных устройств, таких как четвертованна, головоломик, шкурник-кожемяка, мозгоправ, он же **ИНЦЕРЕБРАТОР АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ**; с

пальцами, перепачканными в книжной пыли, я наконец отошел от стола; и рыться, и читать расхотелось, последние остатки любопытства иссякли — уйти, уйти как можно быстрее, к Эрмсу, Эрмс мне поможет, я скажу ему все! Я уже искал свою папку, но тут опять послышалось шарканье. Старик вернулся. Он посмотрел на меня с порога, забросив очки на самую лысину, с внимательным выражением, которое тотчас превратилось в заискивающую улыбку. Странно — лишь теперь я заметил, что он косоглаз. Когда он целил в меня одним глазом, другой подпрыгивал кверху, как будто эту часть лица охватывало набожное восхищение.

— Ну как, нашли?

Он зажмурил глаза, тихонько свистнул, то ли уважительно, то ли задумчиво, а увидев в шкатулке вторую отложенную мной карточку, которую я даже не прочитал, поклонился мне.

— А-а... и это тоже? — спросил он, деликатно причмокивая старческими губами. Он показался мне еще более неопрятным, запыленным, с этими своими руками, с этим лицом, с этими оттопыренными ушами; только лысина отливала медью, словно натертая жиром.

— В таком случае, может быть... вам угодно будет пройти со мной? Тут у нас, главным образом... мне, что там ни говори, старику, трудно было бы тащить такие фолианты. Не все, но... если вы специалист... бригадьер Млассграк, должно быть, ваш начальник? Нет, нет, я ни о чем не спрашиваю. Служебная тайна, устав запрещает, хи-хи! Пожалуйста за мной, только осторожно, а то запачкается, пыли видимо-невидимо...

Так, бормоча, он вел меня из комнаты в комнату по узкому, извилистому проходу между тесно составленными стеллажами. Я невольно задевал о растрепанные корешки атласов и фолиантов, все глубже погружаясь в полутемный лабиринт.

— Здесь! — торжествующе воскликнул наконец мой провожатый.

Мощная голая лампочка освещала обширный закоулок книжного собрания. Между лесенками, прицепленными верхним концом к металлическому брусу, громоздились на прогнувшихся полках ряды томов, оправленных в ветхую, пепельно-серую кожу.

— Мукоделие! — захрипел он восторженно, размахивая перед моими глазами все той же злосчастной каталожной карточкой. Действительно, одно это слово чернело на ней, каллиграфически выведенное тушью.

— Мукоделие! — повторил он, и от волнения длинная капелька у него на носу затряслась, сверкая при свете лампочки словно бриллиант.

— Мукоделие, мукоделье, вот, пожалуйста, хе-хе, вот тут, сверху, экстракция показаний, вот прокрустика, иначе внутреншество или вывнутренние, хе-хе, вот отдел утробочистов и утрободувов, тут у нас прелюбопытнейшее издание, «De crucificatione modo primario divino»*, второй век; последний, превосходно сохранившийся экземпляр с гравюрами, прошу обратить внимание на застешки, да, вот тут у нас шкуродерство, колонасаждения, исследования индивидуальной сопротивляемости, нет, нет, прошу вас, там уже нет — физические муки только досюда! Вот эти два крыла, сверху донизу — слева вытяжки, справа насадки...

— Что? — вырвалось у меня.

— Ну, как же, насадка, это будет, допустим, кол, колышек-столбик — вот эти две полки. Стилистика — вот здесь тупое, там заостренное — красное дерево, береза, дуб, ясень, да! — а вытяжки, это того... разные там... э-э, что я буду вам говорить, хи-хи, вы же лучше меня знаете... в этот отдел никто почти не заходит, уже несколько лет. Истинное удовольствие вы мне доставили, осмелюсь заметить, истинное! Господа говорят, это, мол, устарело, анахронизм.

— Устарело? — глухо переспросил я.

Он кивнул. Я не мог оторвать глаз от болтающейся у него на носу капли, но та упорно держалась.

— Ну да. Так они говорят. Дескать, оставим это мясникам. Сыскная-отбивная... требушенция... — это господин поручик Пирпичек, да, любит пошутить человек. Теперь-то в моде больше вот это, этот отдел, вот здесь он как раз начинается, как раз где вы изволите стоять — подразделы пронумерованы, пожалуйста, так легче найти, только вот эта пыль, эта пылица проклятая!

Он быстро стер ее рукавом и начал читать вслух:

— Мукодельч. намеки... мукодельч. предрасположенности... Мукодельч. ожидания — немалый отдел, не правда ли? Одного ожидания девяносто штук, тютелька в тютельку, хе-хе, память у меня еще дай Бог каждому... «мукодельч.» — прямо как у пекаря какого-нибудь, как говорит наш бригадьер, весьма добросердечный человек, весьма непосредственный, весьма, а ведь начальник не какого-нибудь там простого отдела; когда приходит, я ему: «Привратник

* О распятии первым божественным способом (лат.)

Капприль к вашим услугам», — а он не то чтобы сразу номер, сухо — не бюрократ какой-нибудь, нет! Но уж как затянет «тю-тю-тю», как заворкует «тьюррр», я уже вмиг смекаю, в чем дело, вот оно, значит, как... Доктор Мрайзнорл присматривает за этим отделом. Что это? «*De strangulatione systematica occulta*»* — кто-то, видать, переставил, ведь это физические, простите великодушно, ой, и мумификация здесь, она-то откуда взялась? Да нет же. Вот сюда пожалуйста! Тут, куда вы зашли, это уже криптология, но если интересуетесь, — ради Бога, издания тоже весьма любопытные. То, что вам угодно было взять в руки, только позвольте, я тут оботру, пыль здесь кругом, «сразу зараза», как говорит наш генерал-архивариус, гомонимика — это его конек, хи-хи, итак, то, что вы держите, это «Вселенная как сундук», такая, знаете ли, Сундуленная, Скрытоздание, монография чуточку устаревшая, но может сгодиться, господин субалтернархивариус высказывался позитивно, а это специалист, каких мало, осмелюсь заметить... Это? «Банные жизнеописания»? Нет, это такое, знаете ли, неинтересное, нестарое.

Я отложил эту книгу и взял другую: «Об укрывательстве в предметах культа». В голове у меня шумело. Вдобавок меня преследовал неуловимый, невыносимый запах, бьющий всепроникающим смрадом из груд окружавших нас книг, — это не был какой-то определенный запах, например, плесени или песочно-бумажный запах пыли, но тяжелые, тошнотворные испарения векового тления, которые, казалось, невидимо прилипали здесь ко всему. Мне следовало, в сущности, выбрать что-нибудь наугад, взять первый попавшийся том и уйти, но я все еще рылся в книгах, словно и впрямь что-то искал. Я отложил «Деонтологию измены», и маленькое, пузатое «Подражание небытию» с загнутыми углами, и оправленный в черную кожу, удобный томик «Как оестествить сверхъестественное», попавший, неведь почему, в раздел шпионажа; за ним стояли рядами толстые томища с окаменевшими от старости обложками; на первых страницах желтой, тронутой тлением бумаги красовались заглавия, оттиснутые в технике деревянной гравюры: «О соглядатаев фортуны, или Советчик шпионства преизрядного, в трех Книгах с парергой и паралипоменой, нугатором Ионаберием о. Паупом сочиненных». Среди этих томов затерялась старопечатная книжечка, без обложки, заглавие читалось с трудом: «Како изобличати способом явственным». Всего этого

* О системе тайного удушения (лат.)

было полно; я едва успевал читать названия: «О непотребстве на расстоянье чинимом», «Купилки и подкупилки, инструменты подручные шпики», «Теория подглядыванья», краткий очерк с перечнем скоптологической и скоптогностической литературы, скоптофилия и скоптомания на службе разведки, «Machina speculatrix*, сиречь Шпионирования тактика», черный атлас, озаглавленный «О любострастии соглядатайственном», руководства по выработке шпионских манер, «Искусство продавания, или Совершенный душепродовец», «Краткий курс стукометрии», «Провалы и засыпы» — раскладывающийся альбом с фигурами, «Подкопы и подставки», даже по части искусства кое-что было — ветхая тетрадка с нотами и лиловым заголовком, выведенным от руки: «Малая провокатория на четыре руки», вместе со сборником сонетов «Иголки».

За перегородкой кто-то страшно стонал, все громче и громче. Я прислушивался, ставя книги обратно на полку; адские стоны разрывали сердце; наконец я схватил за рукав торопливо суетящегося старца:

— Что это?!

— Это? А, это господа аспиранты ставят пластинку, там у них семинар по агоналистике, симультаназии, такие, знаете ли, молодые агональщики, как их у нас называют, — забормотал он.

Действительно, слышались пущенные с начала предсмертные хрипы. Всего этого мне было довольно, десять, сто раз довольно, но проклятый старикан, рот у которого не закрывался, впал в настоящий транс, в какое-то болезненное возбуждение; шаркая, он подбегал к полкам, тянулся на цыпочках, тащил к себе лестницы, адски скрежетавшие ржавыми колесиками, лез по ним вверх, стучал обложками, осыпая комнату тучами мелкой пыли, и все это, чтобы порадовать меня еще одним тухлявым экземпляром, распадающимся раритетом. Не переставая восторгаться, перекрикивая вопли, все повторяющиеся за стеной, он временами стрелял в меня — поверх бешено раскачивающейся бриллиантовой капли — косым, острым как бритва взглядом, и эта косина становилась все выразительнее, она господствовала над всем его, словно вылепленным из пыли, лицом, уходящим куда-то вглубь, в окружение, эти взгляды прищипливали меня к полкам, стесняли мои и без того скупые и вынужденные движения, я боялся, что чем-нибудь

* Механизм наблюдения (лат.).

выдам фиктивность ситуации, разоблачу себя как невежду и самозванца. Но он, в старческом азарте, задыхаясь, давясь кашлем, стряхивал пыль с фолиантов, таскал их, совал мне под нос и кидался к следующим. Черный том «Криптологии», который он всунул мне в руки, открылся на начальных словах главы: «Тело человека состоит из следующих укрытий...»

— Это... это «Гомо сапиенс как *corpus delicti*»*, — превосходная, уверяю вас, превосходная вещьца... настоящий компендиум... это «Огонь прежде и теперь», а тут перечень теоретиков предмета, вот, пожалуйста: Мири, Бердхув, Фишми, Кантово, Карк, и наши тоже, а как же: профессор Барбелизе, Клаудерлаут, Грумпф — полная библиография предмета! Большая редкость! Это? Это «Морбитрон» Глоубе-ла. Мало кто знает, что он сочинил, хи-хи, и эту брошюрку...

Он вытащил какую-то кучку еле держащихся вместе страничек, потемневших, с шершавыми обтрепавшимися краями.

— «Umbilico»**, «Murologia».. да, разведение нутрий... чего у нас только нет... на горбу, а как же; немодно, говорят господа офицеры... хе-хе! Ах, то, что вы взяли, это уже мода. Заурядная мода. Ну, крой изящных смиренных сорочек, и прочее, разные там... «Вселенная как сундук» заинтересовала вас? Ну ясно! Так сказать, скрыня... там еще есть приложение: «Пособие для собирателя доказательств собственной вины» — заметили? Хе-хе! «Самоучитель самосу-да» — так называется этот раздел.

Повернувшись к нему спиной, чтобы хоть как-нибудь отгородиться от его болтовни, которая — неотвязное впечатление! — обволакивала меня чем-то нечистым, смешанным с пылью, я вслепую, яростно листал этот маленький, словно опухший томик, то и дело натываясь на странные термины, на какие-то дубль-провальники, криптозасовы, шифромолы, шифроломы, кодокрады, суперсобачки и суперзащелки, телесные фарши, — автором «Криптологии» был доцент Приват Пиннчер.

Я воспользовался кратким перерывом — Капприль был вынужден замолчать, когда прямо в руки ему свалилась груда неосторожно задетых томов, грозя его задавить, — и сказал, что должен, увы, идти. Он посмотрел на часы. Я спросил, можно ли мне поставить мои, остановившиеся. У него была

* Улика; букв.: тело преступления (лат.).

** Пуповина (лат.).

большая серебряная луковица, по которой я ничего не смог прочитать.

— Это... тайные часы? — вырвалось у меня.

— А что? — сказал он. — Ну да. Тайные. Тайные часы. Ну и что? А?

И спрятал их, тщательно закрыв крышку шифрованного циферблата. Я отдал ему книгу, которую держал в руках, что-то бормоча насчет того, что приду в другой раз, когда у меня будет больше времени, а пока что подумаю, что выбрать для чтения. Он почти не слушал меня, так его разобрало, — он показывал мне дорогу в другие отделы книгохранилища; голые лампочки, словно низко висящие звезды, освещали обсыпанные мелкой пылью, забитые бумагами внутренности тяжело осевших, разинувших свои полки стеллажей и шкафов; уже у входа он догнал меня с учебником «Искусства деморализации» и листал передо мной жесткие страницы, расхваливая этот труд, как будто я был его возможным покупателем, а он — полупомешанным библиофилом и заодно торговцем библиотечным старьем.

— Но вы же ничего не взяли, ничего! — вцепился он в меня в каталожной комнате; чтобы отвязаться, я взял у него книжицу об ангелах и, не знаю сам, почему, пособие по астрономии. Я неразборчиво подписал циркуграф, затем, сжимая под мышкой стопку бумаги (так выглядел этот ангелологический труд — манускрипт, а не печатная книга, Капприль с восхищением повторял это), вышел и с чувством неизъяснимого облегчения вдохнул чистый коридорный воздух. Еще долго потом вся моя одежда выделяла все более слабый, но отчетливый смрад, смесь запаха преюющих телячьих шкур, типографского клея и истлевшего полотна. Я не мог отделаться от омерзительного ощущения, что папахиваю какой-то бойней.

VI

Я уже отошел на несколько десятков шагов от архива и вдруг, ведомый внезапным предчувствием, повернул обратно, чтобы сравнить номер двери с тем, что значился у меня на листочке, — и убедился, что тут могла произойти ошибка. Как я уже говорил, номер был нацарапан весьма неразборчиво — вторая восьмерка походила на тройку; в таком случае мне нужна была комната 3383.

В моем сознании произошла любопытная перемена: то, что я ошибочно прочитал номер, принесло мне неожиданное

облегчение. Сперва я не понял, почему, но потом разобрался. Все, что я делал до сих пор, лишь по видимости было делом случая, — поступая будто бы по собственной воле, я в действительности делал то, чего от меня ожидали. Однако посещение архива не предусматривалось этим объемлющим все мои начинания планом, и, хотя ошибся я сам, вину за ошибку я возложил на Здание. Неразборчиво записанный номер означал упущение, недосмотр, в высшей степени человеческий; это утвердило меня в убеждении, что, как бы там ни было, и тут действует фактор ошибочности, которая допускает существование тайны и свободы.

Итак, идти с объяснениями следовало в комнату 3383; коль скоро я, объект испытания, мог ошибаться, то мог ошибиться и следователь; уверенный, что оба мы будем еще смеяться над этим недоразумением, я прибавил шагу и вскоре был уже на следующем этаже.

Комната 3383, судя хотя бы по количеству телефонов на столах, была приемной какого-то высокого чина. Я пошел прямо к обитым кожей дверям, но двери оказались без ручки. Удивленный, я остановился перед ними, а секретарша спросила, чего мне угодно. Моих объяснений — довольно запутанных, потому что правду я говорить не хотел, — она, казалось, не слышала.

«Вам на сегодня не назначали», — упорно твердила она. После напрасных просьб я потребовал, чтобы она включила меня в список приема и назначила время, но и в этом мне было отказано — со ссылкой на какие-то предписания. Я должен был изложить свое дело письменно, обычным порядком, то есть через начальника своего Отдела. Я повысил голос, стал говорить об исключительной важности моей Миссии, о необходимости беседы с глазу на глаз, но она меня просто не слушала, отвечая только на телефонные звонки. Бросала в трубку три-четыре коротких слова, нажимала на кнопки, переключала линии и лишь в промежутке между двумя разговорами задевала меня почти невидящим взглядом, под которым я постепенно переставал существовать, словно какой-то предмет мебели.

После четверти часа такого выстаивания я уже не требовал, а умолял, когда же и это оказалось совершенно напрасным, показал содержимое папки, включая секретный план Здания и схему диверсионной операции, — с тем же успехом я мог показывать ей старые газеты. Это была абсолютная секретарша: она не замечала ничего, что не входило в ее обязанности. Почти обезумев, дрожа, я

выбрасывал из себя признания все более страшные — рассказал о бледном шпионе у сейфа, о своем самозванстве, повлекшем самоубийства старичка и капитана, а так как и самые ужасные поступки не производили на нее ни малейшего впечатления, начал лгать, приписав себе высшую меру измены, лишь бы достичь своего; готовый к скандальному аресту, к неслыханному позору, я провоцировал ее криком, а она с безразличием камня продолжала переключать телефоны и лишь иногда локтем руки, держащей трубку, или прядью волос, свисавшей с низко опущенной головы, отгоняла мои слова как надоедливых мух. Я ничего не добился — и, обливаясь потом, совсем обессилев, рухнул на пустой стул в углу комнаты. Не знаю даже, заметила ли она это. Как бы то ни было, я решил не двигаться с места — следовательно, обвинитель или кто там еще, спрятанный за обитыми кожей дверьми, должен ведь рано или поздно выйти. Тогда я к нему подбегу, решил я; а пока что пытался убить время, листая свои бумаги и книгу. Я и вправду не знаю, что там было, — в таком расслаблении и разладе находился мой ум. Манускрипт содержал ряд праздничных приказов по вопросу о видении ангелов, а пособие по астрономии состояло из многочисленных, малопонятных параграфов — там было, кажется, что-то о маскировке галактик или их укрывании внутри темных туманностей, о выведении звезд из состава созвездий, о подмене и просвечивании планет, о космической диверсии, — однако я не помню ни слова из этих параграфов, хотя листал их яростно, читал, ничего не понимая и по десяти раз возвращаясь к началу. То, что меня уже вовсе перестали замечать в этой комнате, с течением времени становилось все более ужасным кошмаром, пожалуй, худшим, чем казни, которые рисовались мне перед тем. С пересохшим горлом, ссутулившись, обессиленный, я раз за разом вставал и слабым, хриплым голосом, слегка заикаясь, просил секретаршу дать мне какие-нибудь сведения — часы приема начальника, время, когда он обедает; наконец — это была уже полная сдача — местонахождение какого-нибудь другого следственного либо прокурорского органа или любых иных представителей правосудия; но она, занятая телефонными звонками, переключением штекеров, записыванием цифр и черканием галочек на полях больших машинописных листов, повторяла одно и то же — чтобы я обратился в Справочную. Я спросил о местонахождении этой Справочной — она дала мне номер комнаты, 1593, на мгновенье прикрыв ладонью трубку, которую держала в руках. Я собрал свои бумаги,

папку, книгу и вышел, ничего не добившись, по дороге пытаюсь обрести хоть частицу душевного равновесия и той уверенности в себе, которую ощущал с утра, — но куда там. Взглянув на свои часы (они показывали относительное время, ведь я до сих пор не знал никакого другого; кстати сказать, в Здании я ни разу еще не встретил календаря и совершенно потерял счет дням), я обнаружил, что в приемной провел без малого четыре часа. Последняя дверь в коридоре третьего этажа имела номер 1591. Я поискал номер, указанный мне секретаршей, этажом выше, но там нумерация начиналась с двойки. Я входил в разные комнаты с табличками «Секретно», «Совершенно секретно» и «Строго секретно — Командование», потом попытался отыскать дверь, которая когда-то привела меня к главнокомандующему, но, как видно, таблички или номера сменили — ничего похожего на них уже не было. Бумаги в моих вспотевших ладонях отвратительно размякли; ослабевший от голода — я ничего не ел со вчерашнего дня, — я слонялся по коридорам, чувствуя, как колет кожу проклевывающаяся щетина, и наконец стал расспрашивать про эту злополучную комнату даже лифтеров. Тот, у которого был подслушивающий аппарат в протезе, сказал, что этого номера «нет в списках» и нужно сперва доложить о себе туда по телефону. Еще через четыре часа (дважды за это время мне удавалось воспользоваться телефоном в пустых комнатах, но номера Справочной были заняты) движение в коридорах заметно оживилось. Служащие гурьбой выходили из лифтов, спеша в столовую. Я пошел вместе с ними, не столько даже из-за голода, сколько невольно втянутый в толпу у одного из лифтов. Еду — клецки с маком, разваренные и политые растопившимся маслом, чего я терпеть не могу, — я заглотал торопливо, не зная даже, обед это или ужин. Клецки были отвратительные, но во всяком случае означали отсрочку бродяжничества, которое мне предстояло. Мне давно уже хотелось пойти к Эрмсу, но я постоянно это откладывал, ведь если бы и Эрмс не оправдал ожиданий, мне не осталось бы совсем ничего. Выходя из столовой, с жирными губами и лбом, орошенным холодным потом от быстрого наполнения желудка, я думал о том, что мои признания и даже самооговоры не были выслушаны; это вовсе не удивило меня. Меня ничто уже не удивляло. Мной овладела сонливость и какое-то безразличие. Я поехал наверх, в свое давешнее убежище, убедился, что оно пусто, постелил себе рядом с ванной, под голову подложил свежее полотенце и попробовал уснуть. Тотчас нахлынул страх. Не

то чтобы я боялся чего-то определенного — я просто боялся, — и притом так сильно, что меня снова бросило в пот. От каменного пола веяло холодом, я ворочался с боку на бок, наконец встал, чувствуя боль во всем теле, уселся на краю ванны и попробовал думать обо всем, что со мною случилось и что меня еще ждет. Папка, книга и обтрепанный манускрипт с приказами об ангелах лежали рядом с моей ногой. Я мог пнуть все это. Однако не пнул. Я только размышлял — и чем напряженней я думал, тем яснее видел пустоту своих размышлений. Я вставал, ходил из угла в угол, пускал воду из кранов, закручивал их, изучая возникающее при этом завывание труб, корчил рожи перед зеркалом и даже немного всплакнул. Потом снова уселся на краю ванны и, подперев голову руками, сидел так какое-то время. Сонливость прошла. Быть может, меня все еще подвергали испытанию. Ошибка в прочтении номера могла быть подстроенной. Неопрятный привратник привел меня чуть ли не прямо в Отдел пыток. Его восторги, восхищение, заискивание с каплей на носу все очевиднее казались мне наигранными, натужными, фальшивыми. Почему он подчеркивал анахроничность физических мук? Просто так? Ба! Пытка ожиданием — разве он ее не назвал? Возможно, меня хотели заставить покаяться по-настоящему, заставить размякнуть, тем самым проверив мою сопротивляемость, необходимую в этой Миссии, трудной, невероятно трудной, — неужели я все еще оставался избранным и отмеченным? Тогда мои тревоги напрасны — лучшей тактикой было нерассуждающее равнодушие *службиста*. Секретарша умышленно выпроводила меня ни с чем, умышленно были заняты и номера Справочной. Мои провинности были на самом деле экзаменами — словом, все было в порядке. Так подбодрив себя, я умылся и вышел, чтобы отправиться наконец к Эрмсу.

За несколько десятков шагов до Отдела инструкций я увидел уборщиков. Они драили пол. Было их что-то очень уж много. Все на четвереньках, в только что полученных со склада плащах, с оттопыренными карманами. И не слишком-то они старались, а больше зыркали исподлобья, искоса — все же снизу неудобно. Кто-то кашлянул — все встали, похожие друг на друга как братья, приземистые, плечистые, в надвинутых на глаза шляпах. Я остановился, удивленный; они многозначительно подталкивали друг друга, переговариваясь вполголоса: «Коллега Мердас, пшиво... пшиво, коллега Брандзль, коллега Шлипс, пшиво...»

Появилось десятка два офицеров в парадных мундирах,

при саблях. Они проверили документы у штатских, те проверили документы у офицеров, обо мне в суматохе как-то забыли. «Ага, — подумал я, — охрана...» Я торчал возле лифта, не столько из любопытства, сколько потому, что не особенно спешил к Эрмсу. Вдруг заиграли побудку, лифт причалил к нашему этажу, началась суeta, беготня, но всё по стойке «смирно», сабли на португезах позвякивали, охрана засунула руки глубоко в карманы, все поля шляп пошли вниз, головы вверх, освещенная кабина открылась, двое адъютантов, сплошь в серебряных шнурах, ухватились за ручку двери.

Из уст в уста пробежала весть: «Адмиральер! Адмиральер — уже!» Возникла шпалера офицеров, я догадывался, что прибыла важная персона, и сердце возбужденно заколотилось. Из лифта, какого-то особенного, лифта-салона, обитого красным дамастом, увешанного картами и гербами, вышел, чуть волоча левую ногу, маленький старичок в мундире, расшитом золотом. Быстрым взглядом окинул вытянувшихся в струнку офицеров и — седой, сухой, крапчатый — крикнул, не напрягаясь, на одной лишь долголетней выучке, — словно нехотя щелкнул кнутом:

— Здравия желаю, ребята!

— Здра! Ла! Дин! Дьер!!! — загремел кишащий мундирами коридор. Старец скривился, словно уловил фальшивую ноту, но ничего не сказал, только зазвонил золотобляшным слоем орденов, устилавших его грудь, и двинулся вдоль шеренги. Сам не знаю, как это вышло, но и я стоял в ней, единственный штатский среди военных чинов. Может быть, удивленный серым вкраплением моей одежды, он внезапно остановился.

«Теперь! — мелькнуло у меня. — Броситься в ноги, признаться, просить!»

Однако я продолжал стоять, преданный, как никогда в жизни. Он глянул воинственно, задумался, звякнул и быстро бросил:

— Штатский?

— Так точно, штатский, госпо...

— Служишь?

— Так то...

— Жена, дети?

— Разрешите доло...

— Н-н-а! — добродушно произнес старец. Он размышлял седовласо, кустисто, шевеля пухлой бородавкой междуусья. Он и вправду был крапчатый, я это видел вблизи.

— Тайный агент, — тихо прохрипел он. — Тайняк... видно. Сразу видно. Бывалый... матерый тайняк... Ко мне!

Он поманил меня пальцем, не отнимая руки в белоснежной перчатке от армираклей португеи, утопавшей в шнурах и звездах. Сердце подступило к самому горлу. Я вышел из общего ряда. Охрана в глубине зашумела, но самый плечистый из уборщиков прокашлял отбой. Я двинулся вместе со старцем, сопровождаемый возбуждающим как щекотка шепотом свиты, выжидая только минуту, чтобы припасть к ногам. Мы шествовали по коридору. У белых дверей вытягивались в струнку офицеры, словно пораженные нашим приближением, и головы себе сворачивали, отдавая честь. Перед Отделом награждения орденами и лишения оных нас ждал его начальник, старик полковник при шпаге. Мы прошли через Залы Дипломанции, Лактанции, Толеранции, Эксгумации и Реабилитации; наконец у двух последних дверей, ведущих в залы Награждения и Лишения, адмиральдер звякнул и остановился. Я встал рядом. Как юла подлетел начальник Отдела.

— Н-н-а? — разрешил ему адмиральдер доверительный шепот. — Что за церемония?

— Контрцеремония, господин ад...

Он принялся вшептывать в восковое ухо сановника распорядок церемонии; до меня доносилось только: «пятерых... рвать... драть... мать...»

— Н-н-а! — крикнул сановник. Медленным шагом пошел к дверям Зала Лишения и застыл у порога.

— Тайняк! Ко мне!

Я подбежал. Он не двигался с места. Царственный — посуровел; белым пальцем поправил орден, натянул кивер и резко, неумолимо вошел. Я за ним.

Зал был поистине тронный, но вместе и траурный — стены задрапированы черной тканью в искусных складках, с высокого потолка свисали на черных шнурах люстры крупнейших калибров — грузные овалы венецианского стекла, мрачные, полуслепые зеркала из разбавленной свинцом ртути, высасывавшей весь свет в зале; по углам похожие на зеркальные катафалки пластины из холодной стекловидной массы, в оправе из черного дерева; между ними, словно охваченные безумным страхом глаза, зияли диски из посеребренной бронзы. В вогнутых все раздувалось, словно вот-вот лопнет, в выпуклых зал умался, стянутый вдоль швов перспективы. Между этими неживыми свидетелями предстоящей контрцеремонии, на великолепном ковре,

вышитом змеями и иудами, стояли навтыжку пять офицеров с аксельбантами, позументами и эполетами, при саблях, точно на параде. Бледные как смерть, они замерли, увидев адмиральера, лишь орденские звезды искрились у них на груди да покачивались у плеч серебряные шнуры и кисти.

Великолепие их фигур, казалось, опровергало то, что я слышал минутою раньше, но я тотчас понял свою ошибку. Адмиральер прошелся перед пятеркой офицеров в одну сторону, в другую, наконец, задержавшись возле крайнего, рывкнул:

— Позор?!

Он умолк, словно бы чем-то недовольный, и знаком велел мне выключить верхний свет. Центр зала погрузился в полумрак, из которого призрачно проступали наклоненные к центру зеркала. Адмиральер отступил в тень, за границу света, но так было совсем плохо. Он вернулся и, когда седина его засеребрилась опять, жадно втянул воздух.

— Позор!!! — швырнул он им в лицо, и еще раз: — Позор!!! — И снова остановился, неуверенный, считать ли также и первое, в известном смысле пробное, восклицание, то есть прозвучало ли оно трижды или нет, но уже заиграла его седина серебряным ореолом, ордена поторопили бряцаньем, поэтому:

— Пятно!!! — загремел он. — Мундира!! Мерзавцы!! Грязь!! Скатились!! Изменники!!

Он распалялся, но пока еще сдерживал гнев.

— Не смей!! — зашелся он старчески, с достоинством. — Горе! От имени! Настоящим! — И: — Разжаловать!!!

Когда он выстрелил этим последним, страшным словом, я думал, что это уже конец, но он только начал. Молча наскочил на первого, потянулся на цыпочках и цапнул осыпанную бриллиантами звезду, украшавшую грудь. Потянул, сперва слабо, точно спелую грушу хотел сорвать, а может, жалко стало ему столь высокую награду позорить, но уже трескнула она и осталась в руке у него, гадко так трескнула, отступления не было, и начал он уже остервенело срывать, словно на поле боя, словно с трупа, эполеты, шнуры, кисти, все подряд; подбежал ко второму, и снова сдирать, а швы, видать уже заранее искусно ослабленные опытными портными, распарывались необычайно легко и звучно; алмазными молниями швырял он знаки отмененных заслуг на ковер, топтал и расплющивал драгоценности, а офицеры, покачиваясь слегка от кошмарного звездорвения, смертельно бледные, подставляли грудь; в призрачных зеркалах мелька-

ли бесчисленные повторения благородной, сияющей праведным гневом седины, временами из стекловидной тьмы выплывал брызжащий презрением глаз, огромный, как зрачок глубоководной рыбы, фрагменты вырванных с мясом эполет и нашивок зеркала передавали друг другу и множили, а в самых больших, крайних, уходила в бесконечность аллея позора; натрудившийся старец тяжело дышал, переводя дух, затем, опершись о мое плечо, приступил к раздаче пощечин. Потом мне пришлось ломать о колено сабли, которые офицеры поочередно вынимали из ножен, при этом я, как лицо штатское, усугублял их позор. Сабли были чертовски прочные, я вспотел как мышь. Когда же и с этим было покончено, мы покинули потемневший Зал Лишения и через Зал Награждения, также полный зеркал, добрались до резных, обитых кожей молодого оленя дверей, которые настежь распахнул перед нами адъютант.

Я вошел за адмиральбергом, и мы остались в громадном кабинете одни.

Посередине стоял стол — не стол, а настоящий крепостной бастион с маленькими колоннами, за ним — отодвинутое на удобное расстояние глубокое кресло, со стен властно и мудро смотрели из золотых рам глаза адмиральбера, облаченного в богатые, пышные мундиры, а в углу стояла его мраморная конная статуя. Сам он снял кивер, отстегнул саблю, не глядя подал мне то и другое, а пока я думал, куда бы положить эти золоченные тяжести, он расстегнул застежку воротничка, осторожно ослабил ремень, поковырялся возле пуговицы под шеей, при каждом из этих действий издавая слабый вздох облегчения, наконец, осмотревшись с неуверенной улыбочкой, отстегнул пуговицу брюк. Произведенный этим как бы в наперсники, я не мог решить, ответить ли и мне улыбкой; но это, пожалуй, было бы уже дерзостью. Старец необычайно осторожно опустился в глубь кресла и некоторое время трудолюбиво дышал. Хорошо бы, подумал я, снять с него орденов густую ниву, что златым горит огнем, уж слишком его отягощало их бремя, но это было, разумеется, невозможно. Страшно постаревший с той минуты, как лишился оружия и головного убора, он зашептал:

— Тайняк... хе-хе... тайняк... — как будто его развеселила мысль о моей мнимой профессии, или, может, при всем своем могуществе, он впадал в детство? Но я предпочитал думать, что, обреченный жить в мундире среди других мундиров, он питает старательно скрываемую симпатию ко всему штатскому, как к запрещенному плоду. Я готов был броситься к его

коленям и поведать обо всем, что со мною случилось, но он заговорил снова:

— Тайняк... Э-хе-хе... — тайняк?..

Для меня это прозвучало иначе — словно он пробовал смягчить это слово: «гм, тайняк», — покашливал он успокоительно, слегка пощелкивал языком, похрустывал суставами, вроде бы просто так, но за этим таилась какая-то внутренняя дрожь. Он успокаивал себя легким покашливанием, но глаза уже настороженно бегали, неужели он не доверял мне?.. Я заметил, что и на мои ноги он посматривает подозрительно.

Почему именно на ноги? Или тут была какая-то связь с моим намерением упасть на колени?

— Тайняк! — прохрипел он.

Я подбежал. Он поднял руки:

— Нет! Нет! Не так близко, слишком близко нехорошо, не надо... Пой, тайняк! Пой! Пой, что думаешь!!! — крикнул он вдруг.

Я понял: зная, что повсюду караулит измена, многоопытный старец приказывал мне вслух напевать мои мысли, чтобы я ничего не мог от него утаить.

— Какой необычный метод! — затанул я первое, что пришло мне на ум, а дальше уже пошло. Он показал глазами на боковой ящик письменного стола, я выдвинул его с пением на устах, там было полно баночек и флакончиков, в нос ударил одуряющий запах старинной аптеки. Теперь старец дышал несколько тише, а я напевал лихо, суеясь возле стола; его глаза осторожно, даже опасливо провожали один за другим флакончики, которые я ставил, по собственному наитию, перед ним. Он велел выровнять их ряд по линейке; вытянувшись в кресле — я слышал потрескивание высохших его косточек, — подвернул рукав мундира и осторожно, как только мог, стянул перчатки. Когда из-под замши показалась высохшая, пятнистая тыльная сторона ладони, с жилками, горошками и какой-то божьей коровкой, он вдруг отменил пение и шепотом процедил, чтобы я сперва подал ему таблетку из золотистой баночки. Он проглотил таблетку с видимым усилием, долго переворачивая ее немощным языком, затем велел принести стакан с водой и отмерить в него другое лекарство.

— Крепкое, тайняк... — доверительно шепнул он. — Смотри! Не перелей! Не перельешь, а?!

— Никак нет, господин адмиральер!!! — выпалил я, тронутый таким доверием.

Старческая ладонь, пятнистая, в бородавках, задрожала

сильнее, когда из фиолетового флакончика с притертой пробкой я начал наливать, капля за каплей, сильно пахнущее лекарство.

— Одна... две... три... четыре... — Он считал вместе со мной; на шестнадцать — эта цифра заставила дрогнуть мои пальцы, и все же я не уронил уже висевшую на стеклянном носике следующую каплю — он проскрипел: — Хватит!

Почему при счете «шестнадцать»? Я забеспокоился. Он тоже. Я подал ему стакан.

— Хе-хе... толковый... толковый тайняк... — нервно приговаривал он, — ты, ты... хе-хе... ну, того... того... попробуй... попробуй сперва...

Я отпил лекарство; только выждав с хронометром в дрожащей руке десять минут, он взял стакан. Как-то ему не глоталось — зубы звенели о стекло, я принес другой стакан, он опустил их туда, как белый, разломанный надвое браслет, а затем, с немалым трудом и старанием, проглотил целебную жидкость. Я бережно поддерживал его руку — косточки ходили в ней, будто вроссыпь набросанные в кожаный мешочек. Я молился, чтобы ему не стало дурно.

— Господин адмиральдер... — зашептал я, — позвольте изложить мое дело.

Он прикрыл потухшие зрачки веками и, застыв за большим письменным столом, стал потихоньку, очень медленно уменьшаться, как бы западая понемногу внутрь себя. Так, без единого слова, он слушал мои горячечные признания — а его рука между тем, как бы не принимая во всем этом участия, подползла к шее, с усилием отстегнула воротничок, — потом он протянул ее мне, я догадался, что должен стянуть с нее перчатку. Обнаженную, хрупкую, он положил ее на другую руку, с божьей коровкой, негромко, необычайно деликатно закашлял, с тревожным блеском в глазах прислушиваясь к тому, что хрипело у него в груди, а я не переставал говорить, разворачивая перед ним запутанный хоровод своих мук; его старческой слабости уж наверное не могла быть чужда доброжелательность ко всякой иной слабости или, во всяком случае, глубокое ее понимание: как бережно заботился он о бедном своем дыхании, которое, похоже, то и дело отказывалось ему служить... Его лицо, в печеночных отеках и пятнах, такое маленькое по сравнению с восковыми, растопыренными ушами, которые грубый ум, пожалуй, связал бы с каким-то неуклюжим полетом, — как раз своей изношенностью, страдальческим увяданием вызывало во мне почтение, даже жалость, родственную сыновней,

а у него еще были наросты — особенно выделялся один, на лысине, подернутый седым пухом и напоминавший большое яйцо. Но все это были рубцы и шрамы, полученные в сраженьях с неумолимым временем, которое, однако ж, произвело его в самое высокое из существующих званий.

Чтобы исповедь моя была свободна от всякого подобострастия, я сел сбоку от стола и рассказывал историю своих ошибок, промахов и поражений так искренне, как никому еще не рассказывал. Он поддакивал мне своим равномерным дыханием, его умиротворяющей регулярностью, брал меня под защиту многозначительным опусканием век, хрупкой улыбкой, проступавшей на его полуоткрытых от напряженного внимания губах. Я уже заканчивал, наклонившись вперед, упираясь в стол, но и эту погрешность против устава он, как видно, прощал мне; преисполненный лучших надежд и вместе с тем до глубины души взволнованный собственными словами, завершая длинную заключительную фразу, я спросил его — и в этом вопросе дрожала страстная просьба:

— Вы мне поможете? Что мне делать, господин адмиралъ-ер?

После длительной паузы, которую я дал ему, чтобы в молчании он мог лучше осознать сказанное, я повторил тише и выразительней:

— Что мне делать?

Я умолк, а он все кивал и кивал головой, как будто и дальше ободряя меня. Лица его, наклоненного вбок (неужели он вбирал в себя стыд ответственности за все безобразия Здания, которые ему приходилось покрывать своим именем?), я не видел — только размеренное миганье маленького пенсне, сооруженного из золотой проволоки, необычайно тонкой, чтобы не обременять его столь утомленную и столь полезную еще старость.

Сдерживая дыханье, я придвинулся к нему еще ближе — и испугался. Он спал. Спал все это время, сладко дремал — как видно, отмеренное мною лекарство хорошо на него подействовало — и попыхивал, будто в горле у него ходил маленький клапан. Мое молчание совсем его убаюкало; он тихо свистнул, осекся, словно бы испугавшись, но тут же возобновил посвистыванье и перегуды, и так, осторожно, но решительно попыхивая, все бравурней настраивал сон, все смелей в нем осваивался — среди глухих шорохов чащи слышалось эхо давних охот, звук охотничьих рогов, храп, рык; порой раздавался выстрел, несомый ветром, приглушенный, далекий, и снова все замирало на время, — наконец он

нарушил тишину, чтобы оттрубить свой ловецкий трофей; тем временем я привстал, перегнулся через стол, чтобы смахнуть со старца жучка, божью коровку, севшую на ладонь и отвлекавшую мое внимание, — но это была не коровка...

Тут я и пригляделся к нему поближе: синяки, похожие на ночных мотыльков, шишкообразные наросты, рой бородавок, пухлых и сухих, плоских, — у иных даже были какие-то петушинные гребешки; волосы в ушах и другие, пожестче, в носу — молодцеватая поросль, так не вязавшаяся со старческой деликатностью, такая нахальная...

Я еще прежде заметил, сколь важной опорой служил ему мундир: опрометчиво его расстегнув, он распатал скрепы своей персоны. Вблизи было еще хуже... Недаром он требовал отдаления, дистанции! Там — невинные свисты, сопенье, горловой клапан, а здесь — окраинное разрастание без удержу, без числа, молчком, тишком, попахивающее подрывной какой-то работой. Неужто это было сумасшествие кожи, ее мечтанья о позднем ренессансе? Самородное творчество поверх обызвествляющихся вен? Да нет же! Скорее — мятеж, паника на окраинах организма, попытка уйти, ускользнуть, искусно утаиваемое бегство во все стороны сразу, — иначе отчего же тайно разрастались бородавки, вытягивались наросты и ногти, желая во что бы то ни стало уйти подальше от одряхлевшей материнской почвы? Ради чего? Чтобы на свой страх и риск, врассыпную, избежать неизбежного?

Хорошенькая история! Адмиралъер — и самочинные выходы, рассчитанные на тайное продолжение во времени, на размножение в бородавках, плоских и пошлых!

Я задумался. Старец — это было очевидно — не мог мне помочь. Он и сам нуждался в помощи. Однако, если он не мог указать мне выход, дать знак — быть может, дело обстояло иначе? Уж не был ли он посланием? Уж не *им ли* самим подавали мне знак?

Немало удивленный этой мыслью, я еще раз, теперь уже по-настоящему поднявшись со стула, тщательно осмотрел старца.

И точно — бугорками, жировичками, комочками дикого мяса он выходил за пределы приличия, потаенно и обильно плодоносил, обородавливался, множился, расцветчивался необычными пятнышками, роговел мелкой россыпью, онасекомливался — мясистое тавро под глазом обманно розовело, прикидываясь, будто это светает заря новых сил... Скандал! Стыд!

Дерзкие, самозванческие претензии, авантюрные поиски нового облика, новых, неизвестных доселе форм, терпели крах из-за недостатка фантазии, оборачивались полным бесплодием, постыдной картофелеватостью, шишковатостью: тут — плагиат растительных форм, что-то грибное, там — что-то взято от птицы домашней, — по правде, это следовало бы назвать кражей.

Мало того! Это был уход с постов — дезертирство — измена!!! Дух спирало от этого нерассуждающего напора, маниакального упрямства, карликового урожая, утучненного смертным потом старца! Я созерцал — о позор! — наглое глумление над будущими останками, столь почтенными, столь заслуженными!

Мог ли я еще сомневаться? Это была не аллюзия, не осторожный намек, но краткий и мерзкий ответ на мои объяснения, на попытку выйти сухим из воды — под издевательский аккомпанемент посвистыванья да чмоканья клапана...

Я сел — раздавленный. Что толку теперь выяснять, кто говорил: он — самим собой, или те — им, ведь это было одно и то же. Начальник воплощал в себе Здание, Здание — начальника. Какая виртуозность, какая адская точность, которая даже близость кончины, ее предвестия обращала в букву делопроизводства, литерату права!

Но я уже не в силах был удивляться, к тому же, приходя в себя, стал понимать, что, вопреки первому впечатлению, до окончательной разгадки еще далеко. Да, конечно, мне дали понять, что им известны мои грешки, уловки, самозванческие выходки и даже мысли об измене, но адмиралъер выразил это тем, что закрыл глаза, засыпая, и сигнал, зашифрованный в нем, был скорее отсрочкой, чем окончательным отлучением, — он гласил, что мое время еще не пришло.

Глупец — я думал, что либо разрублю этот гордиев узел, либо удавлюсь им; либо стану чистым как снег, либо приговоренным, как будто моим уделом мог быть только памятник, воздвигнутый перед этим или же перед *тем* Зданием... Ах, если бы в следующую минуту сюда могли ворваться стражники, чтобы схватить меня, засадить, запереть, определить! Но я слишком хорошо знал; никто не придет; заковывание в кандалы — было бы анахронизмом... А они, в свою очередь, знали, что я не останусь рядом со спящим старцем, но, прочитав то, что он собою гласил, поплетусь, как пес с перебитой лапой, в дальнейшее странствие...

Гнев начал меня разбирать. Я встал. Сперва медленно, потом все торопливее расхаживал по великолепному ковру. Адмиралдьер, съездившийся в глубине кресла, столь непохожий на свои бравые изображения, властно взиравшие со всех стен сразу, совсем не мешал мне. Я водил глазами вокруг, по-воровски перескакивая от роскошной мебели к парче, портьерам, портретам, пока наконец не уперся в стол. Я все еще был непонятно кем. Заслуг никаких, да и провинности мизерные, слабая тень какой-то вины, ах, приковать бы к себе внимание, вознестись высоко или рухнуть ужасно, победить поражением, преступлением страшным, невысказанным...

Я медленно подошел к комоду. Он был просто усеян замками. Зев из черного дерева, должно быть, скрывал в себе бумаги самые тайные, величайшей секретности... Я встал на колени перед ящиками, взялся за медную ручку и тихо потянул. Уйма картонных коробочек, стянутых резинками... стопки бумажных листков... «три раза в день по чайной ложке»... Я взял бронированную шкатулку — она загромыхла таблетками. Второй ящик — то же самое. Здесь старец держал лекарства. Не положил ли он перед тем на стол что-то звякнувшее металлом? Ну да! Связка ключей. Я уже примерялся к замкам, елозя по полу на коленях, сунул голову в темноту — уж этого они не предвидели! Они не могли предположить во мне такого коварства, способности подло перетряхивать тайники в двух шагах от усыпленного командующего! «Как же низко я опускаюсь, — проносилося у меня в голове, — глубоко, бесповоротно, расстрельно, теперь уж не выпутаться»; дрожащими пальцами я извлекал из темноты коробочку за коробочкой, пакеты, перевязанные шпагатом, разрывал упаковку, бумага предательски шелестела. Ладно, пускай! — но какое разочарование! Снова бутылочки, флакончики, баночки с целебными мазями, успокаивающие капли, повязки, перевязи, супинаторы, грыжевые бандажи, груды облаток, порошки, от которых щекотало в носу, подушечки, булабочки, вата, жестяная банка, полная пипеток, а загадочное поблескивание в самой глубине оказалось кружкой для клизмы. Как же так — ничего?! Ничего больше?! Не может быть! Камуфляж! Камуфляж!!! Я бросался на очередные ящики, как тигр, вынюхивающий добычу, обстукивал деревянные планки — а! измена! одна поддалась!!! С замирающим сердцем услышал я треск тайной пружины. Там, внутри, в замаскированном ящичке — шапочка желудка, палочка, камушек в крапичку,

засушенный листик и — наконец-то! — запечатанная пачечка. Меня встревожило, что не пачка, а пачечка, но я разорвал бумагу. Посыпались цветные наклейки, вроде тех, что на шоколаде. Что еще? Что там еще? Ничего...

Я стал разглядывать их, сидя на корточках, под размеренное посвистыванье старца. Животные: осел, зебра, буйвол, павиан, гиена и какое-то яичко. Что значит — осел? Что, дескать... осел? Не может быть... Ну, а слон? Неуклюжий, толстокожий. Гиена? Гиена паразитирует, падаль, труп, несостоявшийся труп, пустыня, старцев останки — возможно ли? А павиан? Павиан — обезьяна, обезьяна изображает других, шутовски обезьянничает, ну, конечно! А значит, и этого... и этого они ожидали? И, зная, что я, несмотря ни на что, ворвусь, — подложили. Но яйцо? Что означало яйцо?

Я перевернул наклейку. Ах! Кукушки! Кукушачье яйцо — козни, измена, обман! Так, значит, что? Так что же? Накинуться? Убить? Но как, в присутствии этих бутылочек, палочек, удавить беззащитного старца? И что с бородавками? А впрочем...

— Пи-пи... — вырвалось у него из-под носа, он зафырчал, застонал и поправил дело поистине соловьиной трелью, словно сидела в нем какая-то птица, старческая, крохотная...

Это был конец. Типшком, как попало, я побросал все коробки и бумаги в ящики, отряхнул колени и, шагнув через лужу разлитых пахучих лекарств, уселся на стуле — не для того чтобы обдумать, что делать дальше; просто я был в отчаянье, внезапно лишился сил.

VII

Не знаю, долго ли я так сидел; старец в расстегнутом мундире иногда шевелился во сне, но это не нарушало моего оцепенения. Много раз я вставал и шел к Эрмсу, но только в мечтах — на самом деле я не двинулся с места. А может, подумалось мне, сидеть так и дальше, просто сидеть, в конце концов что-нибудь им придется со мною сделать... но, вспомнив о долгих, кошмарных часах высиживания в приемной, я понял, что они меня не тронут.

В спешке, словно дело не терпело отсрочки, я собрал бумаги и пошел к Эрмсу. Он сидел за столом, делая пометки в документах; левой рукой, не глядя, неуклюже помешивал чай. Он поднял на меня голубые глаза — было в них что-то неугомонное, они весело вспыхнули, между тем как губы еще

кончали чтение; казалось, его радует все без разбора, совсем как молодого пса... пса... пес — неужели поэтому, таким образом? — но он прервал мою мысль, воскликнув:

— Вы?! Только теперь?! Ну, а я-то подумал уже, что вы исчезли! Так пропасть! Куда вы вдруг подевались?!

— Я был у адмиральбера, — буркнул я, садясь напротив него. Я не хотел этим сказать ничего особенного, но он, как видно, понял меня превратно и наклонил голову с оттенком шутивого почтения.

— Нет, посмотрите, — сказал он с удовлетворением, — посмотрите только. Значит, вы не теряли времени. Я должен был этого ожидать.

— Нет, господин майор, нет! — я почти кричал, вставая со стула. — Не надо об этом!

— О чем? — перебил он удивленно, но я не дал ему закончить. Во мне открылись переполнившиеся шлюзы, я говорил быстро, не очень отчетливо, без всяких пауз, — о первых своих шагах в Здании, о главнокомандующем и его проводочках, о подозрениях, которые уже тогда зарождались во мне, хотя я об этом не знал, и которые подобно незримым микробам отравляли последующие мои действия; о том, как я взлелеял это в себе, сделал своим предназначением, и как уже готов был принять кошмарное обличье, столько же раздутое страхом, сколько навязанное обстоятельствами, обличье невинно обвиненного, смертника без страха и упрека, но и в этом мне отказали, предоставив меня самому себе — и только себе! — разумеется, лишь по видимости; и как от одной двери к другой таскался я со всей этой, никому не нужной бессмыслицей...

Я говорил уже так долго, что это должно было к чему-то привести, однако ни к чему не приводило. «Я, мной, меня, мне» — ходил я по кругу, чувствуя, как плоски мои подчеркивания, — чего-то тут не хватало, слишком все это не вязалось между собой; наконец в озарении, которое было дано, пожалуй, раньше языку, чем мыслям, явно не поспевавшим за ним, я вдался в общий разбор дела: если уж я должен на что-то согдится — неважно, на что, ведь я ни на что не надеюсь и не рассчитываю, — то стоит ли до такой степени пренебрегать мною? Что выиграет Здание, если я рассыплюсь, растекусь лужей? Какая ему от этого польза? — никакой! — так зачем же все это, не пора ли и впрямь вручить, то есть вернуть мне инструкцию, ознакомить с Миссией в целом, какова бы она ни была, а я, со своей

стороны, обещаю: буду стараться честно, посильно, выбиваясь из сил, ручаясь...

Увы, эта речь, хаотичная вначале, не стала лучше к концу, и я, задыхающийся, разбитый, неожиданно, на полуслове, умолк — под сконфуженными голубыми глазами Эрмса, который медленно их опустил, помешал чай, поиграл — слишком долго — ложечкой, не зная, что с ней делать, — да он же стыдился, просто стыдился за меня!

— Честное слово, не знаю, — начал он мягко, сердечно, хотя в последовавших за этим словами слышались нотки сдерживаемой суровости, — не знаю, как с вами быть. Так... так себя обвинять... такие, знаете ли, выходки... перетряхиванье лекарств... мне прямо неловко... но ведь это нонсенс! Абсурд!!! Вы вообразили себе Бог весть что! — распалялся он, а сквозь эту запальчивость уже просвечивало его неборимое, добродушное настроение.

Но я, твердо решив, что больше не дам сбить себя с толку, быстро заговорил:

— А инструкция? Почему вы мне ее не разъяснили? Прандтль вообще не желал о ней разговаривать! Впрочем... впрочем, ее у меня украли и...

— Что вы такое рассказываете?!

— Я не говорю, что он сам — там у него офицер такой толстый, — он не мог об этом не знать, я уверен!

— Уверен! Ничего себе! А доказательства?! Доказательства у вас есть?!

— Нет, — признался я, но тут же бросился снова в атаку: — Итак, если вы искренни и желаете мне добра — да! — ответьте мне сразу же, что в ней было, я ни слова не знаю, не имею понятия, что там было... ни единого слова!!

И смотрел на него в упор, чтобы он не мог опустить или отвести глаза, а он смотрел на меня, смотрел, губы у него вздулись, предательски задрожали, и вдруг он громко расхохотался.

— Так вот в чем дело?! Дорогой мой! Инструкция... Но я же ее не помню! Чего уж там... не буду втирать вам очки — я просто не помню, и все тут — вон их у меня сколько, взгляните! — и, словно забавляясь, он стал взметать со стола залежи скрепленных листов бумаги, тряс ими в воздухе, мям в руках, не переставая говорить: — Вы бы сумели все это запомнить? Все-все? Ну, скажите сами... по совести...

— Нет! — сказал я тихо, но твердо. — Я вам не верю! Так

вы утверждаете, что ничего не помните? Ни единого слова? Даже в общих чертах? Ничего? Ну, так... я... вам... не верю!!

Бросив ему это в глаза, я умолк, испуганный, не дыша, ведь это был последний человек, на которого я все еще, сам не знаю почему и как, рассчитывал до конца. Если бы он под моим нажимом признался, что действует по приказу свыше, что я имею дело не с ним, Эрмсом, светловолосым пареньком с добрыми глазами, но с некой частью Здания, — тогда да, тогда мне оставалась только верхняя ванная...

Эрмс довольно долго мочал. Потер лоб рукой, почесал за ухом, вздохнул.

— Вы потеряли инструкцию, — сказал он наконец, — ну, да. Конечно, это кое-что значит. Дисциплинарное дело обеспечено. Хотя и не хотелось бы, придется начать расследование. Но это все ничего, если, — он быстро взглянул на меня, — вы не выходили из Здания. Вы ведь не выходили, а?

— Нет.

— Слава Богу! — он облегченно вздохнул. — Тогда это будет скорее формальность. Мы уладим это потом. Что же до ваших последних слов, то — я их не слышал, вот что я вам скажу. Было бы очень печально, если бы каждый нервный срыв ценного работника задевал... мог бы меня задеть. Это было бы мне плохой аттестацией — значит, я зря занимаю это место! — стукнул он кулаком по столу. — Вы не верите в мое дружелюбие. И в самом деле — чего ради мне вас любить? За что? Мы почти незнакомы, и вообще... — Он развел руками. — Но это не так. Внимательно следите за тем, что я скажу: я не только чиновник, отвратительный бюрократ, зарывшийся в эти бумаги, — он врезал по ним кулаком: они заходили волнами, зашелестели. — Я, и это прежде всего, — конечная станция, я — тот порт, из которого наши лучшие люди выходят — *туда*. Ну, и не мне говорить вам, избранному для Особой Миссии, что их *там* ждет... Итак, хотя я вас, понятно, не знаю, хотя мы не встречались частным образом, все же я знаю, верю, основываясь на этом избрании (ведь Миссию не поручат кому попало), что вы заслуживаете уважения, доверия, доброжелательности, тем более что не по личным причинам вы будете на неизвестное время этого лишены, мало того — подвержены смертельным опасностям... Да я был бы последней канальей, если бы, зная все это, не старался по мере сил помочь вам — не только по части профессиональных, служебных обязанностей, но и в любом отношении, в любом вопросе! Вас возмущает, что я не помню содержания инструкции? Может, и справедливо.

Память у меня (независимо от массы дел, которыми я завален) и впрямь никудышная. Но начальники, надо думать, за это на меня не в обиде — ведь в нашем деле нехорошо помнить слишком много. Допустим, вы отправились с Миссией, а я, совершенно случайно, во сне, по рассеянности, по ошибке, выболтал какую-нибудь подробность, казалось бы, пустяковую, которая, будучи передана по тайным каналам *туда*, приведет к вашей гибели. Гибели, вы понимаете?! Так не лучше ли, чтобы я, вместо того чтобы неустанно следить за собой (что я и так делаю), и в самом деле раз навсегда обо всем забыл?! Ведь, вы уж простите, не каждый в конце концов теряет столь важную, столь первостепенную вещь, как инструкция, и вряд ли можно требовать, чтобы я заранее готовился к этому... Итак, прошу на меня не обижаться. Дисциплинарное расследование мы начнем; это само по себе, а вам надо прежде всего избавиться от необоснованных подозрений...

— Хорошо, — сказал я, — я вас понимаю. Во всяком случае, стараюсь понять. Но что же с инструкцией? Ведь где-то должны быть оригиналы!

— Безусловно! — ответил он, привычным жестом отбрасывая со лба светлые пряди. — Безусловно, они существуют — в сейфе у главнокомандующего. Но чтобы до них добраться, нужно специальное разрешение — вам, надеюсь, понятно. На месте этого уладить нельзя. Долго ждать не придется, — поспешно добавил он, словно желая рассеять мою тревогу.

— А это мне можно оставить — то есть вручить вам? — спросил я, кладя на стол папку, которую вытащил из своих бумаг.

— Что это?

— Я же вам говорил. Папка, которую мне подложили.

— Вы опять за свое! — Он покачал головой. — Кто знает, — пробормотал он себе под нос, — не должен ли я направить вас в Медицинский отдел...

С этими словами он развязал тесемки и бросил взгляд на оба лежавшие сверху, сшитые белой ниткой листа. С минуту он разглядывал их с особым выражением на лице.

— Пфи... пфи... — фыркнул он и поднял на меня светлые глаза. — Вы разрешите мне на минутку выйти? Буквально на четверть минуты...

Я не стал возражать, тем более что он забирал компрометирующий меня документ. Он вышел в соседнюю комнату, даже не закрыв дверь; я слышал, как он двигает

стул, затем наступила тишина, нарушаемая лишь еле слышным поскрипыванием. Я встал и медленно подошел к приоткрытой двери.

Эрмс сидел спиной ко мне, за маленьким письменным столом, на котором горела настольная лампа, и с величайшей сосредоточенностью водил карандашом по чистому листу, срисовывая с моего листа, лежавшего тут же, план Здания. Не веря своим глазам, я переступил через порог. Пол заскрипел. Эрмс обернулся, увидел меня в дверях — и дрожь, пробежавшая по его лицу, разлилась в добродушную улыбку.

— Готово, — сказал он, вставая. — Я не хотел показаться невежливым и делать что-то при вас — вот почему...

Срисованный план он с какой-то показной небрежностью бросил на стол; скользнув по гладкой столешнице, тот застыл на самом ее конце, свешиваясь над полом; Эрмс направился ко мне с оригиналом в руках.

— Но ведь это должно было остаться у вас, — пробормотал я, все еще не зная, как понимать увиденное.

— А что бы я с этой находкой делал? Сдайте ее в Секцию поступлений Журнала входящей и исходящей корреспонденции — все равно вам туда идти, чтобы запротоколировать утерю инструкции. Если бы не требовалось ваше присутствие, я, конечно, все уладил бы сам...

Мы вернулись в кабинет и уселись друг против друга.

— А что же с оригиналом инструкции? Мне теперь ждать окончания дисциплинарного расследования? — заговорил я первым и, не дожидаясь ответа, тем же самым тоном, неожиданно для себя, добавил: — Зачем вы срисовывали план?

— Срисовывал? — Эрмс тряхнул головой, улыбаясь. — Вам почудилось. Я хотел проверить его подлинность, сравнив с настоящим. А то, знаете, кружит масса фальшивок...

«Неправда! Я хорошо видел! Вы срисовывали!» — хотел я крикнуть, но произнес лишь:

— Ах, вот как? И что — подлинный?

— Собственно, я не должен этого говорить, ну да уж ладно... — он с плутовской улыбочкой перегнулся через стол. — Есть подлинные фрагменты, но второе и третье крылья не сходятся... только держите это, пожалуйста, при себе, ладно?

— Ну конечно! — ответил я, собираясь уже уйти, как вдруг вспомнил, что он обещал мне обеденные талоны.

Он начал искать их, быстро похлопывая себя по карманам и отпуская язвительные замечания по собственному адресу.

— Куда же я их, черт побери... Что за голова, что за голова! — повторял он тихо и яростно, выбрасывая из карманов на стол всякие мелочи; я заметил, что и у него был маленький — должно быть, с пляжа — камушек в крапинку...

Я стоял, держась за спинку стула, и смотрел на него. Правду он говорил или нет? Но я же видел своими глазами: он не сравнивал мой план с другим, а срисовывал. В этом я мог поклясться! Что я должен был о нем думать? Почему он копировал тайный план?

Начальник Отдела инструкций, который одновременно работает на... Глупость! Чепуха! Я и так слишком уж часто выходил за границы разумной подозрительности: разве не соприкасалась с душевным расстройством комедия, которую я сыграл перед самим собой у адмиральера, приняв обычный сон старца после трудов праведных, старческие уродства, наконец, шоколадные обертки — за протянутые ко мне лапы всеведущей сверх всякого вероятия мафии? Но ведь он действительно срисовывал план, который, как он сам же сказал, не имел с его Отделом ничего общего, который он был не вправе даже взять у меня... Но тогда почему он не закрыл дверь? Неужели, выдавая себя в мои руки, он был так уверен, что я не пойму, в чем дело, что с моей стороны ему ничего не грозит, что я такой уж наивный глупец? Это было бы рискованно, разве что...

«Разве что он принимает меня за сообщника», — проговорило что-то чужим голосом в моей голове; я даже вздрогнул, испугавшись, что он услышит, — но он с возгласом облегчения наконец отыскал в одном из отделений бумажника вчетверо сложенные обеденные талоны.

— Вот, пожалуйста! — он подал их мне через стол. — Итак, теперь вы пойдете в тысяча сто шестнадцатую — это секция Поступлений, — вручите им бумаги и тут же дадите показания для протокола; а я тут позвоню, предупрежу их, только идите, пожалуйста, не сворачивая, а то снова потеряетесь по дороге, — говорил он с улыбкой, провожая меня до дверей, безучастного, до такой степени ошеломленного мыслями, которые просто разрывали мне череп, что я не успел пробормотать хотя бы слово на прощание. Я уже шел по коридору, когда он высунул голову в дверь и крикнул мне вслед:

— Загляните потом ко мне!

Я шел дальше. Если бы он принимал меня за сообщника... он не боялся бы, что я его выдам. Я не разбирался в

механизмах разведки, но знал, что агенты, действующие на чужой территории, как правило, не знают друг друга; тем самым вероятность массового провала, разоблачения всей сети сводится к минимуму. Имея доступ к моему делу, Эрмс мог — на основании собранного против меня материала — считать меня именно таким агентом, хотя, по изложенным выше соображениям, не спешил сам снимать маску. Только одно не сходилось у меня в этом расчете: будь он и вправду посланцем врага, агентом, внедренным на высокий пост первого инструктажного офицера, он бы предостерег меня, считая своим, независимо действующим соратником, а не вводил в заблуждение, в замешательство...

— Ба! — Я внезапно остановился, так глубоко уйдя в размышления, что едва различал два ряда дверей, белеющих в уходящем вдаль коридоре. Да так ли уж это очевидно? Разве существует какая-либо солидарность агентов, в большинстве своем платных наемников, и разве Эрмс не пожертвовал бы мною без колебаний, даже узнав во мне борца за то же самое дело, если бы это могло обещать ему личный успех или хотя бы шаг вперед в выполнении задания, которому он себя посвятил?

А значит, это было возможно. Что мне оставалось делать? К кому идти? Куда обращаться? Я вдруг почувствовал пустоту в руках: я забыл у Эрмса бумаги и книгу. Ага, неплохой предлог. Я быстро повернул обратно. Приближаясь к его Отделу, постарался принять самый рассеянный и независимый вид, прошел через приемную и без стука открыл дверь.

Напрягай я воображение сто лет, все равно бы не угадал, на чем его поймаю!

Он удобно расселся на отодвинутом назад стуле, болтая ногами в воздухе, и, отбивая такт ложечкой по стакану, — пел! Как видно, он был очень доволен! «Должно быть, этот план ему пригодится!» — промелькнуло у меня в голове. Эрмс оборвал пение на полуслоге и, ничуть не смешавшись, со смехом заговорил:

— Вот вы меня и поймали! Что тут скажешь?! Я бездельничал — факт! Человек старается как может, чтобы бумаги его не слопали! Вы за книжкой — так ведь? Пожалуйста — она лежит там... я просто вам удивляюсь — даже ожидая в приемной... того... самообразование... о, тут еще и бумаги, — встав, он подал мне то и другое.

Я поблагодарил кивком головы и уже направлялся к двери, как вдруг, полуобернувшись, глядя на него через плечо, бросил:

— А скажите-ка мне...

В первый раз я так к нему обратился — до этого я неизменно называл его «господин майор». Он перестал улыбаться.

— Слушаю...

— Весь этот наш разговор — это был шифр, да?

— Но ведь...

— Это был шифр... — повторил я упрямо; думаю, мне даже удалось улыбнуться. — Правда? Все, все — шифр!!

Он стоял за столом, полуоткрыв рот; таким я его и оставил, закрывая за собой дверь.

VIII

Я почти бежал, словно боясь, что он за мной погонится. И зачем мне это было надо? Хотел нагнать на него страху? Напрасный труд — уж кого он наверняка не боялся, так это меня, бессильного, опутанного сетью, которую он и ему подобные спокойно держали в руках. И все же я снова воспрянул духом — почему? Поразмыслив, я решил, что причиной тому был Эрмс, то есть, конечно, не его пустопорожняя болтовня, показное добросердечие и участие, в которые я поверил лишь на минуту, да и то потому, что очень хотел, — но подсмотренная мной через дверь сцена. Ведь если (примерно так я рассуждал) он, на таком посту, работает на *тех*, выходит, можно ввести в забуждение, обмануть и перехитрить Здание в его средоточиях, его чувствительнейших узлах, следовательно, до безошибочности ему далеко, а его всеведение — всего лишь моя фантазия. Это, само по себе мрачное, открытие совершенно неожиданно указывало мне лазейку.

На полупути к Журналу корреспонденции я вдруг передумал. Туда послал меня Эрмс. Они хотели, чтобы я туда пошел, стало быть, следовало поступить иначе, вырваться из проклятого круга действий, заранее мне предначертанных. Но куда же я мог пойти? Никуда — и он знал об этом. Оставалась лишь ванная. В конце концов она была не так уж плоха — там, в тишине и одиночестве, я мог поразмыслить, переварить события, которых столько успело произойти, попробовать их связать, увидеть под другим углом, наконец, просто побриться. Своей колючей щетиной я уже слишком выделялся среди сотрудников Здания, и, возможно, им было положено делать вид, будто они этого не замечают

Я поднялся на лифте, зашел в ванную, где недавно обнаружил бритву, забрал ее и вернулся вниз — к себе, как я мысленно называл это место. Перед самой дверью мне вспомнилось, что Эрмс, когда я, занятый своими мыслями, уходил от него в первый раз, вроде бы что-то сказал о бритве. Неужели он предвидел и эту возможность? Добрую минуту я стоял в коридоре, тупо уставившись в белую дверь. Значит, не входить? Но, в конце концов, от этого решительно ничего не зависело! Впрочем, побрившись, я мог как угодно долго сидеть в этом своем убежище — уж этого-то они наверное не могли мне диктовать!

И я вошел — тихо, хотя и привык уже к пустоте, которая всегда тут царила. Первая комнатка, с боковой дверью в туалет, была освещена какой-то другой лампочкой, как будто бы более мощной, но, может быть, мне это казалось. Я открыл дверь ванной и тут же закрыл ее: там кто-то был. Какой-то человек лежал почти на том же месте, что и я перед тем, у края ванны. Первой была мысль об отступлении, но я отбросил ее. «Они ожидают, что я убегу, — подумал я, — это было бы самым естественным; поэтому я войду и останусь».

Так я и сделал. Подошел к нему на цыпочках, но, хотя я со стуком споткнулся на пороге, он даже не шевельнулся. Он спал как убитый, затылком ко мне, в каком-нибудь метре от моих ног, так что я, даже если бы и видел его раньше, не смог бы узнать. Впрочем, я, похоже, его не знал. Он был в штатском; пиджак брошен на ноги, снятые туфли стояли под ванной. На нем был тонкий свитер поверх рубашки в полоску, слегка запачканной у манжет; обернутый полотенцем кулак он сунул себе под голову, колени поджал к подбородку и приподнимал и опускал плечи в размеренном ритме спокойных вдохов и выдохов.

«Какое мне дело? — подумал я. — Есть и другие ванны, я могу переселиться, куда захочу». Так я твердил себе, чтобы успокоиться; думать о переселении, в сущности, было смешно — что я мог забрать с собой, кроме себя самого?

Я решил побриться, пока он еще спит. В этом действии не было ничего подозрительного или недозволенного. Бритву я положил на подзеркальник. Мне пришлось еще наклониться над спящим, чтобы взять мыло из сетки над ванной; осторожно пустив в умывальнике теплую воду, я глянул в его сторону, проверяя, не разбудил ли его этот шум. Он даже не шелохнулся. Я перевел взгляд на зеркало. Лицо и вправду выглядело жутковато, как у каторжника. Из-за щетины оно

казалось потемневшим и похудевшим; каких-нибудь трех-четыре дней, пожалуй, хватило бы, чтобы оно по самый рот исчезло в густой бороде. Я намазился не без труда — помазка не было, — зато бритва оказалась необычайно острой. Человек на полу мне совсем не мешал: я ушел в размышления — мне всегда хорошо думалось во время бритья — о своей, такой нескладной, судьбе.

Итак, что же со мной случилось? Посещение комендерала Кашенблейда закончилось тем, что мне была поручена Миссия; после осмотра музея арестовали первого инструктажного офицера, потом исчез второй, оставив меня один на один с открытым сейфом; появился шпион, я убежал, наткнулся на старичка в золотых очках, после его смерти — еще одно самоубийство, это был уже третий по счету офицер; затем посещение часовни с телом, я заставляю Орфини назвать номер комнаты Эрмса, потом Прандтль, мухи в чае, пропажа инструкции, отчаяние, случайное (нет, перебил я ход собственных мыслей, не буду заранее ничего предрешать), не случайное, а просто: посещение архива; затем приемная следователя — или кем он там был, — к которому меня не пустили, сцена у адмиральера, которой предшествовало разжалование и раздача пощечин, наконец, длинный разговор с Эрмсом. Кажется, все. От перечисления событий я перешел к людям, которые в них участвовали; чтобы мой анализ не завяз уже в самом начале в трясине интерпретаций, следовало оттолкнуться от чего-то совершенно надежного, неколебимого, такого, в чем нельзя усомниться. В качестве опоры я выбрал смерть — и начал со старичка в золотых очках.

Мне сказали — это сделал капитан-самоубийца, — что старичок отравился, приняв меня за кого-то другого. Я представился ему сотрудником Здания, он же решил, что я посланец *тех*, а на шифрованные пароли не отвечаю условленным отзывом, потому что прибыл, чтобы покарать его за измену. Правда, на самом-то деле он старичком не был. Я слишком хорошо помнил черные волосы, которые выбились у него из-под парика во время агонии. И все же капитан в разговоре со мной постоянно называл его «стариком» — этот «старик» не сходил у него с уст. Может быть, капитан лгал? Вполне вероятно, тем более что он сам вскоре затем застрелился, — разве это неожиданное самоубийство не обесценивало его слова? Возможно, подумал я, с ним приключилась история, в каком-то смысле похожая на отношения между мной и Эрмсом. Капитан покончил с собой,

потому что боялся меня. Одно выявление сравнительно мелкой провинности вряд ли заставило бы его решиться на такой отчаянный шаг — стало быть, и он был агентом *тех*. Старичок (я по-прежнему называл его так, тем более что с этой фальшивой старостью он сошел в гроб) тоже, наверно, был их агентом. Если бы он им не был и решил, что это я их агент, он, как лояльный сотрудник, выдал бы меня властям. Но он отравился. Смерти, свидетелем которой я был в обоих случаях, кажется, следовало верить? Я решил, что стоит. А значит, старичок и офицер были агентами *тех*, но первый — незначительным, мелкой рыбешкой, второй же — хотя бы ввиду своей должности начальника или заместителя начальника Отдела, — очень важным. Поэтому, приняв меня за суперинспектора, посланного Штабом, он не колеблясь пожертвовал честью старичка (которого все равно уже не было в живых) и разоблачил его передо мной, а то обстоятельство, что он знал и молчал о двойной роли покойного, пытался объяснить чрезмерным своим честолюбием и служебным рвением. Увидев, что я не принимаю этого объяснения (на самом деле я просто не понял его, ведь он объяснялся шифром), — он застрелился.

Итак, этот эпизод, включавший две смерти, был понятен, но какова была моя роль в нем, — роль, предназначенная мне, а не самозванно принятая, чтобы вырваться из тисков ситуации? Это оставалось неясным.

«Пойдем дальше, — подумал я, — может быть, анализ дальнейших событий что-нибудь разъяснит».

Тем временем я кончил бриться. Приятно было освежиться холодной водой, смывая со щек засохшую пену. Я даже не слишком обращал внимание на шум, производимый этим плесканьем. Результат, который мне удалось получить, быть может, и незначительный, все же приободрил меня. Не все в Здании непонятно, сказал я себе, кажется, мне удалось сложить часть рассыпанной мозаики. Вытирая лицо жестким полотенцем, я снова заметил лежащего — я почти забыл о нем, занятый своими мыслями. Он спал. Мне ничуть не хотелось отправляться в Журнал корреспонденции; слоняться по коридорам — тоже. Я сел на краю ванны, у другого ее конца, прислонился к кафельной стене, колени подтянул к подбородку и продолжил свои рассуждения.

Эрмс, участливый Эрмс. С ним дело было хуже. Даже если бы я не подозревал его в двойной игре, я все равно бы не доверял ему. При всей своей словоохотливости он и не заикнулся о моей Миссии, даже не пикнул о ней, — все, что

он говорил, было либо комплиментами, которых я не заслужил, либо общими фразами, которые ничего не значили. Вняв моим просьбам, он в конце концов выдал мне инструкцию, а затем ее у меня украли в кабинете Прандтля. Оставим пока в покое инструктажного офицера, подумал я, гораздо важнее загадка самой инструкции. Если Эрмс дал мне ее, зная, что я недолго буду тешиться ее обладанием, то, пожалуй, для того, чтобы я мог в нее заглянуть...

Минутку. Точно ли это была инструкция? Ведь тогда она была бы выдана на мое имя, содержала бы план моих, будто бы столь важных и ответственных действий, суть и характер всей Миссии, так почему же она походила на мой дневник — на какой-то рассказ о судьбе затерянного в Здании человека? Разве так выглядит (а меня уверяли в этом) шифр?

Да, конечно, он может так выглядеть, если верить Прандтлю, который показывал мне, как можно расшифровать даже драмы Шекспира. Но в самом ли деле можно? В подтверждение этого у меня были, собственно, только его слова. Машина-дешифратор... но ведь никакой машины не было, только женская рука, которая через отверстие в стене подавала препарированные заранее ленты.

Я зашел уже слишком далеко, кислота скептицизма разъедала все; я лишился уже всякой опоры. Оставалось, в сущности, только одно: тот выдох Прандтля в дверях, словно он хотел мне что-то сказать, в чем-то признаться и взял это слово назад, прежде чем оно по-настоящему успело слететь с его губ, — выдох и выражение его глаз в ту минуту.

Этим его произвольным движением не следовало пренебрегать — кроме человеческого сочувствия за ним, похоже, таилось что-то еще: посвященность в мою судьбу, в то, что ждет меня в Здании. Прандтль был единственным человеком из всех мною встреченных, который почти вышел за черту анонимного приказа, впрочем сославшись перед тем на его бремя.

Что же дальше? Так ли важна была осведомленность Прандтля о роли, мне предназначенной? И без его выдоха я знал, что мне приказано было явиться в Здание, что меня впустили, отличили, поручив мне Миссию, — и все это с какой-то целью. «Тоже мне открытие!» — подумал я с нетерпением, даже немного устыдившись такого псевдоошеломительного итога напряженных раздумий.

Их прервало движение спящего — постанывая, он перевернулся на другой бок, закрыл почти все лицо полой пиджака и замер, мерно дыша.

Я смотрел на его наморщенный во сне лоб, на уголок кожи между темными, тронутыми сединой волосами на виске и, постепенно переставая видеть все это, вернулся к объяснению, которое уже давно пришло мне на ум. Насколько давно, я не мог сказать. Не было ли все это — по-прежнему — испытанием, разраставшимся все дальше и шире?

В этом свете понятными, даже необходимыми становились факты, вообще-то, загадочные — то, что вручение мне инструкции, ознакомление с Миссией все время затягивалось; с этим не торопились, желая сперва всесторонне исследовать, как я поведу себя в ситуациях неожиданных и неясных. Это было исследование индивидуальной сопротивляемости (где я уже слышал этот термин?) и в то же время нечто вроде учений на местности, закалки, тренинга перед собственно Миссией. Понятно, им приходилось делать все, чтобы укрыть от меня характер эксперимента, — это было основное условие, иначе я действовал бы в искусственных, неопасных ситуациях, и испытание не достигло бы цели.

А ведь я догадался, что это фикция! Неужели моя проницательность превосходит обычную? Я даже вздрогнул, притулившись на краю ванны, подтянув колени повыше, — мне показалось, что я открыл во всех этих происшествиях нечто общее и чрезвычайно важное.

Меньше чем за день, чуть ли не в самом начале своего пребывания в Здании, я наткнулся сразу на нескольких агентов врага. Итак: поручик, арестованный в коридоре, когда он провожал меня из Отдела коллекций; мой первый инструктажный офицер; бледный шпион с фотоаппаратом; дальше: старичок в золотых очках и капитан-самоубийца, не говоря уже о весьма подозрительном Эрмсе, — итого пять агентов, разоблаченных или наполовину разоблаченных за столь короткое время. Это было, мало сказать — неправдоподобно, но просто-таки невозможно! Не могло же Здание дойти до такого разложения, такой засоренности вражескими агентами! Уже одно такое открытие заставляло задуматься, а четыре или пять — превосходили всякое вероятие. Вот где надо было искать разгадку. Итак, испытание. Видимость. Это объяснение ненадолго удовлетворило меня. Рой вражеских агентов, открытые сейфы, полные тайных документов, шпики, о которых я спотыкался на каждом шагу, — да, все это могло быть театром; но смерти? Неужто и они были по чьему-то приказу? Слишком хорошо я помнил последние движения агонизирующих, их судороги, их остывание, чтобы сомневаться в достоверности этих смертей. Этого нельзя было

ни приказать, ни срежиссировать, чтобы меня одурачить, и не потому, что Зданию не чуждо было милосердие — ничего подобного! — решиться на серию столь отчаянную не позволял как раз холодный расчет: стоило ли убивать высокопоставленных, ценных сотрудников на глазах сотрудника всего лишь потенциального? Ведь не имела, не могла иметь смысла вербовка новичка, купленная такой ценой!

А значит — гипотеза расставленных декораций рушилась перед лицом всех этих смертей. Рушилась?.. Сколько раз уже, двигаясь обморочным зигзагом, как пылинка в потоке воздуха, как былинка в ручье, не зная, что сделаю в следующую минуту, то отдаваясь на волю событий, то восставая против них, я убеждался задним числом, что так или иначе всегда попадаю в заранее отведенное мне место, как бильярдный шар в лузу, как точка приложения математически рассчитанных сил, — каждое мое движение было заранее предусмотрено, вместе с моими мыслями вот в эту минуту, вместе с этим внезапным ощущением пустоты, этим головокружением; отовсюду наблюдало за мной огромное незримое око; то все двери ждали меня, то закрывались, умолкали телефоны, никто не отвечал на мои вопросы, все Здание за долю секунды оборачивалось нацеленным в меня сговором, а когда я готов уже был взорваться, обезуметь, меня успокаивали, окружали сочувствием, чтобы внезапно, какой-нибудь сценой, намеком каким-нибудь дать мне понять, что даже мысли мои известны. Неужели Эрмс, посылая меня в Журнал корреспонденции, не знал, что я попытаюсь поступить наперекор, что пойду в ванную, — и потому-то я встретил здесь этого человека, и теперь просто коротаю время, ожидая, пока он проснется?

Так оно и было — и в то же время, при всем своем всеведении, Здание было сплошь источено, выедено изнутри теми, и не было никаких пределов этому убийственному проникновению. Или этот знак измены привиделся мне? Прирезился?

Я предпринял еще одну попытку — проследить за самим собой. Вначале — хотя полной уверенности у меня никогда не было — я видел в себе избранника; на встреченные мною препятствия смотрел как на организационные недочеты — скорее с удивлением и нетерпением, чем с тревогой, принимал их за неизбежный изъян любой бюрократии. Поскольку инструкция все время от меня ускользала, я начал действовать все смелее и — видя, что это сходит мне с рук, — все беззастенчивее, в убеждении, что честность тут неуместна; то я выдавал себя за человека, наделенного

высшими полномочиями, то, чтобы получить нужные сведения, пускал в ход, точно украденное оружие, цифры, услышанные от капитана-самоубийцы и чреватые чем-то страшным; эта ложь, разраставшаяся по мере того как мои блуждания превращались в гонку, в петляние, наконец, в бегство, давалась мне все легче и все бездумнее.

Все обманывало, улетучивалось, меняло значение, а я, делая вид, будто ничего этого не замечаю, по-прежнему пытался заполучить видимый знак, подтверждение своей Миссии, хотя уже начинал догадываться, что мнимое мое возвышение есть унижение, что я втянут в какое-то жульничество, в прятание под столом, в присутствие при внезапных и страшных смертях, которые потом уже неотвязно потянулись за мной, заманили меня в ловушку, заставили давать неправдоподобно звучащие объяснения!

Обманутый, обкраденный, лишившись инструкции и даже надежды на то, что она существует, я пробовал объясниться, оправдаться, а так как никто не хотел меня выслушать — хотя бы для того, чтобы разубедить, — бремя моих несовершенных провинностей становилось все тяжелее, пока мною не овладело безумное желание принять эту судьбу смертника без страха и упрека, облечь ее в плоть и кровь, поскорее привести себя самого к гибели, — и я продолжал искать судей, уже не затем, чтобы очиститься, но чтобы признаться во всем, чего они потребуют. И снова фиаско; тогда, у адмиральера, я начал фабриковать из себя изменника, лепить его таким, каким он мне представлялся, фабриковать отягчающие обстоятельства, роясь в ящиках, — и еще раз нанес удар в пустоту!

Неужели, вставая перевернутым памятником собственной гибели в глубь обманутых ожиданий, в кошмарный страх, или же вдруг перескакивая к минутной доверчивости, к мгновенной вере в свою Особую Миссию, в свою инструкцию, я хотел отыскать хоть какой-нибудь, пусть даже предательский смысл своего присутствия здесь? Но нет, меня не возвысили — даже для того, чтоб унизить; милости ничему не служили, так же, как знаменья измены: снова и снова оказывалось, что от меня, похоже, не ожидают вообще ничего. Но с этим-то я и не мог примириться.

И вот я начал сначала, еще раз: может быть, то, что я сию минуту назвал актерством, театром, экспериментом, — вовсе не испытание, но сама предназначенная мне Миссия?

Эта мысль на мгновение показалась мне спасительным

выходом — и, не смея еще нарушить ее анализом, какую-то минуту я сидел с закрытыми глазами и колотящимся сердцем.

Миссия? Но тогда зачем скрывать ее от меня? Почему мне не сказали, что от меня требуется работа в самом Здании, известного рода контроль, почему меня не снабдили необходимыми сведениями, а послали неизвестно куда, наугад, молчаливо требуя, чтобы я делал то, чего не знаю, — а если я что-то и сделал, то лишь помимо и даже против собственной воли?

Так это выглядит на первый взгляд, сказал я себе, однако Здание отчасти уже посвятило меня в механизм своей деятельности, неясный, но все же не лишенный отчетливых черт; недаром тут были Отделы, Секции, Архивы, Штабы со своими уставами, званиями, телефонами, сцементированные железным послушанием в монолитную, иерархическую конструкцию. Она была жесткой, упорядоченной и вечно настороже, как белые коридоры с регулярными рядами дверей, как приемные, заставленные аккуратными картотеками, вместе с потрохами своих линий связи, бронированными сердцами сейфов, трубопроводами пневматической почты, обеспечивавшей безустанную циркуляцию секретности; ничто не было тут забыто — даже канализационная сеть находилась под неусыпным надзором, — но этот изумительно точный механизм вблизи оказывался муравейником интриг, похищений, подвохов, обманов. Чем же была вся эта сумятица? Видимостью? Маской, скрывающей от непосвященного истину какого-то иного, более высокого порядка?

Быть может, именно такого, запутанного — на поверхностный взгляд — поведения от меня и ожидали? Быть может, оно-то и было оружием, которое Здание нацелило в своих недругов? В самом деле: хоть я и сам не понимал, как это получилось, хотя каждый раз это можно было принять за случайность, но ведь я принес немалую пользу! Как-никак я пресек подрывную работу старичка и капитана, а в других случаях, возможно, сыграл роль катализатора, ускорителя кульминации или противовеса каким-то неизвестным мне напряжениям, — тут моя мысль снова сбилась с пути, пытаясь найти объяснение двучию едва ли не всех, кого я тут встретил. Похоже было, что двойная игра составляет здесь высший, для всех обязательный канон, — только двоих не коснулась пока что моя подозрительность: шпиона у сейфа и Прандтля.

Больше всего я был уверен в шпионе. Когда верить нельзя было даже смерти — разве поведение трупа под флагом не отдавало очевидной двучиностью? — он один у меня

остался, только он. Он не занимался изменой, не прикидывался, не обманывал, но, прокрававшись добросовестно к сейфу, бледный и испуганный, фотографировал планы, а чего еще следовало ожидать от честного шпиона?

С Прандтлем дело выглядело несколько хуже. В сущности, моя вера в него основывалась на том его выдохе. Эрмс пообещал, что у него я пройду инструктаж, связанный с Миссией. Беседа с Прандтлем оказалась, разумеется, чем-то совершенно иным — хотя теперь я не был так уж в этом уверен. Он сказал мне много неясного, заметив, что я пойму это позже. Уж не теперь ли?

Может быть, Прандтль вовсе не знал, что со мною случится, и даже не интересовался этим, а сочувствие, которое он ко мне проявил, вызывалось не его осведомленностью о будущих событиях, но тем, что уже случилось, а случилось то, что он показал мне не только бесконечность, скрытую в шифрах, но и конечный смысл одного из них — на маленьком клочке бумаги. Всего лишь три слова.

Они отвечали на вопрос, который я задал лишь мысленно, единственным сотоварищем имея толстяка-офицера, задачей которого было обмануть меня и обокрасть.

Если все, что происходило в Здании, имело, кроме поверхностного и мнимого, более глубокий, более важный смысл, то Прандтль, конечно, недаром поступил именно так.

Я спросил: «Чего от меня хотят? Что мне предназначено?»

И Прандтль дал мне бумажку с одной только фразой: «Не будет ответа». Отсутствие ответа на этот вопрос, который относился, в сущности, к Зданию, превращало обещания главнокомандующего, случай с сейфом, шантажирование отца Орфини, пальбу в коридоре, внезапные смерти, миссии, инструкции, наконец, сами шифры — в случайное месиво абсурда и ужасов, все рассыпалось, не складываясь во что-либо целое, и само Здание, в свете этой фразы, начинало походить на пустоту, населенную сидящими в своих одиночках безумцами, а его всемогущество и всеведение оказывались всего лишь моей галлюцинацией.

Но если события шли россыпью, наобум, как попало, если они не составляли никакого целого и никак не соотносились с другими, то они ничего не значили, а в таком случае была лишена значения и моя встреча с Прандтлем, его лекция, а вместе с ней — и эти ужасные три слова...

Тогда эти слова переставали быть обобщением и снова относились лишь к шифру, взятому для примера. А если они ничего, кроме самих себя, не значили, если (раз уж никакого

всеведения не существовало) они не были ответом на мой молчаливый вопрос, то они не опровергали тайну Здания. И многозначность событий возвращалась опять, чтобы снова направить мои мысли по ложному кругу замкнутых накоротко, пожирающих самих себя умозаключений.

Я взглянул на спящего. Он дышал размеренно и так тихо, что, если бы не регулярные движения приподнятых плеч, его можно было бы принять за мертвого. «Похоже, я засыпаю», — сказал я себе, чтобы оправдать очередную неудачу своих рассуждений, однако ко сну меня ничуть не клонило.

Попробуем, решил я, в качестве опыта, на минутку, принять слова шифра за чистую монету, вопреки обнаруженному мною логическому противоречию. Посмотрим, что из этого выйдет, ведь это мне ничем не грозит, а время убить как-то нужно. Итак, рассмотрим целесообразность хаоса, который выводят на сцену эти слова, — хаоса, который искусными приемами держат в узде, прирученного хаоса. Мог ли он быть полезен?

Итак: когда мне пообещали Особую Миссию, я ощутил себя избранным; потом с не меньшим усердием готовился стать корифеем виселицы, отличником скамьи подсудимых, во всем богатстве этой судьбы, с орнаментом из показаний, рыданий, просьб о помиловании; я натянул на себя шкуру невинного мученика, метался в поисках следователя, прокурора, видя себя то очищенным от подозрений, то погибшим; то рылся в ящиках, чтобы добыть улики против себя же, то с маниакальным упорством сутяжника, взыскующего справедливости, просиживал в приемных — и все это делал увлеченно, старательно, красочно, полагая, что этого от меня ожидают. Но Здание, предназначение которого в том, чтобы выявлять глубинную суть вещей — очищая ее от видимости, от все новых и новых личин, от ореховой скорлупы, — конечно, должно было действовать именно диссонансами. Вот почему оно разрушало гармонию моей гибели или геройства, оглуляло меня, ошарашивало, чтобы я ничего не успел прочитать в граде сыплющихся на меня милостей и ударов; зашвырнув меня в столь всеобъемлющий, всепожирающий хаос, оно спокойно ожидало того, что вынырнет из очистительного котла.

Вот потому-то, не давая мне ни инструкции, ни обвинительного заключения, отказывая мне и в отличиях, и в гибели, всей своей царственной грандиозностью, голгофами коридоров и полчищами канцелярских столов вручая мне *ничто*, — хотело Здание достичь своей цели...

О, хаос мог быть полезен, и даже очень...

А старичок в золотых очках — разве не говорил он мне о невиданном, бесконечном множестве тайных планов, стратегических замыслов?

Отсюда оставался только один логический шаг, чтобы признать, что неупорядоченность событий в Здании не есть нечто нежелательное, напротив, это нормальное его состояние, больше того: результат предусмотрительности и неутомимых стараний, — синтетический хаос, рука об руку с бесконечностью, защищал, словно панцирь, Тайну.

Это возможно... подумал я с некоторым утомлением, поудобнее устраиваясь на краю ванны, необычайно твердой. Но ведь и те, другие мои гипотезы объясняли многие факты. Вот это и удивительно: любая достаточно сложная идея может быть навязана Зданию в качестве его организующего начала... есть в этом что-то тревожное...

Спящий перевернулся навзничь, открыв лицо. Я увидел подрагивающие веки. Он следил за чем-то во сне, может быть, читал там: глазные яблоки сновали то влево, то вправо. На лбу блестел пот, щеки заросли темной щетиной, а так как он лежал теменем ко мне, на его лице я не мог разглядеть ничего, кроме болезненной бледности. Он словно бы судорожно улыбался, но то, что на лице, видимом вверх ногами, кажется нам улыбкой, бывает страдальческим выражением.

Я жду, когда он проснется и заговорит, подумал я, а где-то там, в какой-нибудь комнате, усталая секретарша, помешав чай, кладет обратно на полку папку с инструкцией, в которой написано, что он мне скажет, открыв глаза, и что я ему — до самого конца...

Мне сделалось как-то зябко — то ли от неприятной этой мысли, то ли холодом веяло от ванны, — поэтому я еще больше поджал ноги и застегнул пиджак на верхнюю пуговицу.

Собственно, чего тут бояться, бесплодно рассуждал я, инструкцию мне все равно не покажут, хотя бы потому, что тогда я мог бы поступить вопреки ей, а если я ее не знаю, то и не ведаю, что меня ждет, и будущее для меня закрыто — словно и нет его в документах...

IX

Спящий начал похрапывать, не со звукоподражательной виртуозностью адмиральдера, а монотонно. Минуту спустя он

уже хрипел с настойчивостью, достойной лучшего применения, словно твердо решил изображать умирающего. Предсмертные эти звуки выводили меня из равновесия, я не мог свободно предаваться размышлениям — уж не хотел ли он тем самым привлечь мое внимание? Я страшно устал. Пошевелился. Все кости болели. Я решил — не знаю, в который раз, — что теперь действительно пойду отсюда, хотя бы к отшельнику; останавливала меня только мысль о давке, царящей в пустыни. Я потянулся, опустил ноги на кафель и подошел к умывальнику. Пряча бритву в карман, увидел в зеркале того человека — не целиком, только от пояса и выше, и это было так, точно я вдруг увидел себя самого, сморенного мертвым сном после утомительного странствия.

Неужели это не было согласовано? Неужели это был мой товарищ, затерянный в Здании, гнавшийся за миражом, которым его поманили?

Он стал просыпаться. Я догадался об этом по тому, что он затих. Не открывая глаз, суетливо, с трудом, он шевелился где-то внутри самого себя, словно бы прятал, с усилием запикивал куда-то фальшивую агонию, которой пугал только что. Вдруг он сверкнул глазами, охватил меня взглядом — он видел меня перевернутым, — опустил веки и с минуту лежал так, сосредотачиваясь, а затем медленно, клонясь в бок, приподнялся на локте.

Прежде чем он заговорил, его разбуженное лицо что-то задело во мне. Где-то я его уже видел. С закрытыми глазами он пробормотал:

— Шпинцель...

— Простите? — переспросил я невольно.

При звуке моего голоса он сел. Он страшно зарос. Моргая, смотрел на меня. Выражение его глаз постепенно менялось — они соскользнули по моей фигуре на пол; он кашлянул и, растирая запястья, сказал:

— Кольраби чертова... не сварят, паскуды, как следует, а после снится тут всякое...

Он устремил взгляд к умывальнику, который я загораживал; изогнулся в сторону, глаза у него на мгновенье расширились.

— Где бритва? — спросил он.

— Тут, — я показал на карман.

— Положи.

— Это почему же? — Во мне нарастала неприязнь к этому человеку. Он нахально мне тыкал, к тому же я его откуда-то

знал — и это не было приятное воспоминание. — Я принес ее сверху, — заметил я, чтобы обозначить свои права.

Я с вызывающим видом ждал, что он ответит, но он приподнялся, встал спиной ко мне, потянулся всеми своими косточками и начал сладострастно, с изощренной медлительностью почесывать спину. Потом взял щетку с полочки над ванной и принялся чистить брюки.

— Ну, пошел! — буркнул он, не глядя на меня.

— Что? — спросил я.

— Не морочь мне голову, выкладывай — или мотай.

— Выкладывать — что?

Похоже, звук моего голоса заставил его задуматься: он перестал выскребывать очески из-за отворотов брюк и взглянул на меня исподлобья.

— Давай, — сказал он, подходя ко мне и подставляя ладонь. — Ну? Чего уставился? Давай, не бойся.

— Да я вовсе вас не боюсь, — ответил я, кладя ему на ладонь бритву.

Он подбросил ее и задумчиво присмотрелся ко мне.

— Меня? — сказал он. — Я думаю...

Он повесил пиджак на дверную ручку, обвязался полотенцем и начал намыливать лицо. Я еще постоял у него за спиной, потом отошел от него, наконец уселся на краю ванны. Он не проронил ни звука, как будто был совершенно один. Его спина была мне знакома вроде бы лучше, чем лицо, может быть, потому, что лицо покрывала щетина. Я наклонился — и тут заметил тонкую ременную петлю, высунувшуюся из-под ванны. Я соскочил на пол. Ну конечно — тот самый шпион с фотоаппаратом! Я с трудом расслабил мышцы, снова сел и принялся ждать, когда он заговорит. «Подосланный, — думал я. — Его подослали, чтобы... чтобы что? Посмотрим: сейчас он за меня возьмется». Молчание затягивалось. Оно становилось мучительным. Мне захотелось открыть кран, мне нужен был шум воды, наполняющей ванну, но этим, пожалуй, я выдал бы свою слабость. Я касался пола лишь пальцами ног, и, как нередко бывает в такой неудобной позиции, левая нога у меня стала дрожать, все быстрее и быстрее, пока не нашла наиболее подходящий ритм.

— Вы... давно? — спросил я словно бы нехотя, глядя ему в спину.

В зеркале виднелись намыленные щеки. Глаз я не видел. Стнетит, когда дойдет до уха, прикинул я. Однако от уха он перешел к подбородку — как будто ничего не услышал.

— Вы давно тут? — спросил я еще раз.

— Дальше, — сказал он, не переставая скрести под подбородком.

— Что «дальше»? — переспросил я растерянно.

Он не соизволил ответить. Наклонившись над умывальником, кое-как обмывал лицо. Брызги долетали и до меня.

— Осторожнее, брызгаетесь, — сказал я.

— Не нравится, а? Так можешь сматываться.

— Я тут был первый.

Он глянул одним глазом между складками полотенца.

— О? — сказал он. — В самом деле?

— Да.

Он швырнул полотенце на пол и, направляясь к своему пиджаку, на ходу бросил:

— Обед был?

— Не знаю.

— Рыбный день, — буркнул он как бы про себя, приводя в порядок одежду. Между отряхиваньем рукава и подтягиваньем брюк добавил: — Хотя бы картошечки жареной. Опять небось каша. Все каша да каша. Чего-нибудь жареного, ядри их, на зуб... — Он бегло глянул в мою сторону. — Ты это впервой, или как? А то я пошел.

— Что — впервой?

— Кончай прикидываться. Старо.

— Это не я прикидываюсь, а вы.

— Я? — удивился он. — Кем же?

— Вы знаете, кем.

— Так мы можем до морковкина заговенья, — бросил он с неудовольствием. Присмотрелся ко мне.

Никаких сомнений не оставалось. Последний раз я видел его, когда он фотографировал тайные документы.

— Секретник? — медленно произнес он. — Почему? Очередь за мундирником — разве нет?

— Какой еще секретник?

Он подошел ко мне. Глянул на мою ногу. Она его заинтересовала.

— Стучалка, — решил он наконец.

— Что? Кто?

— Ты.

— Я? Скажете вы что-нибудь по-человечески или нет? Никакой я не секретник — и не стучалка.

— Нет? Тогда откуда? Из засыла?

— Вовсе не из засыла!

— Это как же? Ниоткуда? Так чего тебе надо?

— Ничего. Это вам чего-то надо.

— Чего?

Он дважды прошелся по ванной, от стены до стены, держа руки в карманах; у самой двери глянул на меня искоса, наконец остановился и сказал:

— Ну, ладно. Допустим, ошибка... А ты, случаем, не шифроломщик?

— Нет.

— Сороковуха?

— Не понимаю, о чем вы.

Он протяжно свистнул.

— Ладно. Не верю, но пусть уж. Мне-то что? Не диковина лезть в дерьмовину. Значит, говоришь, миссионщик?

Я не знал, что отвечать.

— Я вас не очень-то понимаю, — начал я. — Если речь идет о моей Миссии, то...

— Та-ак, — протянул он. — Инструкцию получил?

— Получил, но...

— Тю-тю?

— Да. Вы, может быть, знаете, что...

— Погоди.

Он наклонился рядом со мной, вытащил из-под ванны аппарат в футляре и, осторожно усаживаясь на биде, достал из футляра пачку печенья.

— Обед накрылся, — объяснил он с набитым ртом. Несколько крошек посыпались ему на грудь. — Я сегодня добрый, сам видишь. Стало быть, хочешь знать, что творится?

— Хочу.

— Святой отец был?

— Был.

— А лилейная белизна?

— Простите?

— Ага, еще нет? Ладно. Похоже, восьмидесятчик.

Он примерял какую-то мысль к моей безудержно трясущейся ноге, вглядываясь в нее внимательно и не переставая жевать. Кончиком языка он останавливал бегство крупных крошек с губ.

— После старика, значит, — заключил наконец он. — А? И жирного подсунули, так ведь? Вздутый пухляк! Ладно, молчи, и так видно. А изжога — это от старикана.

Он стукнул пальцем по футляру аппарата.

— Есть хочешь? А?

— Спасибо.

Он даже не слышал. Устраивался поудобнее на сиденье

выверенными, крохотными движениями, стараясь не задеть крестцом торчащие сзади краны, — так умело, словно полжизни просидел на биде.

— Пшиво, — сказал он как-то грустно. — Что, насмотрелся? Кожа роговееет, бородавчики-красавчики, перхоть разбушевалась, мотыльково, хрючно, мутяга-тошняга, а ты как авгур этакий над кишкой! Кустарничком в ухе, паскуда, к тебе обращается, а ты то так, то эдак, складываешь, раскладываешь и ничего не сечешь... Подозреваешь еще испытание или уже бардак?

— Простите, но...

— Испытание, — окончательно решил он. — Комбинируешь, брат, и этим живешь! Чайком живешь! Чайком сыт не будешь! Нога так иногда заведется, если уже ни в какую, и не желает, паскуда, переставать... Булавочками во сне кололи?

— Нет. Почему вы...

— Не мешай. Мухи в чае были? Искусственные...

— Были!

Я не понимал, куда он клонит, — и все же улавливал в этом какой-то смысл, очень близко меня касающийся.

— Этот кустарник... — проговорил я, — вы... об адмиральере?

— Нет, о маковом пироге. Старик нас обоих переживет, спорим? Помню, сам такой был, когда полотенцами тут еще и не пахло, а уж пока за бритвой набегаешься... Гуща кофейная... Канцеляризовали тогда без гигиены этой, на гущу брали, на пушку, все втихаря, шито-крыто, в Подвальный отдел посылали, трах-бах, допросельник, сапогом в морду, откаблуют, и будь здоров... А теперь разве что постреляют... Стреляли?

— В коридоре? Да! Что это значит?

— Триплет. Засып тройника. Ну, шпинцели позаменялись, а один хватил через край. Переусердствовал. Вот это и значит.

«Да это матерый шпион! — думал я быстро. — Один жаргон чего стоит... Но чего он от меня хочет? Отказался от обеда, чтобы поговорить, ишь какой участливый... Ого! надо держать ухо востро...»

— Надо ухо востро держать, так? — отозвался он и прыснул при виде моей физиономии. — Ну, чего пялишься? Я-то тертый калач, видал виды... зубы на этом деле съел... инструкция — закачаешься... ты думал, твоя? Как же! Всё на потоке, миляга... Мушки в чае и прочее разное... Из всего этого только чай остался, как раньше...

Он насупился и откуда-то из глубин скуки, которая выползла на его лицо, сразу состарив его, из своей обособленности и усталости вытаращился на сияющие девственной белизной двери.

— Простите... — заговорил я, — почему вы ничего не можете сказать просто, по-людски?

— А как я говорю? — удивился он.

— Что все это значит? И что вы... зачем вы мне тут...

— Ну-ну, спокойно. Только зря ты мозгуешь насчет себя: может, я пятнышко, которое вывести надо? А может, внедренец? Втычка? Затычка? Спичка? Болячка? Фигель-мигель?.. Эх, не стоит. Так и так крышка.

— Какая крышка?

— Всею крышка. Коленом под зад — и шабаш. Вроде бы все по-старому: розы лепесток лижешь, а сердце бьется: засып или нет?! И вот уже будто запустили тебе под кожу ежа, и уж резвится он там, шебуршится — весь дрожишь, весь психуешь... По привычке, понятно, ведь что осталось? Фигуранты.

— Что вы хотите этим сказать? Какие еще фигуранты? Еж под кожей? Что, дескать, нога у меня трясется? Вы об этом? Ну, и что? И... что вы тут, собственно, делаете?

— Знал бы ты, что я делаю... Ну-ка, взгляни... — Наклонившись ко мне, он ткнул пальцем себе в лицо. — Ничего себе вид, а? Загубили меня ни за грош, и хоть бы знать, кто, — а тут одни только чесанки-обезьянки, мандрильоны шпинцелей, орава да кодло, лапша на уши, и конец...

— А зачем вам аппарат? — вдруг спросил я. Мне было уже все равно.

— Аппарат? Что, не знаешь?

— Вы делали снимки...

— Ясно.

— В сейфе... — понизил я голос, со слабой надеждой, что он не признается, но он флегматично кивнул.

— Ясно. Без разницы. Так, чтобы не опуститься вконец, — мозголи хрычевеют, задник отказывает, ну, и щелкнешь что-нибудь, где-нибудь, временами...

— Что вы мне тут говорите?! — Я уже впадал в ярость. — Вы фотографировали тайные документы! Я видел! Можете не опасаться — я вовсе не намерен вас выдавать. Мне это все равно, я не пойму только, почему вы сидите здесь?

— А что, нельзя? Отчего же?

— Да ведь вас могут разоблачить, почему вы не убегаете?!

— Куда? — спросил он с такой безмерной скукой, что я задрожал.

— Ну... ну, туда...

Я выдал себя с головой. Это уж точно. Сердце стучало как молот, я ждал, что скука спадет с его лица, словно маска. Я подговаривал его к бегству — наверно, я сошел с ума, ведь это провокатор...

— Туда? — буркнул он. — Что значит «туда»? Один черт — здесь или там. Щелкнул, так, для порядка, чтобы навыка не терять, да только все попусту...

— Как это попусту?! Да скажите же наконец ясно!!

— Ясно или неясно — один черт. Ты еще не в том месте, не на той стадии, чтобы понять, а если бы что и понял пятое через десятое, все одно не поверишь. Думаешь, вот, мол, провокатор, подосланец, кат на мою душу, лихоманщик, хитрюга, нарочно такой из себя скучный, доходяшный, задохлик, обнажается весь, невзгоды свои расписывает, мытарства шпионские, а все это иначе читается, метит совсем не туда — так ведь? Что, неправду я говорю? Ну, видишь... И дальше себе мозгуешь: говорит, мол, что провокатор, чтобы я думал, что, говоря «провокатор», говорит правду, чтобы я это принял за искренность, мол, от чистого сердца. «От чистого сердца», понятно, тоже что-то другое значит, а когда ты слышишь наконец, как я говорю, что я говорю «провокатор», чтобы ты думал, что правда, ну, тогда мы приехали: дьявол — не гость, правильно? И уже ни на грош мне не веришь. А?

Я молчал.

— погоди, сам увидишь — ничто тебя не минует. Хочешь знать, что, с чем и как?

Он выдержал паузу.

— Хочу! — сказал я, хотя не верил ни одному его слову.

Он усмехнулся горько, скривив уголки рта.

— Не веришь — но все равно! Прикидываешь... Слушай. Перевербовались, хлеба ради, сперва только раз. До последнего стула и толчка. И что же — идти на попятный, если по-прежнему платят, так, что ли? Хоть бы сдохли, не могли уже перестать. И пошли у них атасы да выкрутасы, перевербонция, перевнедренция! И вот уже дуплет — ничего, триплет — ничего, квадруплет — мое почтение, теперь квинтуплеты кое-где попадают. И долго так? А черт его знает! Паскудство! Паскудство! Я, старый, честный шпион, ветеран, говорю тебе это!

Он яростно и отчаянно бил себя в грудь — та прямо гудела.

— Погодите, — сказал я, — не понимаю. Так вы хотите сказать...

— Я ничего не хочу сказать, и оставь ты меня в покое! Чего язык понапрасну обтрепывать? Ты все равно — иголка от патефона, а пластинка — заигранная; теперь ты будешь разглядывать мои слова наизнанку, против шерсти, каждое слово вверх ногами, в ширинку ему заглядывать и в карманы, добавишь сюда мой храп, мыло, бритву, будешь намеки повсюду отыскивать, задние мысли, так, что ли? Делай что хочешь, только бритву не трожь! У тебя есть еще время. Слишком это было бы хорошо, чтобы так вдруг сразу за бритву. Я, как увидел тебя, решил, что тебя подослали, чтобы у меня ее отобрать.

— Да ведь я ее сверху принес... это ваша бритва?

— У тебя есть еще время, говорю. Прежде всего надо силы иметь. Питание регулярное, буфет, печенье, иной раз даже компот бывает, с ренклодами. Компот. Ну, что так уставился? Думаешь, я говорю «компот», а это значит заседание Штаба по делу об инструкции? Нет, компот — это компот, и точка, во всяком случае, у меня. Я не подослан и ничего в таком роде. Вздремнул, побрился, обед из-за тебя пропустил и вот ухожу. А теперь посмотри сам: все рассказал, как ты просил, а ты мне не веришь. Ни на столечко. Ну, что, прав я был или нет? И стоило ли потроха из себя выгребать, объяснять тебе эти квадрупленции, чтобы ты себе новый ребус составил? Хватит трепать — жалко слов. — Он встал.

— Так вы не шпион?

— Кто говорит, что нет? Кто говорит, что да? Ну, дай мне что-нибудь вышпионить, покажи! Обрыдло мне это, все туда и обратно — зачем? На кой черт? Для кого? Конченный мужик, простак-одиночка, спетая песня. Что я — луковица? Уже шестерные, говорят, попадают. Как у тебя подозрительность эта малость пройдет, можешь заглянуть сюда. Завтра после обеда буду. Ну?

— Приду, — сказал я.

— Тогда и я тоже. Держись. Я в буфет.

Уже у двери, через плечо, он добавил:

— Теперь на очереди доктор, сервиз и лилейная. После сервиза — духовное утешение. Потом следующие номера. А если задержусь, подожди. Буду как штык. Придешь?

— Приду.

Он закрыл за собой дверь. Его шаги удалялись, шелкнула вторая щеколда, и в наступившей тишине я остался один, как кастрюля под крышкой, чтобы дойти.

Так вот оно что... Я-то считал себя страдающим пупом земли, щитом, принимающим на себя удары, фокусом, в котором сходятся все усилия Здания, — а был первым встречным, никем, стереотипным оттиском, повторением, неизвестно которым по счету, — дрожал в тех же самых местах, что и все до меня, как патефонная иглолка, преобразующая разьеженные канавки в чувство и голос. Мои мелодраматические реакции, отскоки, повороты, рывки, нырки, то, что было для меня потрясением, внутренней необходимостью, очередным возвещением истины, — все это, вместе с настоящей минутой, составляло лишь параграф инструкции, не моей, не для меня сочиненной, просто инструкции, хорошо и надежно обкатанной... Но если не испытание, не Миссия, не хаос, что же еще оставалось? Ванная? Коридоры? Блуждание от двери к двери, от двери к двери...

Но зачем он столько говорил? Конечно, и он был частью инструкции, появился как нота в партитуре, когда пришла его очередь. Он хорошо прозвучал, добросовестно сыграл свою роль стреляного воробья! Но зачем? Зачем все это?

Я давно уже сполз с ванны на пол и лежал теперь боком, опершись о фарфоровый изгиб унитаза, и даже сам как будто бы изогнулся. «Ужасно! — повторял я себе. — Ужасно!.. Квадруплеты... триплеты... что он имел в виду? Может, это ничего не значило? Маневр, отвлекающий внимание? Но от чего?» Перевнедрение... перевербовка... секретные документы... кустарник в ушах... В голове у меня от всего этого мельтешило, а тут еще влезла кольраби, на которую он жаловался, проснувшись. Он хвалил регулярный образ жизни! Печенье... даже компот бывает в буфете, о Господи! Может, все они походили с ума, и он тоже, а теперь дело только за мной — и тогда уже все сойдется? Если все сумасшедшие, нет сумасшедших... Но зачем... зачем?!

Я посмотрел на часы. Они стояли. Даже они меня предали. Я содрал их с запястья и выбросил в унитаз. Больше уже не понадобятся. Выловят, исследуют парни из Отдела... Я огляделся. Бритвы не было. Он ее взял. Он обокрал меня — этот провокатор. Что он хотел спровоцировать? О, я уже знал, я знал! Отлично! Только смелее!

Я вышел, напевая. Напевал все громче. Навстречу мне шли офицеры, неестественно улыбаясь. Я вошел в лифт. Коридор последнего этажа был безлюден. Тем лучше. Тем хуже. Я вошел в кабинет.

Он был пуст, Эрмса — ни следа, я подбежал к столу, вырвал выдвижные ящики и начал вытряхивать их содержимое на пол, на кресло, бумаги летали вокруг меня шелестящей тучей. Я услышал скрип открываемой двери, взглянул в лицо Эрмса, в его расширяющиеся голубые глаза.

— Что вы? Что вы такое...

— Ты, мерзавец! — заревел я, бросаясь на него.

Мы упали в облаке секретных бумаг; я душил его, и он меня душил, я пинал его, кусал, но это не продолжалось долго. Затопали чьи-то шаги, кто-то тянул меня за ворот, кто-то обливал холодным чаем, держа высоко стакан, Эрмс, бледный и потрясенный, в растерзанном мундире, собирал с пола бумаги, ему помогали другие, а я, выплевывая ворсинки сукна, выгрызенные из его эполет, хрипло выкрикивал со стула, к которому прижимали меня руки стоявших сзади:

— Конец! Конец! Положите же этому конец, палачи, негодяи! Да, я подстрекал! Подстрекал шпиона! Склонял! Подбивал! Предавал! Сознаюсь! Расстреляйте меня! Замучьте! Убейте!!!

В открытых дверях мелькали силуэты проходивших по коридору — никто не обращал внимания на мои вопли, напрасно я возвышал их до фальцета; охрипнув вконец, ослабевший, я обвис на стуле и только хватал ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды. Кто-то подошел ко мне сбоку, мелькнул белый халат, кто-то тянул меня за рукав пиджака, я глянул в чье-то лунное лицо за стеклами очков, почувствовал укол на сгибе локтя, горячая струйка проникла в глубь моих вен...

— Ну, пошел! — закричал я угасающим голосом. — Спасибо, убийцы, спасибо!..

Сознание возвращалось ко мне постепенно, этапами. Я был громаден. Не в том смысле, что стал великаном — мое тело не увеличилось, но я сам, сознающий и мыслящий, стал пространством, не меньшим, чем то, что меня окружало, а может, и большим. Хотя я не двигал пальцем, громадность моего нутра царила над мириадами этажей белого лабиринта, а я, укрывшись в теплом закутке своего естества, за его могучими стенами, с бесконечной снисходительностью вспоминал о недавних тревогах...

Постепенно я уменьшился, наглухо законопатил себя и вроде бы вернулся. Я чувствовал, что лежу на твердом, не слишком удобном ложе; пошевелил пальцами — они слипались; я вспомнил про чай, которым меня поливали, — не

иначе как переслащенный. Я поднял голову. Она была на удивление легкая и ходила на шее свободно, словно прикрученная кое-как. Потрогал лоб, лицо и, с тревогой почувствовав, как кровь отливает от мозга, сел, прислонившись к холодной кафельной стене.

Это была не ванная. Я полусидел на довольно высокой, обитой клеенкой кушетке, в длинной и узкой комнате с белыми крашеными стульями и занавеской в углу; за ней виднелся край небольшого письменного стола. У изголовья кушетки стояла стеклянная коробка с лекарствами и шприцем, на вешалке белели халаты, возле них, в маленьком шкафчике, сверкали хирургические инструменты. «Медицинский кабинет», — подумал я, и тотчас перед глазами встала сцена у Эрмса. Ага, значит, меня не арестовали, а только лечат? Может, что-нибудь из этого выйдет?

Я потихоньку размышлял — я был какой-то одуревший; меня, например, заинтересовало, почему на столике я вижу только десять бутылочек, тогда как их должно быть девятнадцать, — хотя в то же время я знал, что это лишено смысла.

Кто-то смотрел на меня поверх занавески, мелькнула чья-то макушка и блик света в очках — я узнал врача, который делал мне укол.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он, появившись в проходе между стеной и столом.

— Хорошо.

Он был в белом халате, маленький, пухлый, живой, деликатный, с румянцем на щеках. Черные глаза за стеклами толстых роговых очков сверкали умом, на подбородке у него была ямочка, а нос походил на толстую пуговицу. В разрезе халата красовался изящный, в зеленый горошек, галстук; когда он приблизился, там, глубже, я разглядел кант гимнастерки. Это меня заморозило. Он ничего не заметил; поставил возле кушетки низкую табуретку, уселся, взял меня за запястье, посчитал пульс, потом посмотрел мне в глаза.

— Я здоров, — сказал я, когда он ухватил пальцами розовую резину стетоскопа, торчавшего из верхнего кармана халата.

— Теперь уже да. — Голос у него был приятный, гладкий. — Вы, конечно, все помните?

— Да.

— Прекрасно! Значит, дело идет на поправку. Вы переживаете теперь сложный и, безусловно, нелегкий период — адаптация, новое окружение, специфика условий

труда, не так ли? Многое вас неприятно поражает, а тут еще печать тайны, психика наша упряма, стоит ей коснуться чего-то огражденного запретом, как она уже порывается это опрокинуть, послать ко всем чертям, даже уничтожить, — реакция как нельзя более естественная, хотя в уставном отношении, гм, неадекватная... Ну, что ж... Мы вам поможем.

— Это как же? — спросил я. На мне были брюки и рубашка, туфли кто-то успел снять, пиджак висел на стене; немного смущали меня стопы в одних носках, свисавшие с края кушетки.

— О, ведь вы человек разумный, толковый... — сказал он с улыбкой. На левой щеке появилась ямочка. — А что влечет за собой разум? Скептицизм. Вполне естественная реакция. Что ж... мы не всемогущи, просто — если вы, конечно, позволите — мы с вами побеседуем, непринужденно, в частном порядке... Или вы хотели бы сначала умыться? Искупаться?

— И верно, — ответил я, — я весь липкий от этого чая...

— Ах, не будем об этом, скажу вам только — майор об этом просил, — он превосходно вас понимает, и, само собой, это не повлечет за собой никаких служебных последствий...

— Что? — хмуро спросил я.

Он заморгал.

— Ну, как же, эта сцена... помните? Вы разнервничались, вспылили — вследствие определенных неудач, — я не знаю, конечно, в чем там было дело, и ни о чем не спрашиваю — майор только просил передать вам слова ободрения. Он вас действительно ценит, также и в частном порядке...

— Вы что-то говорили о купании... — прервал я его, начиная вести себя отчасти на манер того провокатора в ванной. Я слез с кушетки и убедился, что чувствую себя вполне хорошо. Наркотик — или что там еще мне впрысну-ли — улетучился без следа.

Врач провел меня через боковую дверь в ванную. Я повесил одежду вместе с бельем в высокий и узкий полукруглый шкафчик, который сам захлопнулся; вымылся весь, принял горячий, потом холодный душ и, распаренный, освеженный, в просторном купальном халате, который уже лежал на стуле, открыл шкафчик с одеждой. Он был пуст. Еще не успев испугаться, я услышал вежливый стук.

— Это я, — послышался за дверью голос врача. — Можно войти?

Я впустил его.

— У меня забрали одежду, — сказал я, встав перед ним.

— Ах да... я забыл вас предупредить... вашими вещами займется сестра... может, пуговицу какую пришить, выгладить то да се...

— Обыск? — бросил я флегматично. Он вздрогнул.

— Ради Бога! Ох, это еще следы шока, — добавил он тише, словно бы про себя. — Ну, ничего. Я выпишу вам успокаивающие таблетки и что-нибудь укрепляющее. А теперь я хотел бы, с вашего разрешения, обследовать вас.

Я позволил простучать и прослушать себя. Он потряс головой, как упитанный жеребенок.

— Чудно, превосходно, — повторял он, — у вас изумительный организм. Может, пока останетесь в этом халате и перейдете в мой кабинет? Сестра совсем скоро принесет ваши вещи. Сюда, пожалуйста...

Через коридорчик, заставленный пирамидками металлических стульев, мы прошли в другую комнату, довольно темную, хотя вверху горела большая лампа; еще одна, под зеленым абажуром, стояла на письменном столе. Черные шкафы, заполненные толстыми книгами с золотыми тисненными заголовками на кожаных корешках, тоже черных, высились вдоль трех стен. Возле одного из них стояли два кресла и низкий круглый стол, а на нем лежал череп.

Я сел. Темнота исходила от собрания книг за стеклом. Врач сиял халат, под которым оказался уже не мундир, а светло-серый скромный штатский костюм. Он сел по другую сторону стола и какое-то время смотрел на меня с выражением безмятежной сосредоточенности.

— А теперь, — сказал он наконец, словно удовлетворенный осмотром моего лица, — вы, может быть, скажете, что вас так взволновало? Здесь, в этих стенах, — он показал глазами на черные ряды книг, — можно говорить обо всем.

Он подождал и, видя, что я молчу, заговорил снова:

— Вы мне не доверяете. Это естественно. Конечно, на вашем месте я бы вел себя так же. И все же, поверьте, ради своего же блага вы должны, пусть через силу, преодолеть желание отмолчаться. Вы только попробуйте. Труднее всего начать.

— Не в том дело, — ответил я, — я только не знаю, стоит ли... Впрочем, вы меня удивили, ведь в том кабинете вы говорили совсем другое: что вы не хотите ничего знать о случившемся.

— Прошу меня извинить, — заговорил он тихо — на щеке опять была ямочка. — Прежде всего я врач. Там я еще не был уверен, что вы совершенно пришли в себя, и не хотел волновать вас, неосторожно касаясь крайне тягостных

воспоминаний. Теперь дело другое. Я обследовал вас и знаю, что не только могу, но и должен это сделать. Разумеется, я не буду настаивать, это уж как вы сами хотите. Готовы ли вы...

Он не закончил.

— Хорошо, — сказал я нетерпеливо. — Пусть. Но это история долгая.

— Безусловно, — он кивнул. — Я охотно ее выслушаю.

В конце концов, чем мне это могло повредить? Я начал свой рассказ с той самой минуты, когда получил повестку; изложил разговор с главнокомандующим, историю Миссии, инструкции и позднейших перипетий, говорил о старичке, офицерах и проповеднике, не умалчивая и о своих подозрениях. Я исключил из них только Эрмса. О том, что произошло позже — о спящем в ванной и необычном разговоре с ним, — я рассказывал уже рассеянно, вдруг осознав, что выпадение существенного звена, каким было подглядывание за Эрмсом, копирующим тайные планы, придавало моей вспышке, вернее, нападению на него, черты болезненности; поэтому, рассказывая о бледном шпионе, я пытался найти какие-нибудь детали, которые — если их усилить, раздуть — могли хоть отчасти оправдать устроенный мною скандал, — но даже для меня самого это звучало не очень-то убедительно, я чувствовал, что чем дольше рассказываю, тем больше на себя наговариваю, что мои объяснения ничего не объясняют, и последние слова произносил уже в мрачном, близком к отчаянию убеждении, что ко всем уликам против себя я, словно их было мало, добавил свидетельства своей ненормальности.

Слушая, врач не смотрел на меня. Несколько раз он бережно брал в руки череп, покоившийся на бумагах как пресс-папье, и переставлял его то боком ко мне, то глазами; так он и остался стоять, когда я закончил. Тогда врач откинулся назад, на спинку кресла, сплел пальцы и заговорил своим приятным, приглушенным голосом:

— Если я правильно понял, центром кристаллизации ваших сомнений в серьезности и реальности Миссии является необычайное количество изменников, на которых вы будто бы случайно наткнулись... за очень короткое время. Верно?

— Можно и так сказать, — согласился я. Я уже несколько справился от волнения, вызванного моим отчаянным чистосердечием, и смотрел в пустые глазницы черепа — опрятного, с гладким костяным отливом.

— Вы сказали, тот старичок был предателем. Вы сами догадались об этом?

- Нет. Мне сказал офицер, который потом застрелился.
- Сказал... и застрелился. Вы это видели?
- Ну да, то есть — слышал выстрел в соседней комнате, грохот падения, и через щель увидел его ногу... ботинок.
- Ага. А еще раньше был арестован инструктажный офицер, который сопровождал вас. Позвольте спросить, как выглядел этот арест?
- К нам подошли два офицера, отозвали его в сторону и говорили с ним — не знаю, о чем. Не слышал. Потом один ушел с ним, а второй отправился со мной.
- Кто-нибудь сказал вам, что это был арест?
- Нет...
- Значит, вы, собственно, не могли бы в этом поклясться?
- Ну... нет, но обстоятельства... особенно в свете того, что случилось потом... я решил, что...
- Не торопитесь. О старичке вам сказал офицер. В том, что и он, в свою очередь, изменник, убедил вас звук выстрела и увиденный через щель двери кончик его ботинка. О предыдущем инструктажисте вы знаете лишь, что его отозвали. Происшествия эти по меньше мере неясны — если не сказать больше. Кто еще у нас остался? Ах да, тот бледный шпион... но вы нашли его в ванной, спящим?
- Да.
- Что бы он стал там делать, только что сфотографировав важные документы? Вряд ли он пошел бы отсыпаться в ванную. Впрочем, вы вошли туда — следовательно, дверь не была заперта?
- Действительно — не была.
- И вы по-прежнему убеждены, что все эти люди — изменники?
- Я молчал.
- Вот видите! Это следствие поспешности, отсюда и логические ошибки.
- Простите, — прервал я его, — допустим, они не были изменниками, но тогда чем объяснить все эти истории? Что это было? Театр? Разыгранный передо мной спектакль? Зачем? С какой целью?!
- Ба! — сказал он, улыбаясь одними ямочками. — Этого я уже не знаю. Быть может, вас хотели сделать невосприимчивым к измене, прививая ее вам в микроскопических дозах. В конце концов, даже Эрмс — как знать — мог бы сделать нечто такое, что показалось бы вам подозрительным, необъяснимым, но его-то вы, думаю, не сочли бы изменником? Что? Или... может быть, все-таки?

Он смотрел на меня изучающе. Какими ледяными были глаза на этом круглом, добродушном лице...

Он не стал дожидаться, пока я отвечу.

— Нам остается еще один твердый орешек, едва ли не самый твердый: я имею в виду инструкцию. Она, понятно, была зашифрована. Настолько ли внимательно вы ее просмотрели, чтобы утверждать со всею уверенностью, что в ней содержалась ваша судьба с самой первой минуты? Все по очереди поступки и мысли?

— Пожалуй, нет, — сказал я, помедлив. — Это было невозможно. Я выхватил взглядом лишь несколько строк. Там было что-то о белых стенах и рядах коридоров и дверей, об ощущении потерянности, одиночества, которое меня преследовало. Эти фразы — я не помню их точно — словно кто-то выхватил у меня из головы...

— И это все, что вы успели прочесть?

— Да. То есть... время от времени люди, с которыми я встречался, определенным образом намекали на мои переживания, даже на мои мысли, скажем, начальник Отдела шифров, Прандтль. Я уже говорил об этом.

— Но он дал вам только образчик шифра, как... своего рода экспонат, как некий пример?

— Так это выглядело, но ведь там был ответ на вопрос, который я задал себе мысленно.

— А известно ли вам, что суеверные люди в критических обстоятельствах пытаются найти указания о своей дальнейшей судьбе, то есть как бы пророчества, открывая наугад Библию?

— Ну, да, я слышал об этом...

— Но вы не верите, что это может помочь?

— Нет. Страницы открывает слепой случай.

— Так, может, и здесь был слепой случай?

— Слишком уж много этих случаев... — неохотно пробурчал я.

Я не верил ему. Все, что я мог, — это дать жалкое изложение фактов, но я не в силах был передать их демонический ореол, ощущение идиотизма и совершенства одновременно. Врач добродушно улыбался.

— То, о чем вы рассказали, — сказал он, — конечно, не было ни видениями, ни обманом чувств, ни галлюцинациями. Это всего лишь поспешность, нетерпеливость, торопливое желание понять все сразу, угадать, что вам предназначено, чего от вас хотят. Допускаю, что здесь пробуют развить в вас смекалку, всестороннюю наблюдательность, бдительность,

цепкую память, критическое чутье — то самое интеллектуальное сито, что отделяет пшеницу от плевел, — и многие другие свойства и навыки, необходимые для выполнения того, что вам еще предстоит. Итак, это было не испытание, как вы выразились, но, скорее, тренинг, а тренинг, особенно налпшне форсированный, может привести к переутомлению, что как раз и произошло в вашем случае.

Я молчал, заглядывшись в глаза черепа. Я был пуст и ко всему безразличен. К тому же улыбался он слишком сердечно.

— Прошу прощения за этот инцидент с одеждой, не упрежденный моим объяснением, — продолжал он, сияя доброжелательностью, — сестра, собственно, давно уже должна была ее принести, думаю, вот-вот принесет...

Он не переставал говорить, а во мне все упорней колотилась какая-то неотчетливая, бессловесная мысль, которую — я это чувствовал — я никогда не отважился бы высказать прямо.

— А у вас есть... э... отделение для нервнобольных? — внезапно спросил я.

Он моргнул за своими очками.

— Ну, разумеется, есть, — ответил он снисходительно, — есть у нас и душевная больничка, но всего на несколько коек... Вас это интересует? Ну что ж, говорят, устами безумца балакает дух эпохи, дескать, это концентрированное *extractum millenii*^{*}, но в этом много преувеличения... хотя, если бы вы пожелали предпринять какие-то наблюдения, исследования, — я вовсе не против, ведь вам не обязательно так быстро нас покидать...

— Так я должен остаться?!

— Это было бы желательно, разумеется, на какое-то время. Хотя, конечно, я ни в коей мере вас не задерживаю.

— Вы подозреваете у меня?... — спросил я спокойно.

Он вскочил. Ямочки бесследно исчезли.

— Да что вы! Никаким образом! Вы просто перетрудились, переутомились!! В доказательство я готов провести вас туда, *ad altarem mente captorum*^{**}. Правда, теперь там лишь горстка пациентов, случаи, скорее, банальные, к примеру, *Catatonia Provocativa*^{***}, ну, и разные там остаточные маниакальные идеи, нервные тики, навязчивое зыркание, агентурное

* Экстракт тысячелетий (лат.).

** Дабы умом глубоко охватить (лат.).

*** Провокаторская кататония (лат.).

раздвоение личности, многоразведочная дрожь — все это классические и в общем-то скучные случаи, — тараторил он без умолку, — с недавнего времени мы имеем один любопытный трехперсонный синдром, редкий казус, так называемая *folie en trois* — тройственное сопряжение, *Dreieiniger Wahnsinn* или *The Compound Madness* в терминологии заграничных авторов: двое без устали разоблачают друг друга, а третий кусает себе руки и ноги, чтобы оставаться нейтральным. Так что у него — вы понимаете? — *reservatio mentalis*^{*}, только с осложнениями... Да. Кроме того, вас, возможно, заинтересует *mania autopersecutoria*, то есть мания самодопрашивания, — больной подвергает себя перекрестному допросу, случается, сорок часов подряд, до глубокого обморока... Ну, и под конец, в качестве курьеза, — аутокрипсия...

— Да? — бросил я равнодушно.

— Больной спрятался в собственном теле, — пояснил доктор, зарумянившись от возбуждения, — и редуцировал свое самоощущение настолько, что считает себя молоточком — есть такая косточка в ухе, — а все остальное, все части тела, считает подосланными... Увы, теперь я не могу сопровождать вас... у меня обход в другом отделении... но вам все равно придется подождать, пока сестра принесет одежду. Может быть, тем временем посмотрите мою библиотеку? Чуть-чуть потерпите... извините великодушно...

Я стоял возле кресла, выпрямившись; мне было не по себе в этом слишком широком купальном халате с его слишком игривой расцветкой. Врач протянул мне теплую, сильную, хотя и пухлую, ладонь и сказал:

— Все будет хорошо. Поменьше предубеждений, побольше простоты, мужества — и все будет хорошо, вот увидите.

— Благодарю, — пробормотал я.

Улыбнувшись еще раз, он от дверей сделал ободряющий жест и вышел. Я ждал, стоя, но сестры все не было; я вернулся к столу и стал разглядывать череп. Он как-то особенно широко улыбался — полным набором длинных белых зубов. Я взял его в руки, почти бессознательно, и несколько раз щелкнул его нижней челюстью, устроенной на пружинках. С боков, на висках, имелись привинченные крючочки — весь верх, ровно отпиленный, снимался как крышка. Я не стал откидывать крючочки — такой, как есть, законченный, шаровидный, он был мне как-то больше по душе. Должно

^{*} Мысленная оговорка (лат.).

быть, его вываривали необычайно старательно — он сиял, словно покрытый тончайшим слоем жира, но блеск этот был сухим. Склизкость я почувствовал бы на ощупь.

Очень красиво выглядели бахромчато сцепленные между собой, точно сходящиеся теменные кости черепного свода. А основание, если его перевернуть, слегка напоминало лунный пейзаж — множество больших и малых костистых бугорков и брешей, остроконечных выступов, а посредине, там, где череп скрепляется с позвоночником, — обнесенная валом, большая, как кратер, дыра. «Интересно, где его позвоночник», — подумал я и сел перед ним, широко расставив на столе локти. Сестры все еще не было.

Я думал о том и о сем — об одном человеке, который, как я слышал, заболел скелетом, своим собственным скелетом, то есть ужасно боялся его, не говорил о нем и даже старался не прикасаться к себе, чтобы не наткнуться под мягкой оболочкой на твердость, ожидающую освобождения; о том, что скелет для нас — символ смерти, плакатное предостережение, и ничего больше; раньше, столетия назад, в анатомических атласах скелеты не стояли в неестественно напряженной позе, по стойке «смирно», но изображались в позициях, полных жизни: одни плясали, другие, слегка скрестив берцовые кости, опираясь на костяную ладонь, углом локтя касались саркофага и внимательно или печально смотрели глазами на наблюдателя; я помню даже гравюру с изображением двух любящихся — один из них был явно смущен!

Но этот череп был вполне современным — он прямо-таки сиял чистотой, абсолютно гигиеничный, вымытый; необычайно стройные балюстрады скуловых костей образовывали что-то вроде маленького балкончика под каждой глазницей, зияющая дыра вместо носа слегка обескураживала, но только как некий изъян, неретушированное увечье, зато в улыбке совершенно не ощущалось отсутствие губ, вообще отсутствие чего бы то ни было, она побуждала задуматься. Я поднял его, покачал в руке, кость весила немало, я постучал по ней согнутым пальцем и вдруг, быстро, зажмурившись, поднес к носу. В первую минуту я ощутил только пыль, невинную, щекочущую, однако в ней извилисто промелькнул какой-то следок, что-то там было — еще ближе, и, когда ноздри коснулись холодной поверхности, я резко втянул воздух — ну да! ну да! запах, верней, запахок, еще раз, и — о, измена!!!

Дохнуло гнилью, выдававшей несправедное происхождение

ние черепа. Я вынюхивал, словно пьяный, убийство, которое гаилось за стройной бледно-желтой изысканностью, кровавую дыру, которая ей предшествовала; понюхал еще раз: блеск, опрятность, белизна — все было обманом. Что за мерзость! Я еще раз принюхался — жадно, со страхом, — бросил череп на стол и принялся судорожно вытирать губы, нос, пальцы краем купального халата, а меня уже снова тянуло к нему, да как еще тянуло...

Вошла сестра — без стука — со старательно сложенным, отутюженным, словно новым, костюмом, положила его вместе с рубашкой на стол, возле черепа. Я поблагодарил. Она чопорно кивнула и вышла.

XI

Я одевался в ванной, при полуоткрытых дверях, а так как дверь комнаты тоже была приоткрыта, через короткий, пустой коридорчик мог в любую минуту увидеть костяную голову. «Красавица ты моя!» — думал я. Я мог бы всматриваться в нее часами, такое это было блаженное омерзение, возбуждающее и отвратительное после того, что я в ней обнаружил. Даже какой-то испуг пробирал, не перед черепом, разумеется, а перед собою самим — ну чего я в нем такого доискивался? Подумаешь, вываренная до блеска кость, костица. Что меня к ней так притягивало, почему я смотрел туда и даже снова принюхивался, со все возрастающим омерзением, не в силах оторваться? Гибель того человека, из которого ее вынули? Но ведь он не имел ничего общего с этой своей посмертной несерьезностью пресс-папье, да, впрочем, он совершенно меня не заботил. Непонятное дело; во всяком случае, я уже лучше понимал, почему прежде, в очень давние времена, пили из оправленных в серебро черепов. Они придавали вину особый вкус. Я еще долго бы так размышлял, но через коридорчик услышал скрип второй двери врачебного кабинета — она вела в главный коридор. Я прикрыл дверь ванной, быстро застегнул последнюю пуговицу, проверил в зеркале лицо и медленно, неуверенно выглянул наружу.

В комнате были двое в цветных пижамах.

Один, с неоднородно рыжими волосами, словно бы крашеными и местами выцветшими, стоял спиной ко мне, и, скривив голову набок, читал заглавия на корешках книг; второй, приземистый, с припухшими веками цвета крепкого чая, сидел за столиком напротив черепа и говорил:

— Хватит. Кончай. Ты уже наизусть это знаешь.

Я вошел в кабинет. Сидящий бегло взглянул на меня. Шея у него была белая и обвисшая, в противоположность смуглому, какому-то изношенному лицу.

— Сыграем? — предложил он, доставая из кармана свекольного цвета пижамы маленькую кружечку; он открыл ее крышку, и на стол посыпались игральные кости.

— Не знаю, на что, — засомневался я.

— Ну, как обычно, на звезды... Кто выигрывает, тот называет, идет?

Он уже с грохотом мешал кости.

Я промолчал. Он бросил кости и посчитал очки: одиннадцать.

— Теперь ваш черед, коллега.

Он протянул мне кружечку. Я встряхнул ее и бросил кости — выпали две двойки и четверка.

— Моя взяла! — довольно сказал он. — Тогда... пускай будет Маллинфлор! Не хуже любой другой!

На этот раз выпало тринадцать.

— Эх, одного очка не хватило. — Он криво усмехнулся.

Я бросил кости, не мешая. Две четверки и шестерка.

— Ого, — сказал он. — Слушаем.

— Не знаю, — буркнул я.

— Ну, смелей!

— Адмиральера...

— Высоко целите! Ладно, теперь я...

Он выкинул семь. Очередь была за мной. Выпали две пятерки, третья кость скатилась со стола и полетела прямо к ногам мужчины, который, все еще стоя спиной к нам, разглядывал библиотеку.

— Что там, крематор? — спросил, не двигаясь с места, мой партнер.

— Шестерка, — бросил тот, едва взглянув вниз.

— Везунчик! — Сидящий показал скверные зубы. — Ну? Называйте!

— Звезда... — начал я.

— Да нет же! Шестнадцать!! Целая система!

— Система? Система... Златоокого Старичка, — вырвалось у меня.

Мне показалось, он как-то по-особому глянул на меня, веко у него дрожало, как мотылек; между тем к нам подошел тот, второй, и сказал:

— Прячьте это, доктор идет, нет смысла играть.

Говорил он слегка заикаясь, лицо у него было как у старой белки, с выступающими резцами, рыжими, как кисточка,

усиками и бесцветными глазами в окружении глубоких, как шрамы, морщин.

— Мы незнакомы. Разрешите? — Он подал мне руку. — Семприак, старший крематор.

Я пробормотал свое имя. Сидящий спросил:

— И где же этот твой доктор?

Он все еще тряс костяной кружечкой.

— Сейчас придет. Вы на амбулаторном лечении?

— Да, — ответил я.

— Мы тоже. Прямо со службы сюда, чтобы времени зря не терять. Известное удобство в этом есть, ничего не скажешь. У вас зеркальца не найдется?

— Перестань, — вмешался сидящий, но Семприак не обращал на него внимания.

— Кажется, где-то должно быть. — Я ощупал карманы и протянул ему маленькое квадратное зеркальце из полированного никеля, немного уже исцарапанное и потемневшее от ношения в кармане.

Он внимательно осмотрел себя в нем, ощерил перед зеркальцем гнилые зубы и стал строить гримасу за гримасой, словно хотел уловить самое отвратительное, что было в его лице.

— Гм... гм... — произнес он с удовлетворением. — Труп. Давненько я так не старился! Физия мерзопакостная!

— Вас это радует?

— Еще бы! Увидеть я его не увижу, так по крайней мере...

— Кого не увидите?

— Ах да, вы же не знаете. Брата. Брат у меня есть, близнец, послан с Миссией, нескоро его увижу, а он у меня в печенках сидит, так хоть в зеркальце на горе его нагляжусь: Зуб времени, скажу я вам...

— Перестань, — повторил толстый, уже с более явным оттенком неудовольствия.

Я пригляделся к обоим. Семприак, хоть и маленький, щуплый, чем-то напоминал того, второго; они походили друг на друга, как два разных, но одинаково изношенных костюма, выглядели чиновниками, состарившимися за конторским столом: то, что в одном ссохлось и сморщилось, в другом обвисло, помялось, пошло складками. Семприак, как видно, старался держать марку: потрогал свой рыжий ус оттопыренным мизинцем с длинным ногтем, машинально потянулся поправить воротничок, но рука соскользнула по сморщенной голой шее, ведь он был в пижаме — зеленой, цвета травы, с серебряной нитью.

— Так вы на лечении, а? — попробовал он возобновить

прерванный разговор. — Чудесно, чудесно... хе-хе... чего только не делает человек ради здоровья.

— Сыграем? — спросил в нос толстяк.

— Фи! В кости? — выдохнул крематор через усы. — Дешевка... Придумай что поинтереснее.

Кто-то заглянул в комнату сквозь щель неплотно закрытой двери. Блеснул глаз и исчез.

— Ну конечно, Барран. Вечно он должен по-своему, — пробурчал игрок в кости.

Дверь открылась. Шаркая, вошел высокий, необычайно худой — того и гляди сломается — человек в полосатой пижаме, через левую руку он перекинул костюм, в правой держал распухший портфель, из которого торчал термос. Нос выдавался крутым изломом, словно стилет; ему вторил угловатый кадык. В блеклых, бесцветных, слезящихся глазах застыло выражение отрешенной задумчивости, которое странно не вязалось с его живостью, — уже с порога он закричал:

— Привет, коллеги, привет! Доктор не скоро пожалует! Вызван к начальству, хей-ля-ля!

— А что? Приступ? — равнодушно спросил толстяк.

— Что-то там было. Оползание мыслей, хе-хе. Мы бы со скуки здесь умерли, пока дождались. Пошли, все готово! Блеск!

— Барран. Конечно. Попойка. Снова попойка, — недовольно ворчал толстяк, но уже поднимался со стула.

Крематор потрогал усики.

— А что, мы будем одни?

— Одни. Еще аспирантик — за хозяина дома, подливала, хе-хе, молодой, юркий. Батарея готова! Пошли!

Я переступил с ноги на ногу, рассчитывая устранимся, но новопришедший слезливыми глазами уставился на меня.

— Коллега? Новичок? — быстро заговорил он ломающим-ся голосом. — О, сколь нам будет приятно! Вливание, хе-хе, маленький заливантус! Просим покорнейше с нами!

Моих отговорок они не слушали; я был взят под руки, между свекольной пижамой и фиолетовой, и мы, под уговоры и препирательства — я все еще слабо протестовал, — вышли в коридор, верней, коридорчик, казавшийся еще теснее оттого, что половина дверей была открыта наружу. Плотный любитель игры в кости, идя впереди, сыпал ударами направо и налево, двери захлопывались, и их стук, разносясь по всему этажу, сопровождал нашему и без того слишком шумному шествию. Одна из дверей, хлопнувшись, распахнулась

опять, и за нею открылся зал, полный старых женщин в салопиках, вуальках и длинных халатах. Меня обдал их сварливый, сливающийся в одно целое гомон.

— А это что? — спросил я, пораженный. Мы уже шли дальше.

— Склады, — отозвался шедший за нами крематор. — Там — кладовые теток. Туда, туда, — он тыкал меня пальцем в спину. Я чувствовал вульгарный запах его бриллиантина, смешанный с запахом чернил и мыла.

В толстяка, который шел во главе, вселился новый дух. Он уже не шел, шествовал — размахивал руками, посвистывал, перед последней дверью одернул пижаму, точно это был фрак, элегантно кашлянул и с размаху распахнул обе створки, так что дверная ручка выскользнула у него из пальцев.

— Милости просим в наши низкие, нижайшие хоромы!

С минуту мы церемонничали у двери, пропуская друг друга. Среди голых стен — только ближайший угол был занят большим старомодным шкафом — стоял большой круглый стол под белоснежной скатертью, заставленный бутылками с блестящими головками и блюдами с едой; напротив, в глубине, у сваленных в кучу деревянных стульев, какие можно видеть в летних ресторанах, хлопотал молодой человек с необычайно густой шевелюрой, тоже в пижаме; он расставлял пронзительно скрипящие стулья, отбрасывая самые шаткие. Толстяк бросился помогать, а худой инициатор этого необычного торжества, по имени, если я не ошибся, Барран, скрестив на груди руки, словно вождь на холме перед битвой, охватил взором все, что нес на себе стол.

— Простите, — сказал кто-то сбоку.

Я пропустил улыбающегося молодого человека; под мышками и в обеих руках он нес бутылки вина. Избавившись от ноши, он вернулся, чтобы представиться.

— Клаппершланг. — Он с уважением пожал мне руку. — Аспирант... со вчерашнего дня... — добавил он и внезапно покраснел.

Я улыбнулся ему. Был он не старше двадцати лет. Густые волосы чернели над бледным лбом, опускаясь спереди ниже ушей острыми прядями, похожими на брелочки.

— Коллеги! По местам, прошу вас! — возвестил, потирая руки, Барран.

Мы еще не уселись как следует на опасно поскрипывающих стульях, а он уже умело наполнил рюмки и с жадной усмешкой, которая сдвинула его лицо влево, поднял свою.

— Господа!! Зданье!!

— Аминь!! — грянуло как из одной груди. Мы чокнулись и выпили. Спиртное какого-то незнакомого мне вкуса медленным пламенем горело в груди. Барран снова налил всем, понюхал рюмку, причмокнул, крикнул: — По второй!! — и выпил залпом. Крематор, развалившись на стуле, занялся бутербродами и мастерски выплевывал огуречные семечки, стараясь попасть в тарелку молодого человека. Барран все подливал. Мне сделалось жарко. Я не чувствовал выпитого, а только вместе со всем, что было вокруг, погружался в густую, сверкающую, дрожащую жидкость. Не успевали наполнить рюмки, как уже надо было опустошать их — словно им не терпелось, словно в любую минуту что-то могло прервать эту столь внезапно затеянную пирушку. Станным казалось мне и необычайное оживление этих людей — после немногих рюмок.

— Что это за торт? Провансальский? — спрашивал с набитым ртом толстяк.

— Хе-хе... провокантский, — ответил ему Барран.

Крематор заливался смехом, нес что попало; пересуды, остроты, пьяные прибаутки летали в воздухе.

— Твое здоровье, Барранина. И твое, трупист!! — ревел толстяк.

— Танатофилия — это влечение к смерти, а не к мертвым, невежда! — отбрил его крематор.

Разговор вскоре стал невозможен. Даже крики терялись в общем хаосе. Тост следовал за тостом, здравица за здравицей, я пил тем охотней, что остроты и шутки пирующих казались мне до невозможности пошлыми, и я запивал собственное отвращение и брезгливость; Барран визжал фальцетом и под свое истошное пение изображал шагающими по салфетке, плотоядно выгнутыми пальцами танец поднабравшейся пары; крематор то глушил водку стаканами, то швырял целыми огурцами в молодого человека, который почти не пробовал уклониться, а толстяк ревел словно буйвол:

— Пей-гуляй! Эхма!!

— Гуляй!

— Эй, пей!! — визгом отвечали ему остальные.

В конце концов он вскочил со стула, зашатался, сорвал с головы парик и, швырнув его оземь, заявил, сверкая потной, внезапно сбнажившейся лысиной:

— Гулять так гулять! Коллеги! Играем в ловушки!

— В ловушки!

— Нет, в загадки!
— Хи-хи! Ха-ха! — ржали они наперебой.
— Ну, за дружбу нашу, братья! За счастливый этот пляс!! — кричал, целуя себя в руку, крематор.
— А я за успех... ле... лечения... за доктора... други любимые! Не забывай о док... торе!! — стонал Барран.
— Жалко, нету девиц... мы бы уж поплясали...
— Эх! Девицы! Эх! Грех! Сладости-прелести!
— Маршируют шпики, ма-а-арши-и-иру-у-уют!! — выл, не обращая ни на кого внимания, толстяк. Вдруг осекся, икнул, обвел нас перекошенным глазом и облизнулся, показывая острый, маленький, девчоночий какой-то язык.
«Что я тут делаю? — думал я с ужасом. — До чего омерзительно это чиновничье, заурядное пьянство восьмого разряда... Как они тужатся, пытаюсь блеснуть...»
— Го... спода!! За ключника! За при... вратника нашего! Виват крематор! Виват гуляncia!! — тоненьким голосом кричал кто-то из-под стола.

— Да, да! Да здравствует!
— Рюмочкой его!
— Стопочкой!
— Версочкой!
— Корочкой!! — верещал нестройный хор.
Жалко мне становилось молодого человека — до чего ж по-кабацки они его спаивали, доливая без перерыву! Толстяк с набухшей, багровой, словно готовой лопнуть лысиной — только его дряблая шея ненатурально белела — звякнул ложечкой о стакан, а когда это не помогло, трахнул бутылкой об пол. При звоне разбитого стекла мгновенно стало тихо, и он попытался, опершись о стол, произнести речь, но захлебнулся булькающим смехом и трясущимися руками стал делать знаки собутыльникам, призывая их подождать; наконец заорал во всю глотку:
— Гуляncia! Застольная игра! Загадки!!!
— Идет! — рывкнули они. — Взять его! Ату! Кто первый?!

Э-э-эх, на юру стоит домишко...
снегом занесенный...
Э-э-эх, полюбился мне парнишка...
молодой, шпи... онный!.. —

заливался Барран.

— Господа... Братия милая... — силился перекрычать его толстяк. — Номер первый: кто — видел инструкцию?

Ответом был залп смеха. Я задрожал, глядя на

подскакивающие туловища, разинутые пасти; крематор и молодой человек всхлипывали, наконец аспирант пискнул:

— Кукиш с маслом!

И снова рюмки в неуверенных руках сошлись со стеклянным звоном. Умиленный крематор уже и внутренние стороны своих ладоней осыпал страстными поцелуями, Барран, сидевший рядом со мной, плеснул себе водку в горло — при этом краешек рюмки врезался ему в нос, и тот остался вдавленным посередине. Он этого даже не заметил. «Должно быть, из воска», — подумал я, но мне было как-то все равно. Толстяк, которому становилось все жарче, обнажился до половины, накинув пижамную куртку на плечи, и сидел, сверкая потом на густых волосах, жирный и отвратительный; наконец он отстегнул и уши.

— Потому что праздник, праздник шпионажа! Праздник шпионажа! — вдруг запели на два голоса Барран и молодой человек, голубые глаза которого блуждали уже совершенно безумно. Крематор оторвал губы от собственных рук и присоединился к поющим:

— И хватаешь документы! И читаешь документы! И глотаешь документы!!!

— Господа-а-а... угадancia номер два: что такое супружество?! — гудел пакостно раздетый апоплектик. Он походил на волосатую женщину. — Наименьшая шпионская ячейка, — ответил он сам себе, потому что никто его не слушал.

Красные, орущие лица покачивались перед глазами. Мне казалось, что Барран, прядая ушами, подает какие-то знаки крематору, но это мне, должно быть, привиделось: оба были слишком навеселе. Семприак вдруг схватил чужую рюмку, опустошил ее, швырнул об пол и встал. Водка пополам со слюной стекала по рыжим усам.

— Ну и красавчик! — кричали ему. — Господа! Внимание! Обличье высшего разряда! Повышение ему, повышение!

— Молчать!!! — запищал, страшно бледнея, крематор.

Он покачивался, не мог отыскать равновесия — широко расставленными руками оперся о стол, прокашлялся и, щеря беличьи зубы, с лицом, ослепленным слезами, затянул:

— О юность моя! О детство святое и ты, дом мой родимый! Где вы?! Где я, прежний, прадавний... Где маленькие мои ручонки с пальчиками розовенькими, крохотными, с ноготочками сладостными... ни одного не осталось! Ни одного... Прощайте... Плюю... нет: блюю...

— Перестань!! — резко бросил Барран. Он что-то вынюхивал своим плоским, огромным носом. Смерил глазами

молодого человека, сидевшего рядом, и, приложив к его рту полную бутылку, зашипел: — Ты не слушай, что он говорит! — и придержал его голову.

Бутылка быстро опустошалась. Бульканье, которое издавал пьющий, было единственным звуком в наступившей вдруг мертвой тишине. Крематор, с прищуренными глазами наблюдавший за снижением уровня жидкости, кашлянул и продолжил:

— Ужель отвечаю я за ручищу мою неуклюжую? За носище? За пальчище мой? За зубище? За скотство мое? Вот я пред вами, изнасилованный бытием...

Он умолк: что-то вдруг изменилось. Худой, вынимая опорожненную бутылку изо рта юнца, который обмяк у него на руках, произнес трезвым, спокойным голосом:

— Хватит.

— Э? — буркнул апоплектик. Наклонился над полулежащим, оттянул у него поочередно веки и заглянул в зрачки. Похоже, осмотр его удовлетворил, и он небрежно отпустил тело; оно со стуком скатилось под стол, и вскоре оттуда послышался тяжелый, норовистый храп.

Тогда крематор сел, добросовестно отер лоб и лицо платочком, поправил усы; прочие тоже зашевелились, закашляли, засуетились...

Я смотрел вокруг, не веря своим глазам. Краска сходила с их лиц, они откладывали на тарелки брови, родинки, и, что еще удивительнее, глаза у них просветлели, лбы поумнели, с лиц улетучился чиновничий разгул. Худой (я по-прежнему называл его так, хотя его щеки порядочно округлились) подошел ко мне вместе со стулом и, светски улыбаясь, сказал вполголоса:

— Надеюсь, вы простите нам этот маскарад. Дело в высшей степени неприятное — но тут виновата *vis maior**. Поверьте, ни одному из нас это не дается легко. Человек, даже только изображая скотину, непременно отчасти и сам оскотинится...

— А потом расскотинится! — бросил крематор через стол. Он с явной брезгливостью разглядывал собственные руки.

Я не мог выговорить ни слова. Худой оперся о мой стул. Из-под пижамы высунулись манжеты вечерней рубашки.

— Оподление и расподление, — сказал он, — таков вечный ритм истории, раскачиванье над бездной... — Он поднял

* Превосходящая сила (лат.).

голову. — Вот теперь вы будете нашим гостем: в собрании, быть может, слишком академическом — в собрании абстрактеров, если можно так выразиться...

— Простите, как? — пробормотал я, все еще не в состоянии опомниться после столь неожиданной перемены.

— А так... ведь мы, собственно, профессора... Вот это профессор Делюж, — он показал на толстяка, который, не без труда вытащив храпящего из-под стула, прислонил его к стенке. Под расстегнутой пижамой виднелся офицерский мундир мнимого аспиранта.

— Делюж, видите ли, возглавляет кафедру обоих проникновений.

— Обоих?..

— Да. Агентуристика и провокаторика... В качестве маскировщика не имеет себе равных... Кто как не он закамуфлировал половину звезд в Галактике?

— Барран! Это служебная тайна! — полушутливо бросил толстый профессор. Приведя в порядок одежду, он взял бутылку минеральной воды и обильно окропил ею лысину.

— Тайна? Теперь? — усмехнулся Барран.

— Точно ли он без сознания? — спросил крематор, обхватив лицо руками, словно пересиливая водочный угар.

— Действительно, этот молокосос слишком храпит, — добавил я, начиная понимать, что все это время они пытались спонить переодетого в пижаму офицера.

— Какой он молокосос? Да он вам в отцы годится... — прошипел толстый профессор. Он бережно вытирал лысину, одновременно попивая из стакана минеральную воду.

— Делюжу можете верить, это старый практик, — усмехался мне Барран. С этими словами он поднял свисавшую почти до пола скатерть, и я увидел, что апоплексичность ученого кончается сразу за ее краем.

— Псевдоножки, — заметил он в ответ на мой ошеломленный взгляд. — Практичная вещь, в самый раз для подобных okazji...

— Значит, вы тут... все... профессора? — промямлил я. Я не был, к сожалению, трезв.

— За исключением нашего коллеги крематора. Ну, а его специальность внеотдельская, — произнес добродушно Барран. — В качестве начальника кадаврологического семинара и смотрителя коллекции — *custodia eius cremationi similis** — он заседает в ученом совете.

* Подобно страже при сожжении (лат.).

— Ах... значит, господин Семприак все же крематор? Я полагал, что он...

— Притворяется? Нет. Он, — Барран кивнул головой туда, откуда доносился скрипучий хrap, — как-никак разбирается в этом. Нелегкое это искусство...

— Не жалуйся, Барран, сегодня у нас получилось совсем неплохо, — сказал толстый профессор, отодвигая стакан. — Иной раз, скажу я вам, полночи приходится о шпиках-ветеранах басни травить, об агентствах старинных, о доблестных лазутчиках, о когтистых лапах разведки (и тут не обходится без тайных маникюристических песен), о сидении на губе, о губотрясах секретных, о шпионизме заморском, прежде чем от него отделаемся. Ну, а зимой за разговорами этими еще и дрова в камине должны полахать... коды поем, шифрушки... от окон дует, ну и, конечно, всегда простужаюсь...

Он недовольно пожал плечами.

— А как же... — отозвался крематор. Он выпрямил спину и все с тем же будто беличьим лицом, с которого, однако, улетучилось выражение казенного отупения, язвительно скривившись, затянул: — Мы, шпионы забубенные!

— Ключник, кончай, слышать этого не могу! — передернулся профессор Делюж.

— Ключник? — переспросил я.

— Вас удивляет, что мы зовем Семприака ключником? Ну что ж, хоть мы и профессора, но есть у нас прозвища еще со студенческих лет, корпорантских... Делюжа корпоранты окрестили хамелеоном... а ключником или привратником его называют потому, что он, в некотором роде, приставлен ко вратам Здания, у которых есть лишь одна, обращенная к нам сторона...

Я не был уверен, что правильно понял его, но не смел расспрашивать дальше, поэтому отозвался не сразу, а лишь после продолжительной паузы:

— А можно узнать, какая у вас специальность?

— Почему бы и нет? Я преподаватель зданиеведения, а кроме того, веду семинар по десемантизации, ну, малость еще копаюсь в разведывательной статистике — всякие там агентураллии, шифроматика, но это скорее хобби.

— Истинное совершенство похвал не боится, — вмешался Делюж. — Чтобы вы знали, профессор Барран — создатель теории глубокого проникновения, а его казуистика измены и прагматика изменничества рассматривает длинные серии триплетов и квинтуплетов, которые многим новичкам и не

снились... Ну, а теперь к оружию, коллеги, к оружию! *Nunc est bibendum!**

С этими словами он взял откупоренную крематором бутылку.

— Как же так... — спросил я растерянно, — снова пить?

— А вы не желаете? Жаль... зачем же мы тут собрались?

— Да, но... мы уже столько выпили... Вы меня извините, однако...

— Ничего, ничего. То не считается. Это был, понимаете ли, отвлекающий маневр, — снисходительно разъяснил толстый профессор. — Впрочем, теперь — никакой водки. Коньячок, мягкое вино, настоечки и все такое. Мозговые извилины надо прополоскать, чтобы лучше скользили...

— Ну, разве что так...

Бутылка начала кружить по столу. Благоговейно вкушаемый благородный напиток быстро поднимал настроение собравшихся, слегка подпорченное недавними происшествиями. Из завязавшегося разговора я узнал, что профессор Барран занимается, среди прочего, эллинистикой.

— Эллинистика? Такая отвлеченная дисциплина? — спросил я.

— Отвлеченная? Да что вы! А троянский конь, положивший начало криптохиппике?! А разоблачение Цирцеи Одиссеем?! А музыкальная маскировка сирен?! А изобличение пеньем и пляской, а Парки, а агентурный лебедь Зевса?!

— Кстати, — спросил Семприак, — вы знаете оперу «*Cadaveria rusticana*»?*

— Нет.

— Эллинистика — наша сокровищница! — тянул свое, не обращая внимания на крематора, Барран.

— Действительно... — согласился я. — А чем, позвольте спросить, занимается дисциплина, избранная господином профессором? Эта... десемантизация... простите, но я, по невежеству...

— Да за что же тут извиняться? Речь, видите ли, идет о сущности... Что такое наше бытие, как не вечное круговращение шпигов? Подглядыванье Природы... Спекулятором, кстати, в древнем Риме называли и ученого-исследователя, и шпиона-лазутчика, ибо ученый есть шпион *par excellence* и *par force****, это агент Человечества в лоне Бытия...

* Теперь надо пить (*лат.*).

** «Сельская трупарня» (*лат.*). Здесь обыгрывается название оперы П. Масканы «*Cavalleria rusticana*» (*ит.* «Сельская честь»).

*** По преимуществу и путем насилия (*фр.*).

Он налил. Мы чокнулись.

— Вы удивлены? Что ж, это *qualitas occulta** человека с самых давних времен. Средневековые знали шпикарни, именовавшиеся также шпионарниками... В других языках имеется «шпик», «эспион», «эспионизм» — художественное течение, весьма любопытное... на фресках можно увидеть длинные парящие ленты — на этих лентах ангелы строчили доносы... «Разведчик» и «ведун» происходят от одного корня: оба проникают в самую сердцевину вещей. Далее: «шпик» отсылает к «пику» — вершине, а так же к «пике», намекая на разум, который оттачивается и становится все острее в борьбе с природой, — ну, и тут же мы имеем слово «suspectus» — подозреваемый... суспеккланцибилистический... но о чем это я говорил? Коньячок мне путает карты... Ах да! Моя дисциплина. Так вот, дорогой мой, я только что говорил «значит» и «означает» — следовательно, мы подошли к значениям... а с ними надо поосторожнее! Человек с незапамятных времен только и делал, что наделял значением — камни, черепа, солнце, других людей, а наделяя значениями, создавал одно бытие за другим — такие как загробная жизнь, тотемы, культы, всевозможные мифы, испарения теплые и кислые, легенды, любовь к отечеству, несуществование, — так оно и шло; придаваемый смысл регулировал человеческую жизнь, был материалом, дном и рамкой, но вместе с тем и ловушкой, ограничением! Значения старились, отмирали, но следующему поколению не казалась потерянной жизнь предшествующего, которое распинаялось ради несуществующих богов, клялось философским камнем, вампирами и флогистоном... Наслаивание, созревание и истлевание значений считали естественным процессом, семантической эволюцией, пока не грянуло открытие, величайшее в истории, — впрочем, теперь этот эпитет опошлится, обесценился, теперь любую новую бомбу так называют, но вы должны мне поверить — пусть даже благодаря коньяку... Ага, ваше здоровье...

Он налил. Мы выпили.

— Итак? — сказал Барран, задумчиво улыбаясь и поправляя нос. — На чем же мы остановились? Десемантизация! Да! Это просто, очень просто: это лишение значений...

— То есть как? — глуповато спросил я и умолк, сконфуженный. Он этого не заметил.

* Сокровенное качество (лат.).

— Со значениями надо покончить! — твердо пояснил Барран. — История и так связала нас по рукам и ногам, заклеив все толстой корой толкований, значений, мистификаций; поэтому я не лущу атомы, не потрошу звезды, но последовательно, постепенно, тщательно и всесторонне вычитаю изо всего Смысл.

— Но разве не является это... в известном смысле... уничтожением?

Он испытующе взглянул на меня. Остальные зашептались и умолкли. Офицер у стены все храпел и храпел.

— С вами не соскучишься... Уничтожением? Ну что ж, когда вы что-нибудь создаете, ракету или новую вилку, — сколько из-за этого сумятицы, осложнений, сомнений! Но если вы только уничтожаете (я сознательно пользуюсь этим упрощенным определением, вслед за вами), то, как бы там ни было, это и просто, и надежно...

— Значит, вы... одобряете уничтожение? — спросил я, безуспешно борясь с глуповатой улыбкой, которая искривляла мой рот, но он давно уже был не мой и растягивался все шире.

— Э, это не я, это коньяк... — Барран тихонько чокнулся со мной. Мы выпили. — Впрочем, нас нет, — небрежно добавил он.

— То есть как?

— Известно ли вам, какова математическая вероятность того, что взятая наудачу в космосе кучка материи приобщится к процессу жизни, хотя бы в виде листа, колбасы или воды, которую выпьет живое существо? В виде горсточки воздуха, который оно вдохнет? Один к квадрильону! Космос безмерно мертв. Одна частичка из квадрильона может включиться в круговорот жизни, в цикл рождений и гниения, — что за неслыханная редкость! А теперь скажи-ка мне, какова вероятность приобщения к жизни уже не в виде пищи, воды или воздуха, но в виде зародыша? Если взять отношение всей материи космоса, ветшающих солнц, трухлеющих планет, этой пыли и сора, именуемого туманностями, этой гигантской прачечной, этой клоаки смердящих газов, называемой Млечным Путем, этой огненной ферментации, всего этого мусора, — к весу наших, человеческих тел, тел всех живущих, и подсчитать, какова вероятность того, что первая попавшаяся кучка материи, равная по весу телу, когда-либо станет живым человеком, — окажется, что эта вероятность практически равна нулю!

— Нулю? — повторил я. — Что это значит?

— А то, что все мы, сидящие здесь, не имели ни малейшего шанса появиться на свет, ergo — нас просто-напросто нет...

— Как, как? — Я терпеливо моргал — что-то заслоняло мне взор.

— Нас нет... — повторил Барран и вместе с остальными зашелся смехом.

Только тут я понял, что он шутил, — элегантно, научно, математически; засмеялся и я, из вежливости, потому что веселости никакой не чувствовал.

Пустые бутылки исчезали со стола, вместо них появлялись полные.

Я прислушивался к разговору ученых как прилежный, хотя понимающий все меньше и меньше слушатель. Я был уже по-настоящему пьян. Кто-то — кажется, крематор, — встав, произнес похвалу агонии как испытанию Сил. Профессор Делюж дискутировал с Барраном о дементистике и психофагии — а может, это называлось иначе? — потом толковали о каких-то новых открытиях, о *Machina Mistificatrix**; я пытался стряхнуть сонливость, сиделся преувеличенно прямо, но голова все время клонилась вперед; впадал в мгновенное оцепенение, отдалялся от говорящих и вдруг переставал их слышать, пока наконец какая-то реплика не отозвалась громко у меня в ушах.

— Готов? — внезапно спросил кто-то. Я хотел рассмотреть его и, поворачивая голову, почувствовал, как страшно я пьян. Я уже ни о чем не думал — теперь думалось мной. В облаке крошечных вспышек я ухватился за стол и по-собачьи положил на его край разгоряченную голову.

Перед самыми моими глазами была ножка рюмки, стройная, как у жеребенка; растроганный до слез, я тихонько шептал ей, что держал и буду держать ухо востро. Надо мной по-прежнему пили и разговаривали — поистине, несокрушимы были мозги ученых!

Потом все исчезло. Я, должно быть, заснул, не знаю, надолго ли. Очнулся я с головой на столе. Придавленная щека горела огнем, под носом были рассыпанные по скатерти крошки. Я услышал голоса.

— Космос... весь космос подделал... *thea culpra*... сознаюсь...

— Перестань, старик...

— Приказали мне, приказали...

* Механизм мистификации (лат.).

- Перестань, это пошло. Выпей воды.
- Может, не спит, — раздался другой голос.
- Э, спит...

Голоса смолкли, потому что я пошевелился и открыл глаза. Они сидели, как раньше. Из угла доносился пронзительный храп. Блики света, рюмки и лица плыли перед глазами.

— *Silentium!* Господа!

— Гаудеамус Исидор!

— *Nunc est Gaudium atque Bibendum!** — доносился до меня далекий гомон.

«Ну, и какая разница? — подумал я. — Точно так же, как те... Только что по-латыни...»

— Смелей, господа, смелей! — призывал Барран. — *Suaviter in re, fortiter in modo... Spectator debet esse elegans, penetrans et bidexter... Vivat omnes virgines***, господа!! Зданье — наше достоянье! Ваше здорovie!!

Все шло передо мною кругами: красное, потное, белое, худое, толстое — и сливалось с тем, что было вначале; раньше они орали «девицы!» — по-пьяному, гогоча, — «эх! милашки! сосочки! эх!» — а теперь «*Frivolitas in duo corpore, Venus Invigilatrix*»***, — почему все время одно и то же, одно и то же? Я пытался спросить, но никто не слушал меня. Они вскакивали, чокались, садились, запевали, вдруг кто-то предложил устроить хоровод и танцы, «уже было!» — сказал я, но они, не обращая на это внимания, увлекли и меня. «Туту-дурутуту!» — гудел толстый профессор, и мы змейкой, гуськом, один за другим, протопали вокруг комнаты, а потом через боковую дверь в большой зал; холод, сквозивший из каких-то темных провалов, несколько отрезвил нас — куда мы, собственно, попали?

Словно какой-то *Teatrum Anatomicum* для чтения лекций, в виде расширяющейся кверху воронки, на дне — возвышение, кафедра, черные доски, губки, мел, полки с банками; неподалеку от двери, на столе — другие банки, пустые, без спирта; я узнал их, они были из кабинета комендера — как

* Здесь и в предыдущих абзацах латинские обороты: «моя вина», «Молчание!», «Теперь время радоваться и пить!»

** По существу дела — мягко, по способам (действия) — твердо... Исследователю надлежит быть тщательным, проницательным и искушенным... Да здравствуют все девушки... (*лат.*) (последняя фраза — строка из старинного студенческого гимна «*Gaudeamus Igitur*», который обыгрывается также в одной из предыдущих реплик («Гаудеамус Исидор!»).

*** Вдвойне нелепость, Венера Бодрствующая (*лат.*).

видно, отсюда он их и брал. Какая-то почтенного вида фигура в черном приблизилась к нашему ритмично притопывающему кружку; крематор притормозил, изображая ртом выпускание пара. Я оторвался от поезда и стоял один, ожидая, что тут еще произойдет.

— А! Профессор Суппелтон! Приветствуем дорогого коллегу! — грянул Делюж так, что эхо отозвалось.

Прочие подхватили восклицание, перестали топтать и пританцовывать, обменялись поклонами, сердечными рукопожатиями; прибывший — в тужурке, седой, с галстуком-бабочкой — понимающе улыбался.

— Профессор Шнельсупп! Просим посвящения в низшие тайны: что это такое?! — загремел Барран, развязно перебирая ногами, точно хотел пуститься в пляс.

— Это... мозг, *membra disjecta*... — отозвался старец в черном.

Действительно, на столах стояли в идеальном порядке увеличенные части мозга — на подставках, белые, похожие на переплетенные кишки или абстрактные скульптуры. Профессор обмахнул перышком одну из них.

— Мозг?! — радостно выкрикнул Барран. — Тогда, господа, за эту гордость нашу! Ну, за мозг! — поднял он бутылку. — Но под этот тост надо выпить вакхически, буколически и анаколически!!

Он налил всем, во что только можно было, и принялся молитвенно читать этикетки экспонатов.

— О, вирус форникатус! — начинал он, а остальные хором подхватывали, смеясь до слез. — О, тубер цинереум! О, стриатум! Четверохолмие, вот что нам подавай!

— ...холмие!!! — зарычали они восторженно. Старец в тужурке по-прежнему не торопясь смахивал пыль, словно никого не замечая.

— О, турецкое седло! Хиазма оптикум! О, вирус! — распевал Барран. — О, восходящие пути! О, Варолиев мост!

— Ой, на мосту Варолия... — заголосил крематор.

— Мягкая оболочка! Твердая оболочка! Паутинная оболочка!!! — заливался Барран. — И вирус! Господа, умоляю, не забывайте о вирусе!

— Осторожно, тут формалин, — флегматично заметил профессор Шнельсупп или, может, Суппелтон.

— О, формалин, формалин! — подхватили они.

* Рассеченные члены (лат.).

Вообще они подхватывали все подряд. Снова построившись в поезд, они увлекли старого анатома, назначив его начальником станции, а его замшевую тряпочку — флажком, а я, прислонившись к ближайшей скамье, смотрел на это блуждающими глазами. Зал гудел эхом пьяных выкриков и топота, еле освещаемый снизу, — вогнутости его купола, темные, словно огромные пустые глазницы, казалось, неподвижно смотрят на нас. В трех шагах от меня, на металлическом стояке, застыл невзрачный, сгорбленный, весьма преклонного возраста, беззубый и потому особенно серьезный скелет с безропотно опущенными руками; на левой недоставало мизинца — ах! его отсутствие ужаснуло меня, я подошел ближе, заметив, что на груди у него что-то блестит. У ребра болтались на заушнике золотые очки...

Так вот он где! Так вот куда он добрался? Стал экспонатом почтенный мой старичок? Научным пособием? И это — наша третья, последняя встреча? Неужели все было только для этого, только для этого?..

— Хэй, — голосил Барран, — в твои руки, крематор-смотритель! *Niclosus, ubi Troia fuit!** Кошелки-лукошки! Снуппель-Шаппель-Траппельтон! Признайся: ты получил сегодня Орден *Denuntiatio Constructiva*** на Большой Висельной Ленте!!

— Осторожно... ой!! — простонал задыхающийся анатом; он мчался за остальными, подчиняясь силе, трепыхая разлетающимися фалдами тужурки. Увы, было уже поздно. Разогнавшаяся компания задела этажерку — с грохотом, со сверканьем выпуклых стекол все полетело на пол, из банок брызнули струи высокоградусного спирта, раскорячились вылетающие из них уродцы...

Запах сдерживаемой годами смерти за клубился по всему амфитеатру. Трое пирующих оробели и бросились в бегство, оставив анатома над грудой осколков. Я украдкой, вдоль стены, пробрался следом за ними. Двери хлопнули.

А в комнате ждали уже новые бутылки; как ни в чем не бывало, ученые бросились к ним, чтобы снова выпивать и наливать; почувствовав под собой спасительный стул, я понемногу стал засыпать, уплывая в гомоне, словно в море, в воспоминаниях у меня еще поблескивала проволочка, заушник очков, хотя нет уже уха, ах, жалость, жалость...

* Вот здесь была Троя (лат.).

** Конструктивного доносительства (лат.).

Вдруг все заслонил бледный, сверкающий потом, необычайно длинный призрак.

— Как...кое у вас...длин... нное лицо... про... фе... ссор... — сказал я, стараясь не споткнуться на каком-нибудь слогe.

Голову я положил на стол, как на подушку. Барран, с сонной и наполовину злорадной ухмылкой, перекошенной влево, зашептал:

— Только червяк способен по-настоящему быть червяком...

— Какое у вас лицо... — повторил я тише, тревожней.

— Что там лицо... Знаете кто я?

— А как же... профессор Барран... проникно... венец...

— Не будем о проникновении... это Делюж... видите ли... я веду дело об отстранении от должности...

Я попытался встать, хотя бы выпрямиться, но не мог, а лишь повторял:

— Что? Что?

— Да, дело об отстранении от должности.

— Меня?

Он усмехнулся левой щекой — правая оставалась печальной.

— Нет, не вас, а Того, Который в шесть дней... а на седьмой перевел дух...

— Это... шутка?

— Какая там шутка! Мы проверили... есть тайники... в темных туманностях... в головах комет с двойным дном...

— А, ну да... известное дело... — успокоенно бормотал я. — Госпо... господин профессор...

— Да?

— Что такое... триплет?

Он обнял меня и стал нашептывать проспиртованным дыханием:

— Я скажу тебе. Ты хоть и молодой, но зданьевец... и я зданьевец... так что — не скажу тебе? Скажу, все скажу... Тут дело такое. К примеру — есть зданьевец. Наш. Ну, а если кто-то наш, то по чему это видно, а?

— По тому, что... видно, — проговорил я.

— Ага! Прекрасно! А если видно, можно и сделать вид. Тот, кто делает вид, будто он настоящий зданьевец, тот, значит, так: был наш — потом вербанули его, заагенти́ли, подкупили *те*, а потом наши его цап! — и обратно переагенти́ли. Но перед теми — чтобы не выдать себя — он по-прежнему делает вид, что у нас только делает вид, будто зданьевец. Ну, а потом те опять берут верх и обратно его

перетягивают, еще раз, — тогда перед нами он делает вид, что перед теми делает вид, что перед нами делает вид, понял?! Это и есть триплет!!!

— Это... несложно, — сказал я. — А квадруплет значит — еще раз его?

— Ну да! А ты башковит, однако... хочешь, теперь же тебя вербану?

— Вы?

— Я...

— Госдин... профессор?

— Ну так что, что профессор? Я курирую агентурантуру.

— Туда — или обратно?

— А тебе-то что?

— Ну... все-таки... как-то...

— Ой, ты... держишь ухо остро... повышение бы тебе... другой бы подумал: хлопоушник, а он востряк! Тю! тю! — Он с отцовской ласковостью тыкал меня в бок пальцем. Он как-то страшно состарился, то ли от недосыпа, то ли еще от чего.

— Даже щекотки не боишься? — продолжал он, с понимающим видом прищуриваясь. — Да ты просто хват! Что такое Галактоплексия, знаешь?

— А что? Викторинка?

— Ага. Не знаешь? Конец света, вот что, ха-ха...

Неужели в их пьяном сознании чиновники брали верх над профессорами? — промелькнуло у меня в раскалывающейся от боли голове: Барран уставился в меня холодным, горящим взглядом.

Кто-то из-под стола поскреб мне ногу. Из-под скатерти рыжей щеткой вынырнула голова крематора; он неуклюже, но решительно лез ко мне на колени, повторяя:

— До чего же приятно, когда старые друзья друг дружку допытывают! Слово розовый лепесток лижешь, а? На мякине... того... провести...

Я пробовал освободиться, но он припал ко мне, обнял за шею, шепча:

— Приятель, смотри в оба. Братец родимый. Я для тебя все, что хочешь... весь мир для тебя спалю... до последней крупинцы... скажи только слово, я для тебя...

— Да пустите же... Господин профессор... господин крематор снова лезет целоваться, — повторял я, бессильно борясь с ним. Он висел на мне как мешок, колот в щеки щетиной, кто-то его оттаскивал, он пятился задом, по-рачьи, уже в отдалении показывая мне десертную тарелку, которую держал в руках.

«Тарелка, что такое тарелка, о чем говорит тарелка? — лихорадочно думал я. — Об этом уже что-то было... где? Боже праведный! Сервиз! Кто говорил «сервиз», что значит «сервиз»?!»

Начался всеобщий переполох. Нас стало как будто бы больше, но это просто все повскакали с мест. Посередине, на стуле, отодвинутом от стола, сидел толстый профессор с мокрой тряпкой на лысине; мощная икота подбрасывала его; в тишине, которая вдруг наступила, ее ритм сливался с мерным храпом беспробудно спящего в углу офицера.

— Напугать! Устрашить!!! — закричали вокруг.

Я встал, захваченный общим движением. Мы обступили толстого профессора. Я пошатывался. Толстяк смотрел на нас неуверенно, руками просил о помощи; всякий раз, когда он хотел что-то сказать, ужасная икота обрывала начатое слово. С выкаченными глазными яблоками, весь посинев, он дрожал так, что стул под ним скрипел.

— Наめкает!! — прошипел, вслушиваясь в икоту, крематор, поднимая тарелку вверх. — Слышите?!

— Нет! Н-н-ет!! — пытался защищаться толстяк, но его протесты задавил еще более мощный приступ икоты.

— Э, братец, да ты сигнализируешь?! — крикнул ему в лицо Барран. Он судорожно сжимал мою ладонь.

— Не-е-ет!!

— Считать!! — завизжали все.

Приглушенным хором, бормоча, мы считали приступы икоты:

— Одиннадцать... двенадцать... тринадцать...

— Изменник! — прошипел в промежутке крематор.

Толстяк синел, принимая все более темные оттенки. На лысине крупными горошинами проступал пот — казалось, что страх, от которого он весь дрожал, выжимает его череп, словно лимон.

— Тринадцать... четырнадцать... пятнадцать...

Замерев, я ждал, не чувствуя собственных пальцев, сдавленных страшным усилием. Толстяк со стоном сунул кулак в рот, но икота, подавленная и потому еще более громкая, отшвырнула его на спинку стула.

— Шест...

Толстяк затрясся, закашлялся и добрую минуту не дышал. Потом его набрякшие веки поднялись, и на складчатом лице разлилась умиротворенность.

— Спасибо... — прошептал он, — спасибо...

И снова мы как ни в чем не бывало вернулись к столу. Я

был пьян и знал об этом, но пьян был иначе, чем прежде. Движения стали свободнее, говорить я тоже мог без особого труда, настороженная, притаившаяся часть моего сознания куда-то исчела — а я отнесся к ее исчезновению с беспечным самозабвением.

Я не успел оглянуться, как Барран втянул меня в диспут о Здании и его зданчатости. Сперва он спел мне песенку:

— Смысл Зданья — в Антизданье, Антизданья — в Зданье! Аминь!

Потом рассказал парочку анекдотов из области содо-мистики и гоморрологии. Я уже не обращал внимания на тарелку, которую издалека тыкал мне в глаза крематор.

— Знаю! — разудало закричал я. — Сервиз! Понимаю, подставка! Понимаю, ну и что? Что мне кто сделает? Профессор — свой в доску! А я — вольная птица!

— Птаха ты моя внештатная... — вторил мне басом худой, и хлопал по колену, и улыбался умильно, левой щекой, расспрашивая о моих шпионских успехах, о том, как я чувствую себя в Здании. Я принялся рассказывать о том и о сем.

— Ну, ну, и что было дальше, ну? — любопытствовал он.

Я уже выкладывал ему все, по секрету от прочих — в них я еще не был совершенно уверен. О проповеднике Барран сказал по-французски: *abbé provocateur*^{*}, а историю злато-окого старичка прокомментировал лаконично:

— Да, неверную позицию он занял в гробу, ошибочную. Поделом ему!

Семприак в конце концов отошел от стола и о чем-то словно бы совещался с толстяком, который поливал лысину из стакана.

— Сговариваются... — показал я на них глазами Баррану.

— Глупости! — отмахнулся он. — Ну, а потом что? Что тебе доктор сказал?

Он внимательно выслушал меня до конца, перевел дух, торжественно пожал мою свещенную правую руку и сказал:

— Горюешь, а? Не надо, брось, ради Бога! Погляди на меня: пьяный вдрызг. Пья... не... нький!! Протрезвевши — дело другое, но теперь нет у меня от тебя секретов. Я твой, ты мой! Знаешь с кем ты имеешь дело? Не знаешь!

— Ты уже говорил. Преподаешь...

— Ба, это только так... в свободные минуты. Я прикомандирован к трансцендентным делам. Не из-за отсутствия скромности, но из любви к истине говорю тебе: la

^{*} Аббат-provokator (фр.).

maison — c'est moi*. Теперь следи внимательно. Триплет, квадруплет, квинтулет — это все чепуха, глупости. Ребячество. Ребенок рыбы, фарш с лучком. Дежурный соус, одним словом. Есть Здание, верно? И есть Антиздание. Оба повидавшие виды. Века уже так!! И все — понимаешь? — перевербованное. Здание — целиком — состоит из вражеских агентов, а все Антиздание — из наших!!

— Это шутка? — попытался я приуменьшить ошеломительность его нашептываний.

— Не прикидывайся идиотом! Однако же, обрати внимание, хотя кругом, на всех стульях, заагентурились и позаменялись, и *эти* только прикидываются нашими, а *те* — теми, существо дела от этого не меняется вовсе!!

— То есть как?

— А так, что Здание по-прежнему стоит и держится неколебимо благодаря сухожилиям своей структуры! Перевербовка шла годами, агент за агентом, так что форма осталась совершенно нетронутой! Все те же звания, назначения, премии за разоблачение, все те же приказы, уставы, законы об охране служебной тайны — нарастали они веками, а столоначальствование, кабинетхождение и бумаговращение такими печатями ограждены, такая кругом подписания и бюрокрандия, что верность Зданию перешла в структуру его, в его скелет, из кости в кость; вот и выходит, что шпионская честь, и «за родину», и «ради сохранения основ», и «не щадя сил», и «бдительность», хотя и полые совершенно внутри, — по-прежнему действуют!!

— Не может быть... — Я весь дрожал.

— Может, мой милый, может.. Смотри: при внедрении, подкупе, вербовке главное — полная секретность, чтобы внедренного агента не засыпать, не выдать, так что о каждом агенте оттуда, который работает здесь, *там* знает только один сотрудник; и то же у нас; поэтому, не зная ничего достоверного о своих подчиненных и начальниках, каждый на своем месте должен стараться вовсю, отдавать приказы, и выполнять, и ведомости составлять, и происки вражьих выслеживать, преследовать, пресекать и до корней выжигать; так и действуют они сообща на благо Здания... и, хотя при этом выкрадывают, копируют, переснимают и переписывают, что только можно, делу это ничуть не вредит, ведь все, что посылается *туда*, в Антиздание, попадает в руки наших людей...

* Здание — это я (фр.).

— И наоборот? — прошептал я, пораженный этой гигантской картиной.

— И наоборот, увы, тоже. Ты, брат, смекалист!!

— Как же так, а эти... перестрелки, битвы? Эти... разоблачения? — спрашивал я, уставившись в черные, блестящие зрачки длинного, скривившегося лица, теперь уже угрюмого, хотя в левом уголке рта дергалось что-то утаиваемое. Я не обращал на это внимания.

— Ну да, провалы бывают. Разоблачения? Что ж, надо себя выказывать, есть нормативы, планы, я говорил тебе о триплетах, помнишь? Однако же в Здании все идет заведенным порядком, в том числе вербовка агентов и резидентская деятельность, прекратить ее нельзя, а провалы случаются, когда тот, кто делает вид, будто делает вид, перевербован на один лишний шаг, — скажем, дублет разоблачает триплета или квадруплета; трудности, к сожалению, растут, потому что попадают уже шестерочники и даже, говорят, семикраты из наиболее рьяных...

— А тот бледный шпион, что он делает?

— Не знаю, не знаю, должно быть, вольный стрелок, такой, знаешь ли, занафталиненный господин, шпик в годах, либерал, любитель анахронизмов — из тех, что на свой страх и риск мечтают перехватить некий единственный, наисекретнейший, наиважнейший Документ... Это все пустые фантазии — только коллективно можно что-нибудь сделать, и он об этом прекрасно знает, потому и психует...

— А мне что делать?

— Прежде всего — к чему-то примкнуть. Упаси Бог от эскапизма какого-нибудь. «Ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов», понял? — продекламировал он.

Крематор снова показал на тарелку. Я нетерпеливо от него отмахнулся.

— Но конкретно?

— Ну, надо бы малость засыпаться, погореть, пару секретиков цапнуть, шах-мат, тут-то ты и получишь настоящую цену...

— Ты думаешь? Погоди... одного я никак не пойму... Как ты можешь все это знать, если кругом такая секретность и никто ничего не знает? Да оставьте же вы меня в покое! — оттолкнул я руку крематора, который подошел ко мне. — Знаю, знаю, сервис, подставка, пожалуйста, не мешайте! Откуда ты-то об этом знаешь?

— О чем «об этом»?

— Ну как же, ты мне только что говорил...

— Я ничего такого не говорил.

— Как это? Что обе разведки друг дружку выпотрошили и вовнутрь запихнули отступников, что кругом сплошные предатели, что Здание обменялось кадрами с Антизданием и теперь, предавая, всего лишь предаешь предательство. Я хочу понять, откуда можно об этом узнать?

— Откуда? — переспросил он, стряхивая какую-то крошку с колен. — Понятия не имею.

— То есть как это... а ты?

— Что за «ты»?! — Он смерил меня взглядом. Мы уже перешли на повышенный тон. Сделалось тихо. Удивительно тихо.

— Ну... вы...

— Что я?! — рявкнул он.

— Откуда... откуда вам об этом известно?

— Мне? — сказал он, отвратительно кривясь. — Мне ничего не известно...

— Но ведь... — начал я, бледнея, но слово замерло у меня на губах. Лежавший у стены — он перестал храпеть еще раньше, но лишь теперь это дошло до моего сознания — открыл глаза и проговорил:

— Чудненько, чудненько...

Он встал, потянулся затекшими членами, сбросил пижаму, поправил пояс, обтянул на себе мундир, подошел к нам и остановился в двух шагах от стола.

— Готовы ли вы показать, что присутствующий здесь штатный сотрудник Барран, он же профессор десемантизации, он же Статист, он же Плаудертон, произносил ложные и клеветнические измышления о Здании, тем самым косвенно склоняя вас к тягчайшей измене, антисубординации, деагентуризации, расшпиониванию и распровокатированию, а равно сделал вас сообщником своих клеветнических поползновений, происков и фальсификаций?

Я переводил глаза от одного к другому. Толстяк поглаживал свою белую шею. Барран, втянув голову в плечи, глянул в мою сторону побелевшими глазами. Только крематор сидел, повернувшись к нам спиной, склонившись над тарелкой, вглядываясь в нее, словно не желая принимать к сведению того, что случилось.

— Именем Здания предлагаю вам помочь следствию! — сурово произнес офицер. — Что вам известно об измене присутствующего здесь Баррана?

Я слабо покачал головой. Офицер сделал шаг вперед, наклонился надо мной, словно потеряв равновесие, и еле слышно шепнул:

— Дурачок! В этом и состоит твоя Миссия... Вы хотели что-то сказать? Слушаю! — отчеканил он прежним голосом, отступая к столу.

Я в последний раз посмотрел на остальных. Они отвели глаза. Барран дрожал.

— Да! — прохрипел я.

— Что «да»?

— Он говорил, но так, вообще...

— Склонял к измене?

— Нет! Не склонял! Клянусь! — застонал Барран.

— Молчать! Продолжайте!

— Он говорил что-то в том смысле, что мне надо бы избавиться от излишней шепетильности...

— Я спрашиваю, склонял ли он вас к измене?

— В каком-то смысле — возможно... но...

— Отвечайте ясно: склонял или не склонял? Да или нет?!

— Да... — прошептал я, и после секунды мертвой тишины разразился ураганный хохот. Апоплектик, держась за живот, подпрыгивал вместе со стулом, Барран гоготал, а офицер-аспирант, тряся приподнятыми в приступе смеха плечами, кричал, захлебываясь от радости:

— Освинячился! Свинтус! Предал! Продал!

— Свинтус, свинтус, драный фикус!! — затагнули они нараспев, но им мешали все новые и новые приступы смеха.

Барран успокоился первым. Торжествуя, он скрестил на груди руки и поджал губы. Один лишь крематор все это время сохранял спокойствие, наблюдая за происходящим с еле заметной, приклеенной ко рту, иронической усмешкой.

— Довольно! Довольно!! — взял наконец слово Барран. — Нам пора, коллеги!

Они начали вставать. Толстяк отстегивал обвисшую, такую подозрительно белую шею, молодой офицер с видом человека, утомившегося после тяжелой работы, шумно полоскал рот минеральной водой — они даже не смотрели в мою сторону, как будто я перестал существовать. Губы у меня дрожали, я открывал и закрывал рот, не находя слов. Барран взял из угла свой портфель с термосом и костюм, перебросил его через плечо и вышел широким, напряженным шагом, взяв апоплектика под руку. Я видел, как они, преувеличенно вежливые, еще переминались у двери, уступая друг другу дорогу.

Задержавшийся на минуту крематор, проходя мимо меня, красноречивым и гневным жестом показал на оставленную у края стола тарелку, словно бы говоря: «Я же давал знаки! Предупреждал! Ты сам виноват!»

Я остался с черноволосым офицером. Собственно, и он уже хотел уходить, но я медленно поднялся со стула и загородил ему дорогу. Он застыл под напором моего взгляда.

— Что это было? — Я схватил его за плечо. — Развлечение? Демонстрация? Как вы могли?!

— Ну, знаете... — возмутился он, освобождая руку. Он посмотрел мне в глаза и, отведя взгляд, словно бы в некотором смущении, добавил: — Это была «Луковица».

— Что?!

— Ну... так называется метод, который мы применили... научная методика не перестает быть точной, даже если она используется для шуток...

— Для шуток? Так это была шутка?!

— Вы... вы очень недоброжелательны... мне тоже было не слишком приятно лежать и храпеть так долго. Что поделаешь — служба, — нескладно защищался он.

— Да скажите же вы мне наконец ясно, что все это значило?!

— Ах, Боже мой... нельзя же вот так, попросту... в известном смысле... конечно... шутка, невинная шутка, для вас, разумеется, без каких-либо последствий, — возможно, профессор хотел незаметно проверить реакцию...

— Мою?!

— Да нет же! Господина Семприака... простите... ей-Богу простите... пожалуйста, не задерживайте меня. Во всяком случае, уверяю вас — это пустяк... совершенный пустяк...

Не глядя на меня, он шаркнул ногой, как школяр, и вышел, вернее, выбежал, на ходу стукнув пальцем в шкаф, стоявший неподалеку от двери.

Я остался один, среди отодвинутых, брошенных стульев, у стола, являвшего собой отвратительное, тошнотворное зрелище: огрызки, грязные тарелки, винные пятна на скатерти. В тишине послышался мягкий стук. Я окинул глазами комнату — пусто. Стук не прекращался, упорный и монотонный. Я прислушался. Он доносился из угла. Я медленно пошел туда. Один, два, три, четыре удара, как будто кто-то пальцем обстукивал дерево. Шкаф!

Ключ торчал в замке. Я повернул его. Дверцы, без моей помощи, медленно растворились. Внутри сидел, сложившись чуть ли не вдвое, отец Орфини, в сутане, наброшенной на

мундир, не до конца застегнутой снизу, со стопкой исписанной бумаги на коленях. Он не смотрел на меня, продолжая писать. Поставив точку, высунул ноги наружу, поднялся с табуретки, которая стояла на дне шкафа, и вышел оттуда, серьезный и бледный.

XII

— Подпишите. — Он положил бумагу на стол.

— Что это?

Я все еще стоял в позе, выражавшей удивление, прижав руки к груди, будто защищаясь от чего-то. Бумаги лежали на грязной скатерти, рядом с одной-единственной чистой тарелкой, оставленной крематором.

— Протокол.

— Какой протокол? Признание? Меня оговорили еще раз?

— Нет. Это просто описание — и застенографированные высказывания, ничего больше. Подпишите.

— А если я откажусь? — не глядя на него, бросил я. Медленно уселся на стул. В голове лопались тягучие, липкие нити боли.

— Это только формальность.

— Нет.

— Хорошо.

Он собрал бумаги со стола, сложил их, засунул в карман мундира, застегнул пуговицы сутаны и — на моих глазах — снова стал всего лишь священником. Потом посмотрел на меня, словно ожидая чего-то.

— Вы сидели там все это время? — спросил я, пряча лицо в ладони. После водки остался какой-то мутный осадок во рту, в горле, во всем теле.

— Да.

— А не душно было? — сказал я, не поднимая головы.

— Нет, — спокойно ответил он. — Там есть кондиционер.

— Рад за вас.

Я был так разбит, что не стал говорить, что я о нем думаю. Левая нога стала тихонько дрожать. Я не обращал на нее внимания, сидел, уткнувшись лицом в ладони.

— Я хочу рассказать тебе, что тут произошло, — произнес он негромко, склонившись надо мной. Выдержал паузу; но так как я не отзывался и даже не шевельнулся — только нога дрожала произвольно, как заведенный механизм, — продолжил: — Эта «шутка» была финалом борьбы Баррана с Семприаком. Ты должен был решить ее исход. Аспирант

играл роль, отведенную ему Барраном. Делюжу предназначалась лишь роль свидетеля. Барран устроил все на свой страх и риск и искал кого-нибудь, кто подошел бы для этой игры. О тебе он узнал, должно быть, от доктора, который его лечит. Больше мне ничего не известно.

— Лжешь, — тихо сказал я сквозь сложенные руки.

— Да, лгу, — повторил он, как эхо. — Почему? Это была самочинная интрига Баррана. Делюж, однако, уведомил о ней Секцию. Будучи приобщена к другим документам — без ведома Баррана, по доносу Делюжа, — интрига стала частью делопроизводства Секции. Об этом знали только ее начальник и я, посланный им, чтобы запротоколировать все, что здесь произойдет. Так это выглядит в первом приближении. Но аспирант сделал нечто непредусмотренное: выходя, постучал в шкаф. Стало быть, знал, что я там. Из присутствующих обо мне не знал никто. Аспирант не мог получить такого приказа от начальника Секции, так как не подчинен ему. А значит — как указывает этот стук, — он действовал по приказу откуда-то сверху. Тем самым он вел двойную игру: перед Барраном, своим начальником, делал вид, будто подслушивает, а в то же время через голову Баррана контактировал с каким-то более высоким начальством. С какой целью ему велели постучать? Я должен был запротоколировать все, а значит, и стук. Начальник Секции, прочитав мой рапорт, поймет, что не следует начинать дисциплинарное разбирательство об участии аспиранта в интриге, затеянной Барраном, ведь аспирант, постучав в шкаф, дал понять, что уполномочен более высоким начальством, выполняет официальный приказ, а не пособничает Баррану в его самовольной интриге. Итак, операция проводилась на трех уровнях сразу: как игра Баррана против Семприака, как дело «Барран, Семприак и другие», контролируемое, при моем посредничестве, Секцией по личному приказу начальника, и наконец как дело еще более высокого порядка, в котором аспиранта можно не брать в расчет, ибо за ним стоит уже кто-то не из Секции, а из Отдела.

Но и это еще не все. Почему Отдел, вместо того чтобы связаться с Секцией, пошел таким окольным путем — о своем участии в деле известил лишь стуком в шкаф? Тут вторично выходит на сцену Барран. Быть может, то, что Семприаку и Делюжу он выдавал за свою собственную, самочинную затею, на самом деле было согласовано с Отделом, а целью так называемой интриги была не победа над Семприаком в

научном споре о достоинствах операции «Луковица», но полное уничтожение Семприака, а может быть, и других участников пирушки. Для этого надо было узнать, кто из них нарушит главную заповедь благонадежности и не напишет доноса о происках Баррана. Итак, проверка на благонадежность — четвертый, совершенно новый аспект дела. Есть и пятый, ведь доносов, по всему, было два: профессора Делюжа — в Секцию, и аспиранта — в Отдел (иначе Отдел не мог бы приказать ему стукнуть в шкаф).

Но сейчас меня больше интересует донос Делюжа. По уставу операция находилась в компетенции Отдела, и аспирант поступил правильно, донеся именно туда. Вместе с тем, уж кто-кто, а профессор Делюж хорошо знал, что делает. Раз он написал донос именно в Секцию, а не в Отдел, значит, так ему было велено. Выходит, он просто-напросто выполнил приказ сверху — разумеется, приказ Отдела. Для чего это было нужно Отделу? Ведь он уже задействовал сразу двоих — Баррана и аспиранта. Зачем понадобился третий? Чтобы проверить, как Секция поступит с доносом, попавшим к ней не по уставу? Но Секция все равно переправила бы его в Отдел — так она и поступила, одновременно послав на место своего человека, то есть меня. Как бы то ни было — Делюж тоже оказывается агентом Отдела. Стало быть, единственным человеком, который, отвечая на брошенный Барраном вызов, действовал самостоятельно, был Семприак. Заметь, однако: он пытался тебя предостеречь, намекнуть, что знает о фиктивности всей этой сцены и что искренние, как тебе казалось, советы и излияния Баррана — всего лишь хитроумный ход, «подставка». Так вот: влиять каким-либо образом на твое конечное решение, в том числе — подавать любые предостерегающие знаки, строжайше запрещалось правилами игры, а я эти правила знаю из доноса Делюжа. Выходит, Семприак, показывая тебе подставку, нарушил правила. Зачем? Чтобы выиграть? Нет — такой выигрыш не был бы, конечно, засчитан. Впрочем, ты в своем ослеплении не оценил важности знаков, которые тебе подавали... Во всяком случае, крематору не было никакого смысла предостерегать тебя, заведомо отказываясь от выигрыша. И все же он это сделал, как бы назло себе самому. Зачем? Разумеется, затем, чтобы дать понять Баррану, что фиктивный характер интриги, подстроенной Барраном вместе с Отделом, для него вовсе не тайна. А узнать об этом он мог только от начальства. Значит, все присутствовавшие (кроме меня, но я сидел в шкафу) были подосланы Отделом...

— Я — нет...

— Ты тоже! Чай был переслащен!

— Что, что?

— Чай, которым тебя приводили в чувство, был переслащен, ты весь стал липкий и вынужден был согласиться на купанье; тогда у тебя забрали одежду, ты надел купальный халат, а от халата недалеко уже до пижамы; впрочем, доктор ни за что не решился бы подsunуть тебя Баррану на свой страх и риск! Доктор подчиняется Отделу, ерго, ты, как и все остальные, был здесь человеком Отдела. Тебе понятно, что это значит?

— Нет...

— Нет? Поскольку Семприак, показав тарелку, лишил себя возможности выиграть, никакого поединка не было. Раз и он, и те двое были фигурами одной и той же стороны, значит, второй не существовало вообще! Жестокий розыгрыш, затеянный Барраном, в действительности был устроен самим Отделом!! Вижу, ты мне не веришь...

— Нет.

— Ну конечно! С чего бы? Как это, думаешь ты, Отдел, могущественный Отдел устраивает какие-то розыгрыши? Проказы? Этого не может быть — тут кроется какой-то глубокий смысл... Но хотел подшутить над тобой лишь Барран, а не Отдел — тот посмеялся над всеми! Странная шутка? Это как посмотреть. Обычно, не видя смысла в чем-либо изумительно совершенном, мы усмехаемся. Другое дело, если *это* крайне велико... Взять хоть бы Солнце с его скрученными как папильотки протуберанцами или галактику со всем болтающимся по ней мусором — разве не похожа она на скособоченную карусель? А метагалактика с ее космами? Можно ли всерьез позволить себе уходить в бесконечность? А ералаш созвездий! Но разве ты видел хоть одну карикатуру на Солнце или галактику? Нет, над ними мы смеяться побаиваемся, а то еще окажется, что насмешка эта не наша, а над нами... И вот мы делаем вид, будто ведать не ведаем о том, что Космос неразборчив в средствах; впрочем, мы говорим: он таков, каков есть, он есть все, а все не может быть шуткой, ведь это нечто колоссальное, невообразимо громадное, а значит, это — всерьез... Ах, громадность — до чего же мы ее чтим! Даже дерьмо, если соорудить из него гору, вершина которой скрывается в облаках, вызывает в нас уважение и легкую дрожь в коленках. Так что не буду настаивать, что это был розыгрыш. Да и тебе бы хотелось, чтобы это было всерьез, верно? Думать, что пытаются тебя

между делом, что никто твоих страданий не наблюдает, пусть даже с дьявольской усмешкой, что никто их, в сущности, не хотел и они никому не интересны, — было бы для тебя нестерпимо. Конечно, лучше уж тайна, чем бессмыслица. В тайне ты можешь поместить что угодно, и прежде всего — надежду... Вот, пожалуй, и все. Добавлю только, что, говоря об Отделе, я упростил картину. Нити ведут к нему, но на нем не кончаются, а идут дальше, захватывают все Здание. Это оно было автором «розыгрыша». Оно или, если угодно, никто... Вот теперь ты знаешь все...

— Я знаю одно: ты сказал лишь то, что тебе было велено...

— Если я начну возражать, ты не поверишь, и правильно сделаешь: я ведь и сам не знаю, правду я говорю или нет...

— Ты? Как ты можешь не знать?

— После всего, что ты от меня услышал, ты мог быть подogaдливей. Я — если ты это имеешь в виду — не получил такого приказа, но, может быть, его получил мой начальник и выбрал меня — по приказу, а не вопреки ему. Слушай: я не знаю, что такое Здание. Может быть, Барран не лгал. Может быть, обе переплетенные намертво разведки действительно поглотили друг друга. Может быть, это безумие не людей, но организации; которая, чрезмерно разросшись, где-то далеко-далеко наткнулась на собственные ответвления, вгрызлась в них, вернулась к собственной сердцевине и теперь точит сама себя и разъедает все глубже. Может быть, то, другое Здание не существует вообще... разве только как оправдание самоедства...

— Кто ты?

— Священник, ты же знаешь.

— Священник? И ты это мне говоришь? Ты выдал меня Эрмсу! Зачем ты носишь сутану? Чтобы скрыть мундир!!

— А зачем ты носишь тело? Чтобы скрыть скелет? Ну почему ты не хочешь понять? Ведь я ничего не утаиваю. Да, я выдал тебя... Я выдал тебя, но тут все только видимость — даже измена, даже преступление; всеведение — тоже, оно не только невозможно, но и не нужно, раз достаточно его имитации, фантома, сотканного из доносов, намеков, бормотанья во сне, клочков, выловленных из клоаки, перископов... Не всеведение важно, но вера в него...

«Наверно, они не хотели, чтобы он сказал и это тоже...» — успел я подумать, а он, бледнея, продолжал шипящим, словно от ненависти, шепотом:

— Ты все еще веришь в мудрость Здания!!! Ну как мне тебя убедить? Ты видел главнокомандующих? Это тупые,

бородавчатые, глухие стариканы-склеротики на вершине пирамиды, и всё... Взгляни!

Он достал из кармана камешек, отшлифованный от долгого ношения в брюках и поворачивания в пальцах, блестящий, с одного конца крапчатый, как яичко.

— Видишь? Дурацкий камушек! Взгляни на эти глупые крапинки... На эту дырочку... Но возьми миллион, триллион таких камушков, и пространство окружит их, налетит ветер, упадут на них лучи звезд, и из кучи выползет — совершенство... Кто дал приказ звездам? Кто?! Точно так и Здание...

— Ты хочешь сказать, что Здание — это Природа?

— Нет! Между ними нет ничего общего, за одним исключением: то и другое совершенно. О, ты думал, что заточен в лабиринте зла, что все тут имеет значение, что кража планов — ритуал, поэтому Здание уничтожает их, упраздняет и снова творит, все больше и больше, чтобы больше уничтожать, — и это казалось тебе мудростью зла... Вот ты и вытворял умственные кульбиты, и плясал, полагая, что пляшешь под Высшую Дудку; ты себя самого рад был согнуть в отмычку, в крюк своей же гибели, в знак, который поможет тебе решить уравнение кошмара, но это не так! Слышишь? Нет ни плана, ни уравнения, ни ключа, ничего — есть только Здание. Есть — только — Здание...

— Здание? — повторил я, чувствуя, что волосы у меня встают дыбом.

— Здание, — как эхо, подкрепил он мой страх. Он тоже дрожал всем телом. — Это не мудрость, а всего лишь слепое, вездесущее совершенство, самочинно возникшее; оно не в людях, хотя состоит из людей, — оно вышло из междулюдья. Слышишь? Людское зло мелковато, ущербно, а тут возникла громада... Горы пота! Моря урины! Гром агонии, миллионногрудый хрип! Дерьмо столетий — опора! Тут ты можешь утонуть в людях, можешь удавиться ими, исчезнуть в людской пустыне, так-то, брат! Взгляни-ка: люди, не переставая помешивать чай, ненароком разорвут тебя на куски и, болтая о пустяках, ковыряя в зубах, будут мало-помалу мурыжить твой труп и чай на нем заваривать... и станешь ты безволосой, затрепанной куклой, тряпкой, желтой погремушкой, мусорным совком в грязных слезах, брошенным в угол... Так действует самородное совершенство — не мудрость! Мудрость — это ты, ты сам, или — вдвоем! Ты и этот другой, а меж вами — мост праведных молний из глаз в глаза...

То, что он говорил, бледный как смерть, обливаясь потом, казалось мне все более знакомым. Я уже слышал что-то похожее. Вдруг я вспомнил: то же самое он проповедовал с амвона; и там было о людях, которые чем-то там давятся, и о зле как о дьяволе... а брат Персвазий сказал, что проповедь была провокацией, что отец Орфини провоцировал...

— Как я могу верить? — сказал я с мукой в голосе.

Он задрожал.

— Слушай!! — кричал он шепотом. — Ты разве не видишь: то, что на одном уровне будет беседой или шуткой, на другом оказывается дисциплинарным проступком, на третьем — сведением счетов между Отделами, а если ты потянешь эту ниточку дальше, она растворится у тебя в руках, след впитается в стены, ведь всякий след тут ведет во все стороны сразу!!

— А ты это понимаешь?

— Понимаю, что же тут непонятного. Измена необходима, но Здание существует для того, чтобы сделать ее невозможной, значит, надо сделать невозможной необходимость. Как? Уничтожая истину. Измена становится тщетной, если истина всякий раз оборачивается одной из масок лжи. Поэтому тут нет места ничему, что было бы твоим собственным, — ни последовательному отчаянию, ни добротному, толковому преступлению, которое сделало бы тебя по-настоящему виноватым, заклеило раз навсегда. Слушай! Давай сговоримся! Устроим заговор, тайный союз! И тем самым освободимся!!

— Ты с ума сошел!

— Нет! Если мы поверим друг другу — спасемся. Я верну тебе тебя, а ты отдашь мне меня. Только так мы станем свободными!!

— Нас схватят!

— Возможно. Что ж — тем более мы должны это сделать. Веруя в неудачу с первой минуты, мы искупим друг друга! Я буду умирать за тебя, ты — за меня, и уж это-то будет истинным, уж этого они не подделают, ты понимаешь?! Ты будешь распят с разбойником и негодяем, потому что я негодяй! Да! Мне приказали втянуть тебя в заговор... Я провокатор...

— Что?! Что ты сказал?!

— Так ты и теперь... и теперь еще не понимаешь? Я священник, и потому провокатор! Здесь священник только как провокатор может сказать то, что я тебе говорил!! Мне приказали в убеждении, что ты согласишься...

— Опомнись! Как я могу согласиться?!

— У тебя нет иного выхода. Так они полагают. И это правда. У тебя уже нет сил. Сегодня ты обвинил невинного человека, который тебе сочувствовал, ведь Барран — так ты, во всяком случае, думал — сочувствовал тебе, а ведь ты его выдал, значит, ты дашь согласие, не сегодня, так завтра, не мне, так кому-то другому. Но тогда ты согласишься лишь потому, что к этому вынудит тебя Здание, и лишь по видимости, принимая навязанную игру. Сделай иначе! Согласись на самом деле, в душе решишь, сразу, взаправду, и тогда внутри Провокации родится у нас Истина...

— Но тебе ведь придется написать рапорт и выдать меня, потому что я с тобой сговорился!

— Ну конечно, я тебя выдам! А они примут это за видимость конспирации, за вынужденный заговор, решат, что ты согласился лгать и носить шутовскую маску, которую мне приказано было натянуть тебе на лицо; но ты, решившись на это вольною волей, своим хотением, все видя и все до конца понимая, заполнишь пустоту содержанием, и заговор, задуманный Зданием как Провокация, облечется во Плоть. Согласен?

Я молчал.

— Отказываешься? — Голос у него задрожал, по щеке скатилась слеза. Он сердито смахнул ее. — Не обращай внимания, это просто так... по привычке...

Я сидел, не переставая трясти ногой, не видя его, даже не слыша, словно меня опять окружали ряды белых коридоров, белых дверей, — обокраденный, лишенный всего, что могло быть моим. И, все еще видя перед глазами мертвенный блеск лабиринта, слыша в ушах его размеренный ход, сказал:

— Согласен.

Лицо его прорезала молния. Наполовину отвернувшись, он вытер платком лоб и щеки.

— Теперь ты будешь бояться, что я предам тебя на самом деле, — произнес он наконец, — но тут ничего не поделаешь. Слушай: любые клятвы, присяги, обещания тут бесполезны, поэтому — сегодня уже ничего. Никаких условных знаков. Они нас все равно не спасут. Оружием нашим будет явность заговора, явность, в которую никто не поверит. Теперь я донесу обо всем своему начальнику. Веди себя как обычно — делай все то же, что делал до сих пор...

— Так что же — идти в Журнал корреспонденции?

— А ты бы пошел?

— Пожалуй, нет.

— Тогда не иди. Лучше ступай отдохни, наберись сил... Завтра после обеда, на седьмом этаже, рядом с лифтом, между кариатидами, тебя будет ждать Вторая...

— Второй?

— То есть я. Двое — так мы будем себя называть.

— Я буду Первым?

— Да. Теперь я уйду. Было бы подозрительно, если бы наш разговор затянулся.

— погоди! Что мне говорить, если меня возьмут в оборот прежде нашей завтрашней встречи?

— Что хочешь.

— Я могу тебя выдать?

— Разумеется. Ведь о заговоре будет известно, но только как о мнимом. Ты был в себе не...

Он не договорил.

— А ты?

— Я тоже. Хватит. Разорвем этот заколдованный круг. Помни: мы спасемся сообща, искупим друг друга, даже если погибнем. Прощай.

Я уже не отвечал. Он вышел стремительным шагом, и воздух, приведенный в движение его уходом, еще какое-то время обвевал мне лицо.

«Он идет, чтобы предать меня — для видимости. Но как я могу знать, что только для видимости?» — подумал я, однако эта мысль оставила меня совершенно равнодушным. Я встал. Хотел что-то сказать, но не смог, потому что никого не было. Я закашлял, намеренно громко, чтобы услышать себя. Эхо не прозвучало. Приоткрыв дверь, я заглянул в соседнюю комнату. Она была пуста, лишь на столе медленно, как стрелки часов, обращались катушки магнитофона. Я снял их, порвал ленту на мелкие части, распахнул по карманам и пошел в ванную.

XIII

Меня разбудил вой водопроводных труб. Открыв глаза, я в первый раз заметил, что потолок ванной покрыт алебастровым барельефом, белым, чистым, со сценой из жизни в раю. Адам и Ева подглядывали из-за дерева, змей затаился на ветке, высунув голову из-за круглой Евиной ягодицы, ангел за тучкой строчил какой-то длинный донос — почти в точности, как рассказывал Барран. Барран! Я сел на полу, сон как рукой сняло. Перед тем как заснуть, я стащил с себя все, а полотенце, которое я себе подстелил, не защищало от холода кафельных плиток. Я был какой-то окостенелый,

жесткий, словно уже затвердевал после смерти, и ожил лишь под струями горячей воды. Выйдя из ванны, подошел к зеркалу. Я не удивился бы, увидев там старческое лицо: вчерашний день казался мне какой-то пучиной времени, всосавшей все мои силы, как будто свою жизнь я уже прожил и осталась мне лишь глупая песенка, услышанная от профессора, — я все повторял ее во время купания:

«Смысл Зданья — в Антизданье, Антизданья — в Зданье! Аминь!»

Машинально я напевал ее и теперь, и осознал это, лишь увидев, как шевелятся в зеркале мои губы. Нет, я вовсе не постарел, должно быть, это просто похмелье; только в пьяном виде я мог принять предложение отца Орфини. Заговор — Бог ты мой! Он и я — два заговорщика или, попросту, Двое!!

Нет, лучше уж петь; напевал я на всякий случай вполголоса, хотя ванная была пуста, да и снаружи не доносилось ни звука. Я уже привык есть редко и в самое неподходящее время — впрочем, после вчерашней попойки о еде не хотелось и думать, так что я только прополоскал рот теплой, с привкусом разогревшегося металла водой и вышел.

Лишь садясь в лифт, я сообразил — как видно, я еще не пришел в себя после всех этих передрыг, — что понятия не имею, куда идти. Я жаждал покоя и решил, что всего разумней будет присоединиться в какой-нибудь достаточно большой группе. Тогда я попаду на какое-нибудь собрание или заседание и смогу, не слишком бросаясь в глаза, поразмышлять спокойно, не будучи узником ванной, — одиночество в ней уже вселяло в меня отвращение.

Как назло, навстречу попадались лишь отдельные офицеры, к которым я не мог присоединиться, не привлекая к себе внимания. Так я прошел порядочную часть шестого, потом седьмого этажа, наконец поехал на девятый, где, если меня не обманывала память, по одной стороне главного коридора ряд дверей обрывался, заставляя предположить существование какого-то большого зала за этой глухой стеной. Однако сегодня коридор был совершенно пуст. Добрых десять минут я слонялся у предполагаемого зала, но никто так и не появился; устав ждать, я решился войти.

Я оказался, похоже, в боковой части большого музея. В полумраке, на вощеном паркете, светились ряды длинных застекленных витрин. Улочка, которую они образовывали, заворачивала, но блики света на темных стенах показывали, что она тянется дальше. За стеклами на прозрачных полках лежали ладони, — одни ладони, обрезанные у запястий, чаще

всего по две, натуральной величины, натурального цвета, пожалуй, даже чересчур натурального: воспроизводилась не только матовость кожи и отлив ногтей, но и волосы на тыльной стороне ладони. Они застыли в невообразимом множестве поз, словно замершие раз и навсегда персонажи какого-то мертвого театра, помещенного под стекло. Я решил сначала обойти всю коллекцию, а после вернуться к особенно удачным экспонатам. Времени у меня было довольно. Я проходил мимо молитвенных и шулерских жестов, мимо кулаков, побелевших от гнева, ладоней отчаявшихся и торжествующих, мимо вызовов, категорических отказов, благословений, раздаваемых старческими пальцами, нищенских просьб, бесстыдных предложений и воровства; тут, грациозно сжавшись, расцветала за стеклом доверчивая, почти улыбающаяся наивность, рядом зияла утрата, там сжала кисти материнская тревога; темная улочка ярко освещенных витрин петляла, я все шел и шел по ней, останавливаясь, чтобы лучше оценить какую-нибудь буколическую, сыгранную одним только жестом сцену, а найдя ее слишком слащавой, двигался дальше; во мне пробуждался ценитель; я уже с одного взгляда схватывал выставленный в витрине жест, осуждал его за аффектацию или недостаточную выразительность и отходил; впрочем, останавливался я все реже, утомление и скука уже давали о себе знать, я выискивал экспонаты потруднее, позагадочнее — и вдруг заметил, что создатели экспозиции, должно быть, хотели того же: в следующих секциях извилистого коридора жесты были все скупее, все сдержаннее, мало того — значения стали раздваиваться...

Не было уже простецких угроз, кулаков, назойливости — от трогательной раскрытости пальцев веяло подвохом, в розовом ореоле, похожем на пламя свечи, очерчивался сведенный скрытой судорогой мизинец — он куда-то указывал? — с пробудившимся вновь интересом, как опытный дегустатор, я пробовал на вкус какую-то будто бы братскую торжественность, от которой невесть почему отскочил в сторону полусогнутый средний палец, словно показывая на кого-то у меня за спиной; в воздухе, который поглаживали, трогали, хватали мертвые пальцы, таилось мошенничество, одна какая-нибудь деталь выворачивала наизнанку замкнутый в стеклянном шкафчике жест, лес пальцев тянулся, лепился к стеклам, ладони, пуритански соприкасаясь тыльной стороной, подавали друг другу условные знаки из-за стеклянных витрин, от стены до стены... Тут проказничал

толстый большой палец, там все ребячески кувырчалось, и вдруг, в приступе беззаботной веселости, косточкой, кончиком ногтя, подушечкой, фалангой, из рук в руки они начинали передавать какую-то весть — указывать — тыкать — в меня!!

Я шел все быстрее, почти бежал — тучи рук реяли то высоко, то низко, сгрудившись на стеклянных пластинах, вонзаясь пальцами в воздух, скрючившись белыми трупиками, от них рябило в глазах. «Где же это? — думал я. — Как же это? Почему столько рук? Зачем это? На что? Ведь это бессмысленно! Это сумбур! Какой-то нелепый музей! Я все принимаю на свой счет! Выйти отсюда! Выйти...»

Вдруг из темноты вынырнул несущийся прямо на меня человек с трепещущими пятнами света и тени на лбу, на лице, с разинутым словно в истерическом крике ртом, без глаз, в последнюю минуту я успел остановиться, выставив руки и ударившись ими о холодную, гладкую, вертикальную поверхность зеркала.

Я замер — а сзади затаилась мрачная, расчлененная на аквариумы глубь, глухая, абсолютно мертвая, застывшая тысячью растопыриваний, судорожных сжатий, жестов похабных и омерзительных, — восковые и багрово-красные, жилистые руки безумия. Я прижался лбом к холодной поверхности, чтобы только не видеть их.

Тогда зеркальная плита дрогнула, поддавшись, и пропустила меня. Это была плоскость двери, обычной двери, под нажимом она открылась. Я стоял в маленькой комнатке, почти что клетушке, скупой, словно из бережливости, освещенной двумя лампочками. Сидевший за столом человек, верней, человечиска, в пиджаке в полоску не смотрел на меня — он стриг себе ногти, приблизив их (из-за близорукости?) к самому носу, опершись локтями на стопку бумаги.

— Пожалуйста, отдохните, — сказал он, не поднимая глаз. — Стул там, в углу. Это полотенце снимите с него. Спит глаза? Ничего, пройдет. Подождите минутку.

— Я тороплюсь, — бесцветно сказал я. — Где у вас выход?

— Торопитесь? Я все же попросил бы вас отдохнуть. Напишите что-нибудь?

— Простите?

Он иступленно пилил кончик ногтя.

— Тут бумага и ручка. Я не буду мешать вам...

— Я ничего не собираюсь писать. Где тут выход?

— Не собираетесь?

Замерев с пилкой в руке, он водянисто взглянул на меня.

Я уже видел его когда-то и в то же время не видел — рыжеватый, с маленькими усиками и скошенным подбородком; пухлые, в складочках, сумочки щек, словно он там прятал орешки.

— Тогда я сам напишу... — предложил он, снова берясь за пилку. — А вы только подпишете...

— Но что?

— Показаньице...

«Вот ты у меня где!» — подумал я, стараясь не стискивать зубы, чтобы не выдать себя напряжением лицевых мышц.

— Не знаю, о чем вы говорите, — сказал я сухо.

— Да ну? Попоечки не помните?

Я молчал. Он потер ногти о сукно пиджака, проверил, блестят ли они как положено, и, достав из ящика стола толстый, маленький томик в черном переплете, который сам раскрылся в нужном месте, начал читать:

— Статья... гм... гм... ага: «Распространение слухов и измышлений, пропагандирование, а равно любые иные действия, имеющие целью создать представление, что Антиздания как такового не существует, караются полной эгзоклазией». Ну? — он поощряюще взглянул на меня.

— Я не распространял никаких слухов...

— А кто утверждает обратное? Сохрани Бог, вы ничего такого не делали, ваше дело — коньячок да ушки на макушке. Или в ушах у нас клапаны, чтобы ими слух затыкать? К сожалению, отсутствие клапанов может быть наказуемо, поскольку... — он снова заглянул в томик, — «присутствие при совершении преступления, предусмотренного статьей эн-эн, часть эн, карается эпистоклазией, если в течение эн часов после его совершения свидетель не даст показаний в компетентных органах или если суд не усмотрит в его поведении смягчающих обстоятельств согласно параграфу «эн малое».

Отложив томик в сторону, он уставился на меня своими влажными, словно вынутыми из воды, рыбьими глазками и наконец предложил — столь мелким движением губ, словно выплевывал невидимую косточку:

— Показаньице?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну, — не отступался он, — крохотное показаньице...

— Мне нечего показывать.

— Малюсенькое?

— Нет. И перестаньте, ради Бога, сюсюкать! — крикнул я, дрожа от безудержной ярости.

Он заморгал необычайно скоро, словно испуганная птица.

— Ничего?

— Ничего.

— Ни гугу?

— Нет.

— Может, помочь? Ну, скажем, так: «Будучи участником попойки, организованной профессорами... тут имена... а также... снова имена... такого-то числа... и так далее... я невольно оказался свидетелем распространения злостных...» Ну?

— Я отказываюсь давать показания.

Он смотрел на меня куриными, совершенно круглыми глазками.

— Я арестован? — спросил я.

— Баламут! — сказал он и захлопал ресницами. — Тогда, может, что-нибудь другое? Гм? Ко-ко? Пси-пси? Цып-цып?

— Да перестаньте же!

— Ко-ко... — повторил он, немилосердно гримасничая, словно перед младенцем. — Кон... спи... ра... цып-цып... конспирашечка... конспиратулечка... — пищал он невообразимо тонко, — рапортунчик?..

Я молчал.

— Нет? — Он всем телом навалился на стол, как будто готовясь на меня прыгнуть. — А это вы узнаете, милостивый государь?!

В руках он держал круглую коробочку, полную мелких, как горох, пуговиц, обшитых черной материей.

— О! — вырвалось у меня.

Он подхватил это с чрезвычайной готовностью, бормоча, как бы про себя:

— О... то есть Орфини... О... О...

— Я ничего не говорил!

— О? — подхватил он опять, подмигивая. — «О», и ничего больше? Только «О», голое «О», без ничего? Как же так, одиночное «О»... нужно дальше, дальше: О... р... Ну?! Духовное платье... Проповедничек... чтобы, того, значит, чтобы сообща, всякие там глупостишки... гм?!

— Нет, — сказал я.

— Нет, но «О»! — возразил он. — «О»! Все-таки «О»! Тем не менее «О»!

Он радовался все более явственно. Я решил молчать.

— А может, споем? — предложил он. — Песенку. Ска-

жем: «Жил-был у бабушки белый Барра...» — ну? Нет? Тогда, может, другую: «Антизданье — Зданье — Аминь!» Знаете? — Он выдержал паузу. — Непреклонный! — сказал он наконец коробочке с пуговицами, которую держал в руках. — Непреклонный, гордый, твердый. Пилата ему подавай. Режьте, жгите вы меня! Не скажу ни слова я! Ессе homo!* А тут ничего подобного, тут только пилатики, и хоть бы крест был — поди ж ты! — а мы не можем — мы ничего — ничегошеньки — разве лишь... крестик в дорогу!!

Я не двигался. Он снова начал пилить ногти, приставил, примерил их к какому-то воображаемому идеалу, снова пилил, поправлял, наконец грубо, как в самом начале, буркнул себе под нос:

— Попрошу не мешать мне.

— Я могу идти? — ошеломленно спросил я.

Он не ответил. Я поискал глазами дверь. Она была в углу, и даже приоткрыта. Как это я ее не увидел раньше? Держа ладонь на дверной ручке, я взглянул на него. Он меня просто не замечал, погружившись в полировку ногтей. Помешкав, я вышел в большой, холодный, белый коридор. Я был уже далеко, когда почувствовал, что несу что-то большое, тяжелое, подвешенное к туловищу с обеих сторон, как коромысла. Остановился. Это были мои руки, влажные и словно бы жирные. Я поднес ладони к глазам. В сеточке линий блестели микроскопические капельки. Они росли на глазах. «О, — подумал я, — так потеть...» «О!» Почему «О»? Почему я не сказал, например: «А»?! Кто я? Червяк ползучий? Э, какой там червяк! Мерзавец! Сочный, сочащийся Мерзавец! Не зачаточным быть, мизерным, — но полным, могучим Мерзавцем! И ощутил я в себе решимость, словно готовы уже запальные шнуры и крупницы пороха: искра — пламя по ним пробежало — взрыв!

Двери. Лифт. Коридор. Снова двери. Я вошел в кабину. Как приятно плыла она вниз, как приятно, когда старые друзья начинают друг друга допытывать... Дышалось мне глубоко. Несмотря ни на что — облегчение. Спокойствие. Никаких заговоров.

«Мерзавец, да, Мерзавец!» — мысленно проговорил я. Вслух почему-то не мог.

Я вышел, в который уж раз, из кабины. Этаж? Все равно какой. Я шел напрямик. Двери. Я нажал на дверную ручку.

Светло-красная комната с белыми пилястрами, большие

* Се — человек! (лат.)

картины на стенах, на них — плоские, по-рембрандтовски тонувшие в коричневой мути фигуры в тюле и кружевах. Под самой большой, оправленной в черную раму, сидела красивая девушка, самое большее шестнадцати лет, — и боялась. Я ждал, что она скажет, но она молчала. Страх не портил ее. Светлое личико, золотая челка на лбу, хмурые, фиалковые глаза недоверчивого ребенка, пухлые, красные губы, платьишко пансионерки с короткими, застиранными рукавами; сквозь материю прорезывались твердые соски. Строптивыми и твердыми были и ее стройные ножки с розовыми пятками, босые, потому что при моем появлении туфельки с нее соскользнули и валялись теперь под креслом, но хуже всего была беспомощность белых ладошек. «Красивая, — подумал я, — и какая белая... белая... — кто говорил «белая»? А! как лилия... лилейная... лилейная белизна...» Ее предсказал шпион. Он напроорочил мне доктора, сервиз и лилейную чистоту...

Она смотрела на меня фиалковыми глазами, не шевелясь, нагота ее шеи под черной рамой картины была как — я искал сравнения — как пенье в ночи. Уйдет... Я сделал к ней шаг, медленно-мерзкий, погружаясь зрачками в ее глаза, неподвижность ее тела отзывалась тревогой, ласкавшей мне душу, острая грудь под платьищем отсчитывала, вслед за колотившимся сердцем, секунды: ни слова, ни жеста — только Мерзавец.

Еще шаг — и я задел ее колени своими; она сидела, откинув голову назад, пышные золотые волосы были ее последним, тщетным убежищем. Я склонился над ней. Ее губы еле заметно дрогнули, но она даже руку поднять не смогла. «Я должен ее обесчестить, — подумал я, — ведь этого она ожидает, впрочем, разве могу я поступить иначе в моем положении? Но, может быть, это не невинная девушка, которую надлежит обесчестить, а что-то вроде вконец замусоленной плахи, на которой я, признавшись, окончательно сложу голову? Иначе откуда ей было взяться в Здании?»

«Но, — сказал я себе, продолжая сверху глядеть меж ее золотых ресниц, — я ведь тоже попал сюда невинным, значит, могла и она?» Но я заметил, что уже начинаю рассуждать о подходящем образе действий, выкручиваться, оправдываться, а это, конечно, была плохая стратегия, пустая трата и распыление сил. «Давай же... — сказал я себе, — без рассуждений, без зазрения совести! Вот он, случай — надо бесчестить!!!»

В таком общем виде решение далось мне легко, но как приняться за дело? Напрашивался, разумеется, поцелуй, тем более что между нашими губами не поместилась бы и вытянутая ладонь — наши дыхания смешивались. Но поцелуй как вступление, как прелюдия к обесчещиванию мне почему-то претил. В поцелуе, даже внезапном, злодейском, взятом силой, есть что-то — как бы это сказать — утонченное, изысканное, правильное, уместное — о! нашел: поцелуй — это украшение, декорация, аллегория и намек, а я не хотел никакого актерства; я хотел ошпариться, быстро и мерзко растоптать лилейную чистоту, ведь обесчестить по-настоящему — значит с ангелом поступить как с коровой.

Итак, от поцелуя я отказался, и поза, которую я принял — это вбирание в себя ее невинного, девичьего дыхания, — уже отдавала фальшью. «Я схвачу ее и подниму на руках!» — сказал я себе, отстраняясь назад и слегка выпрямляясь, но возникшая тем самым дистанция, столь плачевно схожая с нерешительным отступлением, несколько сбила меня с толку. Да и куда бы я ее бросил?! Кроме кресел, в моем распоряжении был только пол, а тащить на себе лилейную чистоту для того лишь, чтобы опять швырнуть ее в кресло, не имело ни малейшего смысла, между тем как обесчещивание должно иметь смысл, и не какой-нибудь, а самый черный, самый злокозненный!

«Тогда я схвачу ее бесстыдно и грубо!» — решил я. Но стоя это никак бы не получилось — кресло было уж очень низкое, — и я опустился на колено. Ошибка! Это была поза покорности, рыцарского служения, ожидания, что тебя перепояшут шарфом, снятым снежными пальчиками с лилейных плеч. Невозможно бесчестить на коленях, но другого выхода не было, положение с каждой секундой становилось все хуже; она еще тут расплачется, черт подери! — прошел меня страх, уже и губы изогнула, сейчас заревет, и вместо лилейной будет сопливый ребенок! Ну, быстро, пока есть еще время!!

Значит, под юбку?! Но если рука с непривычки меня подведет, если касание окажется не позорящим, а всего лишь щекочущим, — что тогда?! Конечно, она захихикает, чего доброго, засучит ногами от смеха — не от девичества; и если я даже наброшусь, схвачу и сомну, не будет уже и следа лилейности, только сплошная щекотность!! Вместо обесчещивания — щекотка? Щекотушки? У-тю-тю-тю?! О Господи!!

«Это тот следователь, — промелькнуло у меня в обезумевшей голове, — не иначе как это он ее подсунул — ну

конечно! — узнаю его, *ex ungue leonem*!!* Так нет!! — твердо подумал я. — Никаких там под юбку, ничего крадущегося, по-воровски коварного и трусливого! Глаза в глаза — и поцелуй, но поцелуй-дьявол, молния, кровь, вызов, грубость и мука ошеломления! Скрежет зубов о зубы! Потроха! Вожделение!! Да будет!!!» И я склонился над ней, но что-то было не так. Щеки полные, губы пухлые и что-то белое у них в уголке. — фи! Крошки. Снова смешались наши дыхания — и пахло грудным младенцем. Молочком! О Боже!!! Белые крошки — это сыр! Нет! Не сыр! Сырок!!!

Я погиб. Медленно, сантиметр за сантиметром, поднимался, машинально отряхивая колени. Да, это был конец. Шестнадцати лет, невинная, пугливая, белая как снег... Как снег? Как сырок!!!

Уже выходя, у самых дверей, оглянулся. Она, успокоившись, снова жевала. И даже держала в ладонке кусочек булочки с маслом, просто спрятала его, когда я подошел. Она-то хотела помочь мне, а я... о Боже...

Хорошо хоть, что все обошлось без единого слова. Я закрыл за собой дверь и пошел, стараясь ступать бесшумно. Мерзавец... Мерзавец... Где-то стреляли. Пальнуло совсем рядом. Ввязываться в очередную историю не хотелось, и я уже был готов повернуть назад, все во мне дрожало, как вдруг перед одной из дверей заметил трех офицеров с подушкой. Подушка была пуста. Вот оно, значит, как...

Стрельба случалась двойкого рода. После завтрака обычным делом была пальба сплошную, визг убиваемых и добиваемых, рикошеты, известковая пыль — эти коридорные битвы велись в страшной спешке. Об их завершении возвещал топот бегущих на выручку и шифрованное рычанье. Временами, открыв дверь лифта, вместо кабины можно было увидеть, как в пустую, темную шахту откуда-то сверху, кувyrкаясь, летят залитые кровью трупы — так от них избавлялись. Но этот выстрел был одиночным. Обычно ему предшествовала небольшая процессия — троё или, чаще, четверо офицеров, по двое, несли бархатную подушку, на которой покоился револьвер. Они входили в комнату, выходили без револьвера, и ждали у дверей, пока разоблаченный изменник не покончит с собой. Для высших чинов подушка была с лампасами. Порядок наводили чаще всего в обеденный перерыв, чтобы не собирать зевак.

До условленной встречи с проповедником оставалось

* По когтям (узнаю) льва (*лат.*).

четверть часа. Зачем идти, если все растоптано, предано, кончено?! Я пытался сосредоточиться. В конце концов, о заговоре было известно, ведь он был разрешен, даже рекомендован — разумеется, мнимый, ненастоящий. Это только мы с ним хотели под прикрытием видимости создать что-то подлинное. Ускользнуть, не прийти — значило бы, что я почувствовал какую-то опасность, это могло бы насторожить их. Явка, пожалуй, ничем не грозила.

Мне все еще было стыдно, но уже гораздо меньше. Несколько минут я прогуливался в тихом ответвлении коридора, между туалетами. В поисках оправдания я внезапно уцепился за мысль, возможно слишком наивную, но соблазнительную: «А вдруг это сон, — сказал я себе, — только особенно строптивый и непослушный?» Даже если пробуждение пока невозможно (похоже, сон необычайно могуч), это сняло бы с меня тяжкую глыбу ответственности. Тут я остановился у белой стены, зыркнул по сторонам — не идет ли кто? — и попробовал размягчить ее одним лишь неподвижным усилием воли: как известно, во сне, даже самом крепком, самом кошмарном, это, как правило, удается. Но напрасно я закрывал и украдкой открывал глаза и даже осторожно трогал стену: она не дрогнула. А может, я сам кому-нибудь снюсь? Разумеется, спящий обладает несравнимо большей властью над своим сном, чем слоняющиеся по нему субъекты, статисты, слепленные для минутной надобности...

«Даже если и так, мне этого не узнать», — заключил я. Вернулся в главный коридор, сел в лифт и поехал наверх, к условленным колоннам. Зачем понадобилась лилейная? Должно быть, для верности: чтобы я понял, что даже Мерзавцем мне не быть вопреки Зданию. Я словно бы видел этого сюсюкающего следователя, проказливо грозящего пальцем перед самым моим носом. Наверно, чувство юмора развили у него потешные судороги повешенных...

Лифт поднимался все выше, на табло мелькали номера этажей, контакты тихонько цыкали, отблеск матовой лампы дрожал на палисандровом потолке кабины; вдруг, минуя очередной этаж, я действительно увидел его через двойное стекло дверей кабины и коридора. Он стоял в куцем своем пиджачке, слегка скривившись, задумавшись, и притом блаженно, — заметил он меня или нет? Плохо понимая, что делаю, я быстро присел на колени, на маленький коврик, постеленный на полу кабины. Через замочную скважину я

посылал взгляд наружу, к приближающемуся месту встречи, оставаясь невидимым...

Лифт уже притормаживал. Я увидел старательно начищенные туфли, потом черный халат, вернее, ряд пуговиц: это была сутана! Священник! Священник у самых дверей, в коридоре, он ждал меня! Лифт еще подрагивал, замедляя ход на подъеме, когда я резким нажатием пальца послал его вниз. Почувствовал измену? Нет — я вообще не знал, что думать, но теперь, когда он опускался, мерно, мягко и сонно, я почувствовал себя по-настоящему в безопасности. Опять цыкали контакты, горела матовая лампочка, моя маленькая, ах, до чего же уютная комнатка бесшумно проваливалась сквозь Здание; когда первый этаж был совсем рядом, я опять нажал кнопку, и лифт пошел вверх.

Примостившись на коленях, я наблюдал, что происходит снаружи. Мелькали разрезы этажей, глухая стена, пол, чьи-то ноги, потолок, снова голая, кирпичная шахта, снова пол... и второй раз промелькнул следователь в пиджачке в полоску, он терпеливо ждал лифта, скривив уголок рта, — эта сцена исчезла, запав в глубь стены, словно опустился каменный занавес... Кабина плыла дальше.

Я затаил дыхание. Приближался девятый этаж. И вот я увидел — по кусочку, потому что вплотную, — священника. Он тоже ждал. Снова вниз — и снова мимо следователя; невидимый, затаившийся, я ловил их взглядом по частям, словно брал пробы...

Каждый из них в отдельности стоял как бы нехотя, тихонько переступая с ноги на ногу, скромно, рассеянно, каждый сохранял на лице безразличное, нейтральное выражение, но я, рассекая Здание своими бросками вверх-вниз, накоротко замыкая этажи, перескакивая от одного лица к другому, бледнел, ибо их выражения складывались: уголок рта следователя — с опущенной губой священника, вместе это уже была улыбка, разделенная на этажи, и я задрожал, потому что улыбался не каждый из них в отдельности, но лишь оба они, в сумме, точно это было само Здание; и когда лифт спустился на первый этаж, я выбежал из кабины, оставив ее пустой, с открытыми дверьми, заполненную только упорным жужжанием, — ее вызывали теперь непрерывно, едва ли не со всех этажей. Но я уже был далеко.

Итак, священник предал. Мои ожидания оправдались. Я еще усваивал этот вывод, фермату бесславно зачатого заговора, когда до моего сознания дошло, что я на первом

этаже. Где-то совсем недалеко находились овечьи легендой, знаменитые Ворота — выход из Здания.

Я все еще шел, но уже иначе — столь резкой была перемена. Это был не коридор, а скорее зал, очень высокий, просторный, с колоннами. Издали донеслось каменное эхо шагов. Они удалялись. Если не считать их, кругом было пусто. Я предпочел бы увидеть здесь больше людей, движение, толпу, в которой можно было бы затеряться. Потому что я собирался выйти. Это была последняя возможность. Отчего я до сих пор не подумал о бегстве, о попытке избавиться ото всего сразу, вместе с Миссией, инструкцией — верней, ее видимостью, вместе с мнимым заговором, который сорвался? Вряд ли это можно было объяснить одним только страхом; разумеется, я боялся, что охрана меня не пропустит, потребует пропуск, но я по крайней мере мог бы строить планы бегства, между тем я о нем и не задумывался. Почему? Потому что мне некуда было идти, некуда возвращаться? Потому что Здание могло достать меня всюду? Или, вопреки всему, наперекор здравому смыслу и геенне, через которую я прошел, я еще не совсем потерял веру в эту несчастную, трижды проклятую Миссию, и она еще теплилась во мне как последняя опора, последний оплот?

Издали я уже видел Ворота. Они были приоткрыты. Никто их — о ужас! — не охранял. Поддерживаемый мощными столбами плафон висел над большим, как церковный придел, вестибюлем — глухим, пустынным, лишенным даже эха, — и тут я заметил его.

Это был второй встреченный мною солдат. Как и тот, что нес вахту перед чьей-то смертью, он стоял немой, напряженный, неестественно застыл с расставленными ногами, держа ладони в белых перчатках на автомате, мертвенностью своей фигуры отрицая собственное существование, словно бы говоря, что он — это уже не он, потому что сюда его поставило Здание.

Он стоял между колоннами, в каких-то двадцати шагах от меня. Ворота с вертикальной, полной белого света щелью оставались приоткрытыми — пусть я бегом, я был бы там прежде, чем он успеет выстрелить. «А если и успеет — пускай, — подумал я. — Хватит уже полумер, боязливой покорности судьбе, надежды, которая на самом деле — самообман, я уже столько раз оскотинивался и раскотинивался! Хватит этого! Хватит! Хватит!!!»

Я поравнялся с часовым. Он смотрел сквозь меня в пространство, ни о чем не спрашивая, словно не видел

меня — словно меня вообще не было! Вот она, щель! Щель, полная белого света!!

Шесть длинных каменных ступеней вели вниз, к Воротам. Я остановился на предпоследней.

Тот, в ванной, ждал меня. Я сказал ему, что приду. Да — но он был шпион, провокатор, иуда, как и все они, и даже не особенно это скрывал. Велика ли беда — подвести провокатора? Предать предателя?

Однако же он сказал мне о докторе, подставке и лилейной — выходит, знал. Стало быть, знал и то, что я убегу, что я не вернусь к нему, — как же мог он требовать моего возвращения, домогаться, чтобы я ему это пообещал? Неужели, несмотря ни на что, он действительно на это рассчитывал? Откуда бралась его убежденность?

Пойду, решил я. Это будет последний шаг. А потом убегу, и тем самым мое бегство станет чем-то гораздо большим — вызовом, брошенным всему Зданию, ведь я мог действовать скрытно, коварством и ложью, как оно, а буду вести себя так, как если бы меня озарял свет милосердия, добросердечия и всечеловеческой благодати.

Я повернул назад, прошел рядом с застывшим часовым, и по ступеням, а потом коридорами, вернулся в лифт. Он был пуст. Маленькая комнатка окружила меня красным плюшевым полумраком, я нажал кнопку, послышалось далекое, еле различимое пение электромоторов, защелкали реле уходящих вниз этажей, я поплыл в Здание, сквозь кирпичные и известковые разрезы его незыблемых стен.

И коридор, знакомый, белый, в бликах отливающих лаком дверей, вел меня длинной дорогой, мимо одиночных офицеров с папками и без папок, седоватых, узкогрудых и плечистых, а последний, попавшийся мне навстречу за несколько шагов до ванной, был добродушен, толст и посапывал, с явным трудом волоча целую охапку бумаг...

Я закрыл за собой внешнюю дверь. Первая комнатка была пуста, но ее заполнял регулярный металлический звук, чрезвычайно упорный и отчетливый, словно усиленный тишиной. Это капала из крана вода.

Я нажал на дверную ручку, вздохнул, заикнулся и онемел.

Он лежал в ванне, полной воды, голый. Как кабан с перерезанным горлом. Мокрые волосы превратились в сплошную блестящую скорлупу, на виске беловатую из-за седины, — потому что голова у него была свернута набок, в сторону кафельных плиток, и лицо погружено в воду; а стиснутая, скорчившаяся рука еще держала бритву. Кровь

ушла из ужасной раны в воду и смешалась с ней — но не целиком; вглубь еще уходили более темные изгибы и струйки.

Я закрыл дверь на задвижку, чтобы быть с ним один на один, и подошел к ванне, но даже тогда не увидел его лица, так резко он его отвернул в последнюю минуту, словно испугавшись бритвы, не желая ее видеть — или пытаюсь скрыться от меня, когда я его найду.

Я понял: он должен был это сделать. Что бы он ни говорил, как бы ни клялся — я бы ему не поверил. Только так он мог показать мне, что ничего от меня не хочет, не требует, что ничем не грозил мне и не лгал; только перестав *быть*, он доказывал, что это именно так, — и это все, что он мог для меня сделать.

Я огляделся. Одежда лежала под раковиной умывальника, аккуратно сложенная, подальше от ванны, как будто он не хотел, чтобы ее запачкала кровь. Если бы он оставил какой-нибудь знак, какую-нибудь записку, послание, последнюю волю, предостережение, наказ — я снова был бы настороже. Он знал об этом и оставил лишь это нагое тело, словно наготой своей смерти хотел меня убедить, что я не отовсюду окружен изменой, — есть что-то окончательное, бесповоротное, обладающее таким значением, которого уже ничем не изменишь.

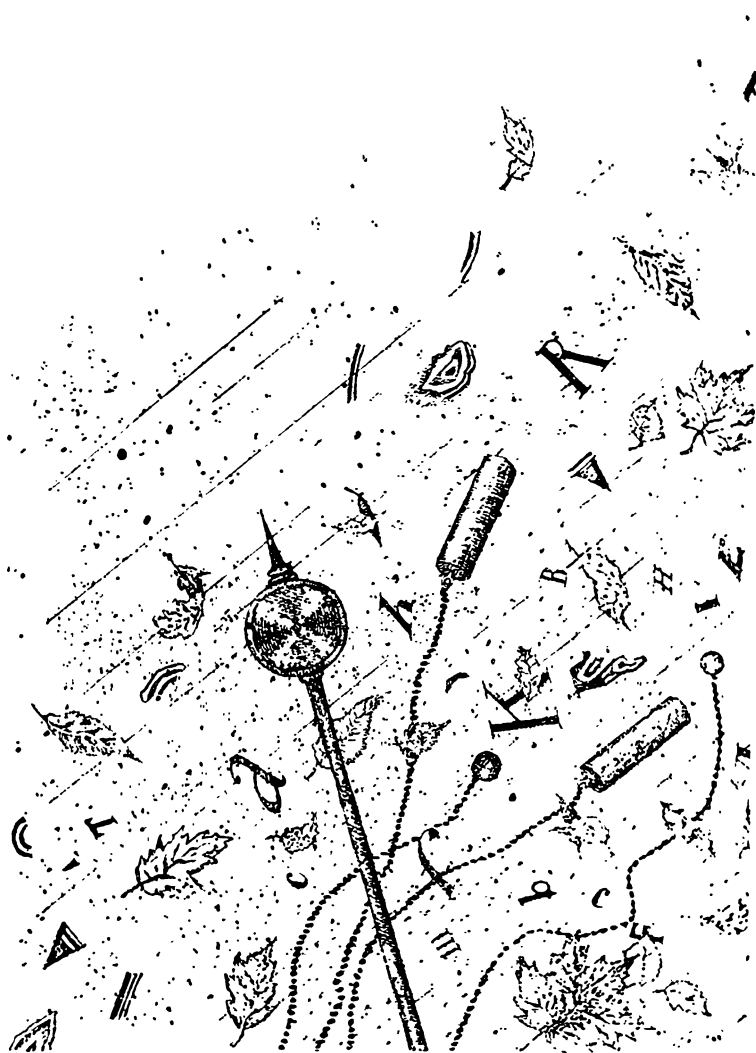
Убив себя так — для меня — он и себя спас.

Я осторожно наклонился над ванной. Почему в последнюю минуту он отвернулся? Толстые капли собирались на кончике крана и ударяли в поверхность все более красной воды, расходясь по ней кругами, — нестерпимый, оглушительный звук. Мне была необходима уверенность. Я взял его за холодные плечи. Он перевернулся весь, точно был из дерева, вынырнуло лицо, по которому, как слезы, стекала вода, она заполняла глаза, дрожала на заросших щеках. Мне нужна была уверенность. Бритва? Я не мог ее вытащить из ледяных пальцев. Почему она в них так застряла? Разве не должны были пальцы расслабиться вместе с последним ударом сердца? Почему он не выпускал бритву, хотя я выламывал ее силой? Почему в глазах у него фальшивые слезы? Почему он не лежит как попало, а поκειται так обстоятельно, монументально? Почему скрыл лицо?! Почему в водопроводных трубах грянуло пенье, и верезжанье, и рев?! Почему??!!

— Отдай, провокатор, бритву!!! — завизжал я. — Предатель!! Мерзавец!! Отдай бритву!!!

ВЫСОКИЙ ЗАМОК

роман



Теперь я вижу, насколько неудачной оказалась моя попытка выполнить первоначальное намерение, с которым я садился за работу: довериться памяти, подчиниться ей и даже, сдерживая эмоции, высыпать из нее, словно из кошельки, на стол все происходившее со мной, предполагая, что коль она удержала в себе столько, то, видимо, это было в какой-то степени важно и, быть может, именно поэтому мозаика воспоминаний, рассыпавшись, словно осколки цветного стекла из разбитого калейдоскопа, уложится в осмысленный узор — возможно, даже не в однозначный, а во взаимопроницающее множество узоров, множество, в котором можно будет отыскать отдельные упорядоченные участки, пусть даже едва обозначенные, содержащие лишь намеки. Таким образом, я не стану воспроизводить искаженную словами картину моего детства — оно сейчас не более чем абстракция — как бы меня самого, рассыпанного вдоль нескольких десятков календарей, вдоль всех их красных и черных листков. Благодаря такому приему я набросаю портрет, а может быть, изображу механизм памяти, которая ведь не является ни мною самим, ни совершенно чуждым мне идеально инертным хранилищем, емкой пустотой, секретером души со множеством ящичков и тайников. Она — память — не является мною, потому что представляет собой самостоятельную силу: цепкую не в тех же точно случаях, что я сам, не в тех же случаях восприимчивую или безразличную: ведь она не сохранила в себе многое, что я хотел бы запомнить, и, наоборот, столько раз сберегала то, что интересовало меня менее всего. Поэтому гораздо больше, нежели себя, хотел я принудить к «даче показаний» именно

Wysoki Zamek, 1977

© Е. Вайсброт, перевод, 1969, 1993

ее, чтобы возник ее словесный портрет, за который, впрочем, я готов был взять на себя ответственность, хотя вовсе не распоряжался и не распоряжаюсь своею памятью. Это должен был быть эксперимент, результатов которого я сам ожидал с нетерпением, словно речь шла не обо мне, будто источником образов и сведений должен был стать не я, а некто иной. Просто так уж получилось, что этот некто давным-давно сидит во мне, он как бы спрятан, — как внутренние слои дерева, налившиеся соком во времена его детства и юности, окружены множеством наслоений периода зрелости. Можно почти буквально посчитать, что юное деревцо, которое росло десятки лет назад, укрыто в этом большом, старом. Я действительно не знаю, когда меня впервые поразили тот факт, что я существую, и одновременно я немного испугался того, что меня могло вообще не быть или же я мог стать каким-нибудь прутиком, одуванчиком, козьей ногой или улиткой. А то и камнем. Порой мне кажется, что это было перед войной, то есть во времена, здесь описываемые, но я не очень в этом уверен. Во всяком случае, это чувство изумления кануло в Лету, так и не перейдя в навязчивую мысль. Я подступал к нему позже с разных сторон, по-всякому к нему подбирался; порой начинал считать его полнейшей бессмыслицей, чем-то постыдным, предосудительным. Но потом опять всплывал вопрос: а почему, собственно, мысли текут в голове в ту, а не в другую сторону, что ими управляет и кто дирижирует? Некоторое время я довольно сильно верил, что душа, а точнее сознание, находится у меня где-то за носом, немного ниже глаз, сантиметрах в четырех или пяти под кожей. Почему? Не имею понятия.

Вероятно, это была «подфилософия», подобно тому как некогда вместо мышления было какое-то «под-» или «предмышление». И это я тоже хотел вытрясти из памяти вместе с прочим содержимым. Это должно было произойти само по себе, мой же труд ограничивался припоминанием, как бы встряхиванием этой — прибегну к еще одной метафоре — кошелки. К сожалению, из моей затеи ничего не получилось. Вижу, что хотел я того или нет, вспоминая, я одновременно упорядочивал эти воспоминания, к тому же делал это так, чтобы они складывались в стрелки, достаточно определенно указывающие на меня, меня сегодняшнего, так называемого литератора, то есть человека, занимающегося одной из наименее серьезных, вызывающих смущение работ: безумно трудоемким сочинительством, которое обычно характеризуют разными учеными или расплывчатыми названиями, вроде «писательской кухни». Что касается меня, то никакой такой кухни у меня нет. Во всяком случае, до сих пор я ее не замечал. Итак, все, что сыпалось из кошелки памяти, я сразу же, на лету направлял в соответствующее русло — правда, этак легонько-легонько. Не может быть и речи о

какой-то преднамеренной лжи, подтасовке. Все происходило само по себе, во всяком случае — неумышленно. Впрочем, я не оправдываюсь.

Лишь теперь, вторично, словно детектив, идущий по следам совершенного преступления, которое состояло в ловком упорядочении даже того, что в свое время вовсе не было ни упорядоченным, ни указывающим в мою — литератора — сторону, я вижу во всем, что написал, эту нацеленную в меня — повзрослевшего на четверть века — стрелу. Это тем более удивительно, что я никогда не считал, будто «я родился писателем», будто *hoc erat in votis**. Впрочем, я и сейчас так думаю. То есть в том детстве и оставшемся после него старье было, наверно, множество пересекающихся тропинок, по которым можно было пойти, направлений, которыми можно было воспользоваться, преимущественно бессистемных, кончающихся тупиками, обрывающихся; а может, это вовсе были и не тропинки, а лишь множество разделенных пространством и временем островков; это не был абсолютный хаос, хотя бы потому, что были дом, школа, родители, что, будучи еще совершенно маленьким, я прилеплял себе к носу зеленое «крылышко», а потом, взрослея, ходил в школьном мундирчике, — уже это само по себе создавало достаточно явный порядок. Но это был, пожалуй, такой же порядок, как на пустой шахматной доске, где по желанию можно увидеть черно-белые полосы, идущие либо вдоль, либо поперек, либо по диагонали. Достаточно небольшого усилия воображения — и все переиначивалось так, как мы того пожелаем. Шахматная доска по-прежнему остается шахматной доской, и мы не можем увидеть ничего, кроме того, что на ней есть в действительности — белые и черные квадраты попеременно, — и лишь их порядок, направление неожиданно меняются. Видимо, нечто подобное случилось с изображаемой в этой книжке шахматной доской памяти. Я ничего не прибавлял, но один из многих возможных порядков слегка акцентировал. Или так получилось потому, что мы невольно ищем лейтмотив, ведущую ось, логику жизни, чтобы не чувствовать себя виновными даже перед собою за то, что столько начатых направлений было брошено, потеряно, не использовано? Или просто и только потому, что мы хотим, чтобы все, что есть, равно как и то, что было, всегда имело какой-то четкий и однозначный смысл, хотя этого могло вовсе и не быть? Будто недостаточно так вот просто жить, — я уж не говорю, в зрелом возрасте, когда неопределенность, отсутствие четкого смысла неприемлемо — но в детстве? Я хотел предоставить слово неискушенному ребенку, по возможности не мешая ему, а вместо этого поживился за его счет, выпотрошил его

* Это составляло предмет моих желаний (лат.).

карманы, тетради, ящички, чтобы похвалиться перед старшими, каким многообещающим он был уже тогда, какими личинками, куколками будущих достоинств были даже его грешки, а чтобы этот грабеж как-то оправдать, я превратил его в красивый указатель пути, чуть ли не в целую систему. Таким образом, я написал еще одну книгу, словно с самого начала не знал, не догадывался, что иначе и быть не может, что все намерения присматривать за тем, чтобы воспоминания были протокольно точными, все эти строгие наказания ничего не добавлять от себя — самообман. Я слишком много говорил, слишком много интерпретировал, комментировал чужие секреты и забавы — ведь не свои же, ибо их уже нет, они не существуют; я очень старательно, спокойно, деловито, словно бы писал о ком-то выдуманном, кто никогда не жил, кого можно сформовать по канонам эстетики, в соответствии с волей и планом, построил этому мальчонке надгробие, заточил его там. Это было нечестно. Так с детьми не поступают.

1

Помните ли вы набор загадочных предметов, которые лилипуты обнаружили в карманах Гулливера? Таинственные и фантастические штучки вроде гребня-частокола, огромных часов, издающих ритмичный гул, и множества иных вещей, назначение которых было уже совсем непонятным? Я тоже был когда-то лилипутом. Я знакомился с отцом, взбираясь на него, когда он сидел на стуле с высокой спинкой, и исследовал те карманы его черного, пахнущего табаком и больницей костюма, к которым он меня допускал. В левом кармане жилета лежал металлический цилиндр, напоминающий патрон на крупного зверя; цилиндр раскручивался, и становилась видна маленькая пирамидка никелированных вороночек, насаженных одна на другую; каждая следующая немного отличалась диаметром от предыдущей. Это были отоскопы. В соседнем кармане хранился карандаш, исписанный почти до конца еще во времена моих первых изысканий. Он был вставлен в золотую оправу, из которой высовывался, стоило на нее нажать. Правда, для этого нужна была сила побольше моей. В правом кармане сюртука хранилась металлическая коробочка с плюшевой подкладкой, довольно грозно хлопающая; там же лежал крохотный кошелечек, только, кажется, не для монет: в нем вообще ничего не было, кроме кусочка замши; кошелек как-то сам раскрывался, стоило отстегнуть застежку. В том же кармане хранился

серебряный футлярчик с кнопкой на крышке; в футлярчике находилась тоже серебряная, как мне помнится, пластинка с прикрепленной снизу плоской темно-фиолетовой резинкой, к которой нельзя было притрагиваться, потому что пальцы тут же становились чернильными. В левом кармане куртки лежало надтреснутое круглое зеркало с дыркой посредине и черным ремешком с застежкой. Это зеркало здорово увеличивало мое лицо, делая из глаза что-то вроде огромного пруда, в котором, словно круглая рыба, плавала карая радужка, а сам пруд был окружен камышами — толстыми ресницами. На золотой цепочке, пристегнутой к жилету, были укреплены плоские золотые часы с тремя крышками. У часов были цифры, именуемые римскими, и маленькая секундная стрелка. Открывать заднюю крышку часов я не умел, да и не всегда это можно было делать. Там жили маленькие колесики с рубиновыми глазками, светящиеся и движущиеся. Таким образом я узнавал отца вблизи. Он носил белую сорочку в узкую черную полоску; манжеты к сорочке пристегивались пуговицами, а твердые воротнички — запонками. Множество таких воротничков, уже использованных, лежало в ящиках комода. Они ласкали руку своей эластичной твердостью, и мне всегда казалось, что из них можно бы сделать что-то интересное, полезное, но я так и не сообразил, что бы это могло быть. Галстук у отца был мягкий, черный, напоминал шарф, отец завязывал его на манер банта. У шляпы были широкие мягкие поля и отличнейшая резинка — натягивать ее было одно удовольствие. Тросточек было две, одна время от времени терялась. Это были обыкновенные тросточки; необыкновенная же, с серебряной конской головой, была у дяди, а какой-то незнакомый мне человек, невероятно старый, еледвигающийся, пользовался тросточкой с ручкой из слоновой кости. Однако я никогда не видел ее вблизи, потому что прятался от этого человека: он ужасно сопел. Я не знал, что он вовсе и не пытался напугать меня своим сопеньем. Это, кажется, тоже был какой-то дядя, вроде бы даже прадеда, но, по моему глубокому убеждению, на дядю он не походил ничуть.

Жили мы на Браеровской улице, в доме номер четыре, на третьем этаже. На прогулку обычно ходили — отец и я — в Иезуитский сад или вверх по аллее Мицкевича, в сторону церкви святого Юра. Не знаю, зачем отец носил тросточку: в то время он ею еще не пользовался. Зимними днями, когда в саду было слишком много снега, мы прогуливались по

Маршалковской перед Университетом Яна Казимира, где, задржав голову, я мог рассматривать огромные полунагие каменные фигуры в странных, тоже каменных, шляпах. Эти фигуры неподвижно исполняли свои непонятные функции: одна сидела, другая держала раскрытую книгу, оперев ее о голое колено. Постоянное задирание головы было мучительным, поэтому в основном я рассматривал шествующего рядом отца примерно на уровне коленей — лишь немного выше. Однажды я заметил, что на отце не обычные его ботинки со шнурками, а какие-то совершенно мне незнакомые, гладкие, без следа застежек. Исчезли и его гамаши, с которыми он не расставался. «Откуда у тебя такие ботинки?» — удивленно спросил я, и тогда с высоты раздался чужой голос: «Вот это смельчак!» Это был вовсе не отец, а какой-то чужой господин, к которому я неведомо как пристал; отец шел в нескольких шагах позади.

Я перетрусил. Видно, это было не очень приятное переживание, коль я его так хорошо запомнил.

Иезуитский сад был не очень велик, но все равно однажды я в нем заблудился; однако это случилось так давно и я был такой маленький, что, собственно, это даже не мое воспоминание; мне просто об этом рассказывали. В кустах — кажется, в орешнике, потому что ветки были красные, — стояла огромная бочка с водой; спустя, вероятно, лет тридцать я перенес ее в рассказ «Сад тьмы». Правду говоря, Иезуитский сад не был таким уж привлекательным. Другое дело Стрыйский парк. Там было озерко в форме восьмерки, а по правой стороне шла аллея, ведущая на край света. Почему я так считал, не знаю. Может, потому, что мы никогда туда не ходили, может, мне кто-нибудь так сказал. Но, пожалуй, я все-таки выдумал это сам и даже довольно долго склонен был в это верить. У Стрыйского парка были по крайней мере две достопримечательности: запутанная топография и великолепное соседство выставочного района Восточной ярмарки. Зимой и летом над ней возвышалась башня Бачевского, четырехугольная, вся обложенная рядами запечатанных разноцветных бутылок. Меня всегда интересовало: был ли в бутылках настоящий ликер или только цветная вода? Но этого не знал никто.

В Стрыйский парк мы обычно ездили на дрожках, а в Иезуитский сад просто шли пешком. А жаль, потому что проезжая часть площади перед университетом была выложена специальной брусчаткой — деревянной, — и конские копыта, ударяя по ней, высекали особый звук, словно под

брусчаткой скрывалось огромное пустое пространство. Это не значит, что столь близкие прогулки не доставляли мне удовольствия. У входа в сад сидел человек с «колесом счастья». Мне несколько раз удавалось выиграть жестяные портсигары с желтоватыми резинками для удержания папирос. Но по большей части доставались лишь двусторонние карманные зеркальца. Там же стояли лотки с мороженым, которое мне запрещено было есть. А потом, когда я немного подрос, я там иногда встречал Анюсю. Старушечка немного повыше меня ростом, в проволочных очках, с корзинкой кренделей, когда-то была моей первой няней. Крендели поменьше шли по пять грошей за пару, и эти я предпочитал, те же, что потолще, стоили пять грошей штука. Десять грошей называли «шустак» — это была солидная сумма.

Домой из сада возвращались или напрямик, или окружной дорогой через площадь Смольки. Это делалось для того, чтобы в лавке Оренштейна купить фруктов, а то и вишневый компот в жестяной банке, который считался редким деликатесом. В витрине всегда возвышалась пирамида румяных яблок, мандаринов и бананов с овальной этикеткой, снабженной надписью «Fyffes». Слово это я запомнил, но что оно означало, не знаю до сих пор. Немного дальше, там, где начиналась Ягеллонская улица, находилось кино «Марысенька». Я его ужасно не любил, потому что ходил туда с матерью, когда, мне думается, она не знала, что со мной делать. Того, что происходило на экране, я не понимал и скучал страшно. Порой кончалось тем, что тихо, украдкой я сползал со стула на пол и принимался на четвереньках исследовать окрестности, ползая между ногами людей, но и это тоже скоро надоедало. Поэтому приходилось ждать, пока фильм кончится. Господа на экране безмолвно открывали и закрывали рты, звучала лишь музыка. Вначале фортепьянная, позже, кажется, с граммофонных пластинок.

Да, так, значит, мы возвращались домой. С площади Смольки надо было идти по неинтересной улице Подлевского, а потом по маленьким улочкам Шопена и Монюшки, где сильный запах из помещения, где жарили кофе, свидетельствовал о том, что вот-вот покажется наш дом.

За черными и тяжелыми железными воротами начинались каменные ступени. По черной лестнице, кухонной, ходить не полагалось. Она была спиральная, очень крутая и издавала глухой жестяной звук. Меня туда все время что-то тянуло, но, кажется, во дворе, через который сначала надо было пройти, жили крысы. Однажды такая крыса даже появилась

у нас на кухне; в то время мне было уже лет, наверно, десять, а может, и одиннадцать. Крыса была страшная. Когда я двинулся на нее с кочергой, она прыгнула мне на грудь; я сбежал, и ее дальнейшая судьба мне не известна.

Мы жили в шести комнатах, и все-таки своей у меня не было. К кухне примыкала проходная комната со старой кушеткой, старым, некрасивым буфетом и подоконными шкафчиками, в которых мать хранила запасы; одна дверь, покрашенная в тон стены, вела в ванную, другая — в коридор, из которого можно было попасть в столовую, кабинет отца и спальню родителей; особая дверь вела в запретную зону — приемную отца. Я жил вроде бы везде и одновременно нигде. Сначала я спал с родителями, потом на диване в столовой, время от времени пытался в каком-нибудь месте осесть, но из этого ничего не получалось. Когда было тепло, я оккупировал небольшой каменный балкон, на который можно было попасть через кабинет отца. С него я — мысленно — совершал нападения на соседние дома, трубы которых, дымя, превращали их в военные корабли. Сидя на балконе, я чувствовал себя Робинзоном, а точнее — самим собою, заброшенным на необитаемый остров.

Мои интересы уже с малых лет были тесно связаны с гастрономией. Я массу времени уделял созданию запасов провизии. Особую симпатию я питал к зернам лущеной кукурузы в маленьких бумажных пакетиках, бобам, а когда приходила пора, к черешне — боевому сырью: ее косточками было неплохо стрелять из оружия ближнего боя, то есть с помощью пальцев. Не оставались без внимания и липкие кофейные тянучки и остатки сладкого после обеда. Я окружал себя тарелочками, мешочками, пакетиками и начинал многотрудную и полную опасностей жизнь отшельника. Грешнику, даже преступнику, мне было о чем поразмыслить. Я научился проникать в средний ящик буфета, в котором мама прятала ватрушки и торты; я вынимал верхний ящик и ножом обрабатывал кружочки сладкого теста с таким расчетом, чтобы на первый взгляд нельзя было ничего заметить. Потом собирал и съедал крошки, а нож, орудие преступления, старательно облизывал для сокрытия следов. Порой мрачная страсть к засахаренным фруктам, которыми были украшены кондитерские изделия, побеждала во мне здравый смысл, и много раз бывало, что я обдирал глазированную поверхность, безбожно лишая ее зеленого, сладко хрустящего под зубами аира, апельсиновых корочек и цукатов, так что появившиеся пролысины уже невозможно

было скрыть. Потом я ожидал последствий рокового поступка с чувством безнадежности и одновременно со стоическим отчаянием.

Свидетелями моих балконных сиест были два олеандра в больших деревянных кадках, цветущие один белым, другой розовым цветом; я сосуществовал с ними по принципу нейтралитета; от их присутствия мне было ни холодно, ни жарко. В комнатах тоже было несколько растений-вырожденцев, дальних измельчавших родственников южной флоры; какая-то пальма, которая, если мне память не изменяет, все время умирала, словно покрывалась ржавчиной, но никак не могла погибнуть окончательно; филодендрон с жестянными листьями и маленькая сосенка, а может, елочка — не помню, — каждый год выпускающая бледно-зеленые пахучие стрелочки юных иголок.

В спальне были две вещи, с которыми связаны мои самые ранние воспоминания: потолок и огромный железный сундук. Я спал там, в спальне, будучи еще совсем маленьким, и часто рассматривал лепной потолок с гипсовыми дубовыми листьями и пузатыми желудями между ними. Мои предсонные мечтания как-то переплелись с этими желудями, и я много думал о них — точнее, их созерцание занимало много места в моем психическом бытии. Мне ужасно хотелось их сорвать, но не взаправду — словно я уже тогда понимал, что острота желаний гораздо важнее их осуществления. Между прочим, что-то от этой инфантильной мистики перешло на настоящие, живые желуди: снятие с них шапочек в течение многих лет казалось мне чем-то особым, приоткрывающим что-то необычное, актом, имеющим огромное значение. Я пытаюсь передать, насколько это было для меня важным, — пожалуй, напрасно.

В этой спальне — да, кажется, в ней — умерли мои дедушка и бабушка. После дедушки остался железный сундук, предмет чрезвычайно тяжелый, огромный, никому не нужный, что-то вроде домашней сокровищницы тех времен, когда еще не было профессиональных взломщиков сейфов, а существовали лишь примитивные со всех точек зрения воришки, в наивности своей пользовавшиеся какой-нибудь палкой либо дубинкой. Железный сундук был приставлен к наглухо заколоченной двери, отделяющей спальню родителей от комнаты ожидания для больных. Сундук был снабжен большими ручками и плоской крышкой с какими-то вырезанными на ней листьями и квадратным клапаном посредине. Стоило этот клапан особым образом нажать сбоку,

как он отскакивал, открывая отверстие для ключа, — хитрость, как я теперь вижу, была трогательно добропорядочной. Однако в то время черный сундук казался мне делом рук изощренных умельцев, и вовсе уж сверхъестественное изумление вызывал во мне ключ к нему — огромный, как мое предплечье. Я долго и нетерпеливо дорастал до того момента, когда смог наконец впервые повернуть его в скважине; эта операция потребовала от меня максимальных усилий, и, лишь ухватив ключ обеими руками, я смог одолеть его сопротивление.

Правда, я знал, что в сундуке нет сокровищ. Там на дне лежало несколько старых, пожелтевших газет и бумаг и еще деревянная шкатулка, полная восхитительных тысячекарбовых банкнотов времен большой инфляции. Я даже пытался играть этими марками, а также сторублевками, которые были еще красивее: голубоватые, очень веселые, тогда как коричневато-бурые немецкие марки цветом напоминали замызганные обои. Какая-то непонятная история приключилась с этими деньгами, неожиданно лишив их всемогущества. Вот если бы мне их не давали, я, может, и поверил бы в то, что остатки могущества, гарантированного цифрами, печатями, водяными знаками, портретами коронованных бородатых мужей в овале, в них еще сохранились и только дремлют до поры до времени. Но я мог делать с ними что душе угодно, и поэтому они вызвали презрение, которое обычно начинаешь чувствовать к великолепию, оказавшемуся на поверку вульгарной подделкой. Поэтому рассчитывать я мог не на эти банкноты, а лишь на то, что *могло бы* произойти внутри черного сундука, пока он был под замком, а замкнут он был, собственно, всегда — с моего молчаливого согласия, которого, естественно, никто не спрашивал. Да, надо думать, там, в темноте, внутри, *могло что-нибудь* случиться. Поэтому открывание сундука было актом весьма значительным и нелегким. С трех сторон ужасно тяжелой крышки откидывались длинные защелки; крышку надо было поднять и подпереть специальными подпорками, иначе, падая, она могла — как меня уверяли и я охотно верил — отсечь голову. От такого сундука можно было всего ожидать. Он вовсе не был привлекательным, или приятным, или хотя бы просто красивым. Скорее угрюмым и безобразным — тем не менее я долго рассчитывал на присущую ему внутреннюю силу. В дне сундука были предусмотрительно просверлены отверстия, чтобы его можно было наглухо привернуть к полу: отличная идея. Но не было уже винтов, теперь они были ни к чему;

еще позже сундук накрыли старым ковриком, и, таким образом, он был окончательно занесен в разряд ненужной мебели, унижен, и его перестали замечать. Иногда, очень редко, я показывал кому-нибудь из ровесников ключ от него — он вполне мог сойти за ключ от городских ворот. Но со временем и он куда-то запропастился.

В примыкающем к спальне кабинете отца стоял большой застекленный книжный шкаф с внутренним замком, огромные кожаные кресла и круглый столик с довольно интересными ножками — они напоминали кариатид: под самой крышкой каждая из них кончалась металлической головкой, а внизу из-под дерева, словно из маленького гробика, выступали босые, тоже металлические, человеческие ступни. Однако это вовсе не казалось мне жутким и вообще не вызывало никаких ассоциаций. Я одну за другой методично пооткручивал все головки — полые бронзовые отливки, — и хотя потом старательно поприделял их на место, они все равно болтались под крышкой столика, когда его передвигали.

У стены одиноко стоял замкнутый на все замки письменный стол отца, покрытый зеленым сукном. Там в своем обычном ящике хранились деньги, но уже настоящие. Изредка в нем гостили сокровища более значительные, с моей тогдашней точки зрения, — коробочка шоколада «Нарделли», привезенная из самой Варшавы, или другая — с фруктовым мармеладом. Отец обычно долго священнодействовал связкой ключей, прежде чем какая-нибудь из этих сладостей, по-аптечному отмеренная, появлялась передо мной, разрываемым двумя взаимоисключающими желаниями: проглотить угощение молниеносно или же упиваться перспективой этого поглощения по возможности дольше. Как правило, я все проглатывал сразу. В столе были спрятаны еще две удивительно интересные вещи. Первая — это маленькая заводная птичка в коробочке, выложенной перламутром, родом, кажется, с Восточной ярмарки. Птичка эта была не подлежащим продаже экспонатом какой-то экзотической экспозиции. Отец, увидев, что после нажатия миниатюрной кнопочки открылась плоская перламутровая крышечка, а под ней вторая — в золотую клеточку — и из коробочки выскочила малюсенькая, меньше, чем ноготь, птичка, вся темно-радужная от блесток, и, трепеща крылышками, шевеля клювиком, стреляя глазками, завертелась, словно флюгер на костеле, и запела, пустил в ход все свои знакомства и связи и в конце концов за неведомую мне баснословную сумму

купил эту драгоценность. Он доставал ее из-под замка и заводил в исключительных случаях, тщательно следя, чтобы она не попала мне в руки, ибо было совершенно очевидно, что это была бы последняя минута в жизни птахи, как бы я с собой ни боролся, ведь я не меньше отца дивился на нее и даже почитал. Птичку отцу продал, кажется, очень важный представитель заморской фирмы, точнее — японец. Скорее всего, это версия, которой я остался верен. Некоторое время в столе обитала другая птичка, похуже, размером с воробья, заводная, которая музыкальными способностями не обладала, а только рьяно долбила стол, если ее на него ставили. Однажды я выпросил ее на некоторое время; в тот день и окончилась ее история. Были еще в столе отца всякие диковинки, из которых лучше всего я помню очки из золотой проволоки со стеклышками-рубинами, тоже в золотом футлярчике, длиною не больше спички. Другие, менее ценные вещицы хранились в стеклянном шкафу в столовой. Это были плоды искусства миниатюризации — крохотный столик с шахматной доской и раз навсегда расставленными на ней шахматами, курятник с курочками, скрипки (у них я повыдергивал струны) и разная мелочь из слоновой кости, какие-то стульчики, диванчики, яйцо, которое, открываясь, являло миру множество сбившихся в кучу фигурок; потом еще серебряные рыбки, сделанные из пустотелых металлических сегментов, что позволяло их изгибать, а также коричневые, помнится, креслица с обивкой; сиденья были размером с ноготь, атласные и мягкие. Сам не знаю, каким чудом большинство этих предметов в течение многих лет выдерживало мое активное присутствие. Однако возвращаясь к кабинету, к его старым большим креслам; в узких, но глубоких провалах между спинками и сиденьями постепенно накапливались разные предметы — монеты, пилки для ногтей, ложечки, гребешки; все это я весьма усердно, выкручивая себе пальцы, — а креслам пружины, скрипевшие словно в агонии, — вылавливал, вдыхая аромат мертвой кожи, столярного клея, шершавого полотна. Меня влекли не столько сами находки, сколько неясная надежда, что я найду — или даже скорее, что они сами как-то вылупятся, — предметы совершенно иные, наделенные непередаваемыми свойствами. Поэтому я старался быть один, когда с тихой яростью принимался пытаться потемневшие от старости мягкие кресла. То, что ничего необычного я в них не обнаруживал, как-то не остужало моего запала.

Теперь, пожалуй, уже пришла пора поговорить о первых

основах мифологии, которую я в то время исповедовал. Я верил, например, никому не признаваясь в этом, что мертвые предметы не менее, чем люди, ущербны, а следовательно, и они могут страдать рассеянностью; и если запастись терпением, их можно заставить врасплох, принуждать, в частности, к делению. Так, если, скажем, лежащий в шкафу перочинный ножичек забудет, где ему положено быть, то его удастся отыскать в совершенно ином месте — например, между книгами на полке; и тогда, попав в совершенно безвыходное положение и не будучи в состоянии выбраться из шкафа, он раздвоится, и получится два одинаковых ножичка. Таким образом, я считал, что предметы подвластны некоей логике неизбежности, они должны подчиняться определенным правилам, и тот, кто отлично знает эти правила, может добиться желаемого от этой якобы мертвой материи. Долгое время несколько бездумно и бессознательно я исповедовал эту религию — и не могу сказать, избавился ли я от нее окончательно.

Книжный шкаф — поскольку он был заперт — притягивал меня. В нем находились главным образом медицинские книги и анатомические атласы отца; благодаря его рассеянности я имел возможность основательно и методично ознакомиться с деталями различия полов. Однако, странное дело, гораздо больше меня привлекали тома остеологии. Человек с содранной кожей, изображенный на кроваво-красных или кирпичных миологических картинках, мне не нравился; в нем было что-то от бифштекса с кровью, которого я не переносил, которым гнушался. Зато скелеты были очень опрятны. Не знаю, сколько мне было лет, когда я впервые листал эти черные тома *in quarto* с большими желтыми гравюрами — изображениями черепов, ребер, тазобедренных суставов и берцовых костей. Во всяком случае, я не боялся ни мертвецов, ни материала, из которого они состояли, но и особого удовольствия они мне не доставляли. Это немного напоминало изучение описаний к большим детским «конструкторам», в которых вначале нарисованы отдельные рычажки, оси, колесики, а уж потом, на следующих страницах, конструкции, которые можно из них собирать. Возможно, остеологические атласы были в какой-то степени созвучны моим, правда проявившимся значительно позже, конструкторским интересам. Я добросовестно изучал эти тома и некоторые рисунки помню по сей день. Например, костлявые ступни скелетов: маленькие косточки, связанные

полосками сухожилий, раскрашенных, возможно, для большей наглядности в голубой цвет.

Отец был ларингологом, поэтому основную часть библиотеки составляли пухлые книги, посвященные болезням уха, горла, носа. Эти органы вместе с их недугами я втихую и по секрету считал второсортными, в чем отдаю себе отчет лишь сейчас. Среди множества книг находился самый монументальный во всем собрании труд, многотомный немецкий Handbuch по оториноларингологии. В каждом его томе было не меньше тысячи мелованных страниц. Там можно было увидеть бесчисленные человеческие головы, разрезанные самым неожиданным образом, со всей их машинерией, чрезвычайно старательно вырисованной и раскрашенной; притягивали меня также изображения мозга, разные слои которого отличались друг от друга всеми мыслимыми цветами. Бессознательно и, надо сказать, не очень умно я много лет спустя удивился, впервые увидев в прозекторской мозг в натуре (то есть, разумеется, в виде анатомического препарата): он вовсе не был пестрым, как попугай. Поскольку эти анатомические сеансы были запрещены, мне приходилось устраивать их особым образом. Подробная разработка тактических ходов отнюдь не является привилегией взрослых — каждому ребенку приходится этим заниматься. Я словно наездник сидел на большом поручне кресла, которое хрустело кожей при каждом моем движении. Защитившись со стороны входной двери открытой створкой книжного шкафа — чтобы иметь возможность в любой момент сказать, что я-де только что его открыл, а также по возможности быстро и незаметно всунуть книгу на место, — опирал том о спинку кресла и в такой позиции предавался изучению. Интересно и то, что я тогда думал: меня особенно привлекала аккуратность, точность исполнения рисунков — разочарование опять пришло лишь много лет спустя, когда я понял, будучи уже студентом медицинского института, что в кабинете отца я рассматривал лишь идеал, общий случай расположения нервов или крючков для оттягивания сухожилий. Не помню также, чтобы я когда-нибудь связывал то, что рассматривал, с собственным телом. В этих огромных изображениях не было ничего тревожного — быть может, благодаря деловитости, фрагментарности, пытливой многосторонности этих пухлых томов — они являли мне не только анатомические подробности, но и нарисованные кончики пальцев, держащих тупые или острые крючки, с помощью которых полагалось для лучшего обзора оттягивать в стороны

участки разрезанной кожи. Были там и другие книги, уже с действительно жуткими картинками, но, собственно, настолько уж жуткими, что я их тоже не боялся. На них были изображены изуродованные войной человеческие лица; там были лица безносые, лишенные челюстей, ушных раковин и даже в полном смысле слова лица без лиц, от которых остались одни лишь глаза, глядевшие из рубцов и шрамов с выражением, которое мне ни о чем не говорило. Мне не с чем было его сравнить, оно мне ничего не напоминало. Может, от таких картинок немного и бегали по спине мурашки, но так бывает и при слушании сказок — в них обычно происходят ужасные вещи, — так что эта дрожь, сама по себе желанная и даже приятная, не была для меня чем-то из ряда вон выходящим. Более того, многие картинки мне просто казались смешными. Они были посвящены проблемам протезирования и демонстрировали искусственные носы, прицепленные к очкам, уши на ленточках, масочки, имитирующие легкую улыбку — совсем невинную, — искусно сделанные затычки для продырявленных щек, зубные протезы, заменители нёба. Все это казалось мне каким-то маскарадом, какими-то развлечениями взрослых, не совсем понятными, как и множество их обычаев, но я не видел здесь ничего плохого или зазорного. Это мне даже в голову не приходило. В сущности только один предмет — не книжка — вызывал беспокойство. На одной из полок, перед золочеными корешками толстых томов, лежала височная кость — вываренный препарат, результат так называемой полной операции на среднем ухе — с пробитым сосочным отростком. Разумеется, ничего этого я не знал, просто эта кость — по весу и на ощупь немного похожая на те, что оставались на дне супницы с бульоном, — обнаруженная в книжном шкафу, словно бы умышленно подброшенная, заставляла задуматься и даже немного тревожила. У нее был какой-то особый запах, прежде всего пыли, книг, библиотеки, но сквозь него тонкой струйкой пробивался другой, немного сладковатый и немного с гнильцой. Иногда я подолгу обнюхивал ее, как бы пытаясь уразуметь, что же, собственно, это такое, словно обоняние было тем чувством, которое откроет мне больше, чем остальные. В конце концов это вызывало легкое отвращение; тогда я откладывал кость, стараясь положить ее на ту же полку, на которой она лежала до этого.

На нижних полках почивали кучи растрепанных, рваных французских романов и каких-то журналов; один — на

немецком языке — назывался «Uhu»*. То, что я смог прочесть названия, не помогает мне установить хронологию этих изысканий, поскольку печатный шрифт я умел читать уже в четыре года. Я только листал рассыпающиеся сброшюрованные французские романы, так как в них были иллюстрации весьма фривольные, в стиле *fin de siècle***. Вероятно, там были какие-то пикантные истории, но это вывод теперешний, поздняя реконструкция, опирающаяся на воспоминания, уже сильно размытые временем. На одних страницах были дамы и господа в изысканных светских позах, а несколькими страницами дальше эта галантность вдруг уступала место утопающей в кружевах наготы, кто-то убегал через окно, теряя брюки, нагие дамы в длинных черных чулках бегали по комнате; теперь я вижу, что соседство обоих видов книжек было достаточно своеобразным, а сам порядок, в котором я все это листал, был тоже достаточно забавен, забавен до ужаса, коль скоро я, восседая верхом на кресле, без всяких хлопот или колебаний переходил от скелетов к эротике. Как бы там ни было, я воспринимал все это так же, как облака и деревья; ведь я еще всему учился, ко всему должен был привыкать, и ничто у меня, собственно, ни с чем не вступало в диссонанс.

На нижней полке лежала длинная жестяная труба с широким концом, из нее торчал рулон плотной желтоватой бумаги, от которой шел плетеный черно-желтый шнур, заканчивающийся плоской коробочкой, содержащей в себе как бы маленький светло-красный пряник с выпуклым изображением и надписями. Это был докторский диплом отца на пергаменте, возвышенно начинающийся отпечатанными огромными буквами словами: «SUMMIS AUSPICIIS IMPERATORIS AC REGIS FRANCISCI IOSEPHI...»***, пряник же, который я осторожно раз за раз пытался надкусить, но больше не пробовал, так как он был невкусный, представлял собой большую восковую печать Львовского университета. Разумеется, вначале я знал лишь, что в трубе хранится диплом (мне это сказал отец, хоть я и не понимал, что это значит), который мне запрещалось вынимать из трубы (при этом я не очень-то верил, что пергамент действительно сделан из обработанной ослиной кожи). Позже я сумел

* «Филин» (нем.).

** Конец века (фр.).

*** Под высшим командованием императора и короля Франца-Иосифа (лат.).

прочитать несколько слов, ничего, однако, не понимая. В первом, кажется, классе гимназии я уже мог перевести эти возвышенные слова; я говорю об этом потому, что на примере диплома отчетливо виден тот процесс возобновляемого и многократного познания предметов и явлений, с помощью которого я постепенно как бы переходил с этажа на этаж; каждый раз я узнавал очередную версию явления или вещи, что само по себе не представляет ничего необычного. Каждый это знает, ибо, знакомясь с историей собственного происхождения, вначале узнает «версию аиста», а уж потом вторую, более реалистичную. Но дело в том, что все предыдущие версии, даже явно фальшивые, как, например, «версия аиста», отброшенные, не исчезают бесследно. Что-то от них в нас остается, сливается с последующими, смешивается — одним словом, как-то продолжает существовать. Но это не все. Конечно, если говорить о фактах вроде диплома моего отца, нетрудно установить истинную версию, ту единственную, которая соответствовала истине. Иначе обстоит дело с переживаниями. У каждого из них свой вес и своя правда, безапелляционная и ни от чего, кроме себя самой, не зависящая, и в этом вся беда, поскольку единственным стражем и гарантом их истинности является память. Конечно, можно бы заметить, что существуют «переживания неадекватные», вроде моих мечтаний о черном железном сундуке. Однако не всегда удается сделать столь решительный вывод.

За боковой створкой двери в отцовской библиотеке находились плотно уложенные книги, к которым я даже не приступал, убедившись однажды, что картинок там нет. Я лишь помню цвет и вес некоторых из них, не более. Многое бы я отдал, лишь бы узнать, что же собрал там мой отец, но библиотека была поглощена хаосом войны, от нее не осталось и следа, а потом творилось такое и столько, что было просто некогда разбираться в этом. Поэтому версия, созданная ребенком, примитивная, неверная, — собственно, никакая, — должна стать для меня последней, и это относится не только к книгам, но и ко множеству событий, подчас драматичных, которые разыгрывались вокруг меня. Если бы я пытался их реконструировать задним числом, делать выводы и строить домыслы, это превратилось бы в рискованный труд, — кто знает, не нафантазировал ли бы я тогда уже не как ребенок. Поэтому, я думаю, мне надо отказаться от подобного намерения.

В столовой, как я уже говорил, кроме разношерстных стульев и стола, раздвигаемого во время больших приемов,

стоял солидный буфет, средоточие сладостей, этажерка с «нипами»*, владением матери, а под окном лежал пушистый ковер, на котором немного позже я охотно валялся, читая книги — уже купленные специально для меня. Поскольку, однако, чтение было действием весьма пассивным и слишком простым, я имел обыкновение ставить себе на лодыжку, или под колесо, или на подошву ножку какого-нибудь стула и легкими движениями, балансировал им, удерживая его в состоянии неустойчивого равновесия, на самой его границе. Много раз мне приходилось резко прерывать чтение, чтобы поймать падающий стул, иначе его грохот мог привлечь ко мне нежелательное внимание домашних. Впрочем, я слишком забежал вперед, но очень трудно систематически избегать этого.

Насколько я помню, я довольно часто болел. Меня загоняли в постель различные ангины, бронхиты, и в принципе это было время величайших привилегий. Не только все кружилось вокруг меня, не только отец особо подробно выспрашивал меня о самочувствии, используя при этом определенные признаки и показатели, которые должны были с исключительной точностью определить мое самочувствие в выдуманных градусах несуществующей шкалы, но, кроме того, я был объектом сложнейших процедур. Не все я относил к приятным — например, питье горячего молока с маслом. Но вот ингаляции становились для меня воодушевляющим развлечением. Сначала приносили большой таз, наливали в него горячую воду, затем отец из маленькой бутылочки с притертой пробкой добавлял туда немного маслянистой жидкости и шел на кухню, где тем временем уже раскаляли докрасна на огне чугунный кружок кухонной плиты. Отец брал его щипцами, нес в комнату и опускал в таз, а я должен был старательно вдыхать клубы пара, пахнувшие ароматным маслом. Отличнейшее это было зрелище — бешеное кипение воды, шипение раскаленного железа, от которого отпадали почерневшие крошки окарины, а вдовавок ко всему я старался воспользоваться оказией и запустить в таз что только под руку попадало: например, целлулоидную утку или деревянный пенал. Надеюсь, я не симулировал страданий. Впрочем, видимо, такого рода попытки все-таки были. Их просто не могло не быть, коль мне, как больному, отец ни в чем не мог отказать: и птичка в перламутровой коробочке пела для меня, и золотыми очками с рубиновыми

* Изящные безделушки (от нем. Nippes).

стеклышками я мог играть, и еще, возвращаясь из больницы, отец приносил так называемые «узелки» с игрушками. Поэтому без всякого преувеличения я могу сказать, что наподобие некоторых дам наибольшие выгоды я получал, лежа в постели. В результате одной из ангин мне достался автомобиль-гигант, деревянный лимузин таких размеров, что я мог ездить на нем верхом, сидя на крыше. Правда, более серьезные болезни, вроде камня, выросшего у меня в пузыре, с их болями и температурой, делали все подарки и игры недостаточной услугой бытия. Однако так или иначе я всегда выздоравливал.

Будучи здоровым, я большую часть времени проводил наедине с собой. Я охотно исследовал квартиру, ползая на четвереньках. По непонятным причинам самое большое удовольствие я получал, воображая себя каким-нибудь животным, и этой игрой я занимался так усердно, что на коленках у меня выросли толстые, твердые мозоли, которые еще сохранялись, когда я уже ходил в старшие классы начальной школы.

Пора описать мои порочные наклонности. Я ломал все игрушки. Быть может, наиболее позорным моим поступком была поломка отличнейшей маленькой шарманки, блестящей деревянной коробочки, в которой под стеклышком вертелись золотистые зубчатые колесики, вращающие золотистый же бронзовый валик с иголками, так что возникали хрустальные мелодийки. Недолго я радовался этой чудесной вещице. В середине ночи встал, видимо решившись заранее, потому что, почти не задумываясь, поднял стеклянную крышечку и напрудожил внутрь. Позже я так и не сумел объяснить обеспокоенным домашним мотивы этого нигилистического акта. Какой-нибудь фрейдист наверняка подыскал бы для меня соответствующий звучный термин. Во всяком случае, о том, что шарманочка умолкла, я сожалел, пожалуй, не менее искренне, чем какой-нибудь *Lustmörder** о своей свежей жертве.

Увы, это не было единичным действием. У меня был маленький мельник, который, после того как его заводили, вносил мешочек с мукой на верх лестницы, в амбар, спускался за следующим, опять его вносил, и так до бесконечности, потому что сброшенные в амбар мешочки тем временем съезжали к низу лестницы. Был у меня водолаз в скафандре, заточенный в пробирку с резиновой мембраной.

* Убийца-садист (нем.).

Когда на эту мембрану нажимали, он погружался в воду. Были у меня клюющие птички, вертящиеся карусели, гоночные автомобили, кубыркающиеся куклы — и все это я безжалостно потрошил, извлекая из-под блестящих красочных оболочек колесики и пружинки. Волшебный фонарь фирмы Патэ с эмалированным петушком Франции на стенке мне пришлось обрабатывать тяжелым молотком, толстые линзы объектива долго сопротивлялись его ударам. Жил во мне какой-то бездумный, отвратительный демон разрушения; не знаю, откуда он взялся, так же как не знаю, что с ним случилось позже.

Когда я стал немного — но только совсем немного — повзрослей, я уже не смел так вот, попросту, с детской непосредственностью — потому что, видимо, постепенно терял ее — схватиться за орудие преступления и пырнуть им очередную жертву. Тогда я уже пытался отыскивать для себя различные оправдания. Ну, например, что-де там, внутри, надо что-то отрегулировать, поправить, проверить. Это было копсечное притворство, потому что, конечно же, я не только не сумел бы этого сделать, но даже и не пытался. И все-таки мне казалось, что я имею право так поступать; когда мать резко запротестовала, увидев, что я начал вбивать гвоздь в буфет (мне нужен был крючок для подвесной дороги), я надолго и горько обиделся. Из круга тотального уничтожения была исключена только кукла мужского пола по имени Вицусь — тощий паренек, полный опилок, рыжеватый блондинчик, которому я шил костюмы, башмаки и который болтался потом по квартире, пожалуй, до самой войны. Однажды в приступе неудержимой жажды познания я немного подраспорол его, но тут же зашил ему дырку в животе, а может, пришил оторванную руку, не помню. Я много беседовал с ним, но об этом мы никогда не вспоминали.

У меня не было собственного угла, поэтому я с возрастающей разнузданностью бесчинствовал по всем комнатам. Недоседающие конфеты я обычно прилеплял к столу, под крышкой, и со временем там образовались воистину геологические залежи сладких окаменелостей. Извлеченные из шкафов костюмы отца я переделывал в манекены, восседающие на стульях и креслах, — в поте лица набивал свернутыми в рулоны журналами их болтающиеся рукава, а внутрь запихивал что под руку попадало. В сезон созревания каштанов я пытался что-то делать с этими изумительнейшими плодами, которые настолько привлекали

меня, что, сколько бы я их ни набирал, мне все равно не хватало; они уже сыпались у меня из-под рубашки, а я запихивал в карманы, в трусы-дутики все новые и новые... Но вскоре убедился, что красивыми и блестящими бывают только каштаны, оставленные на свободе, заключенные же в коробочки, они быстро морщятся, тускнеют, дурнеют. Калейдоскопами, которые я вскрывал, можно было обдарить целый приют, а ведь я знал, что в них нет ничего, кроме цветных стекляшек. Вечерами я охотно смотрел с балкона, как темная улица оживает от огней. Неведомо откуда бесшумно появлялся фонарщик, на мгновение задерживался около очередного фонаря, поднимал свой шест — и маленькая бабочка огонька тут же разрасталась в голубоватое пламя. Некоторое время я хотел быть фонарщиком.

Из двух сил, двух категорий, которые берут нас в свое владение, когда мы неведомо как появляемся на свет, пространство, что ни говори, гораздо менее непонятно. Правда, и оно подвержено изменениям, но их суть проста: пространство постоянно сокращается по мере того, как уходят годы, — больше ничего. Из-за этого понемногу уменьшалась площадь нашей квартиры, и Иезуитский сад, и спортивная площадка Второй государственной гимназии имени Кароля Шайнохи, в которую я ходил восемь лет. Правда, мне легко было не заметить эти изменения, потому что одновременно росла моя собственная активность, я перемещался по Львову все смелее, так что измельчание отдельных хорошо знакомых мест заслонялось сериями эскапад все более дальних. Поэтому уменьшение размеров удастся заметить относительно поздно. Пространство, как ни говорите, остается солидным, единым, лишенным каких-либо западней и ловушек. Зато враждебной стихией, по-настоящему коварной и даже, я бы сказал, противной природе человека, является время. Прежде всего в течение многих лет величайшие трудности для меня представляли попытки различить смысл понятий «завтра» и «вчера». Признаюсь — об этом я еще ни разу не говорил, — что оба понятия я довольно долго помещал в пространстве. Я считал, что «завтра» располагается над потолком, как бы на следующем этаже, и опускается на нижний уровень ночью, когда все спят. Правда, одновременно я знал, что на четвертом этаже нет никакого «завтра», а живет некое семейство и есть там взрослая дочь и золотистая коробочка, полная зеленоватых, липнувших к пальцам конфет. Э и конфеты, заполняющие рот эвкалиптовой мятой,

вовсе мне не нравились, и тем не менее я любил их получать, учитывая, вероятно, сопутствующие обстоятельства. Конфеты хранились в ящике секретера, снабженного дерсвянной шторкой, которая, опускаясь и закрывая верх стола своими выпуклыми ребрами, гремела, словно водопад. В то время я понимал, что, взойдя наверх, я не смогу застать «завтра» врасплох, а спустившись, не поймаю «вчера», так как под нами жили владельцы дома. Несмотря на это, я был все-таки убежден, что «завтра» находится над нами, а «вчера» — под нами; причем это «вчера» отнюдь не растворилось в небытии, но продолжает существовать, выпотрошенное, где-то там, под моими ногами. В этом образе было явное противоречие, но оно мне как-то не мешало.

Но все это лишь предварительные и, добавим, элементарные замечания. Я помню ворота, лестницу, двери, коридоры и комнаты дома на Браеровской, в котором родился; помню также множество людей — например тех же соседей, но без лиц, потому что лица изменялись, а моя память, не отдающая себе отчета в неотвратимости подобных изменений, была бессильна перед ними, так же как фотографическая пластинка бессильна перед движущимся предметом. Конечно, я могу представить себе отца, но четче буду видеть его фигуру, одежду, нежели черты лица, потому что друг на друга наложились образы многих лет и я не знаю, каким хочу его увидеть: уже совершенно седым или еще крепким пятидесятилетним мужчиной; подобным же образом обстоит дело со всеми, рядом с кем я пребывал достаточно долго. Когда погибают фотографии и портреты, проявляется эта наша полнейшая безоружность перед лицом времени: узнать, каково его действие, можно рано и быстро, но это знание теоретическое, ни на что, собственно, не пригодное, ведь уже пятилетним мальчишкой я знал, что означают понятия «молодой» и «старый», потому что было старое масло и была молодая редиска. Я многое знал о днях недели, даже о годах (у лет были свои оттенки — двадцатые годы в начале своем были светлые, потом, по мере приближения к девятке, они темнели), и однако, по сути дела, верил в неизменность окружающего. Особенно людей. Я не мог примириться с мыслью, что взрослые не всегда были такими. Меня даже немного раздражали уменьшительные имена, которыми они наделяли друг друга; мне это казалось противоестественным. Ведь уменьшительные имена были только для детей. Мне казалось абсурдным, когда старик обращался к другому старику, называя его Стасик. Если я не говорил об этом

никому, то потому лишь, что чувствовал: все равно меня никто не поймет.

Итак, время в те годы было пучиной, недвижимой в себе самой, как бы инертной, неактивной. В нем, словно в море, происходило многое, но само оно как бы стояло. Каждый школьный час представлял собою что-то вроде Атлантического океана, который требовалось переплыть с мужеством самоотречения в сердце; от звонка до звонка проходили насыщенные опасностями вечности — что же говорить о летних каникулах, которые превращались в целые эпохи. Об этой — немыслимой для меня теперь — пространности часов или дней я рассказываю так, словно бы я об этом от кого-то услышал, а не так, будто пережил это сам, — я не в состоянии этого ни уразуметь, ни представить. Со временем все стало свершаться гораздо быстрее, и пусть не говорят мне, будто лгут ощущения, а часы отмеряют одинаковый ритм бега времени; я скажу, что все обстоит совсем наоборот: лгут часы, потому что физическое время не имеет ничего общего с биологическим. Какое нам дело — за пределами занятий физикой — до времени электронов или зубчатых колес? В этом разделении мне всегда чудился какой-то подвох, я ощущал какую-то низость, замаскированную методами времяисчисления, нивелирующими все изменения. Мы появляемся, полные веры, что все обстоит именно так, как мы видим, что делается то, о чем нам говорят наши органы чувств, а потом неизвестно как и когда оказывается, что дети взрослеют, а взрослые начинают умирать.

2

Не знаю, совершенно ли уже ясно, что я был тираном? Норберт Винер начал свою биографию словами: «I was a child prodigy» — «Я был вундеркиндом»; я мог бы сказать только: «I was a monster» — «Я был чудовищем». Итак, чудовищем; в этом есть, возможно, небольшое преувеличение, но то, что я терроризировал окружающих, особенно будучи еще совсем маленьким, — истина. Есть я соглашался, только если отец, взгромоздившись на стол, попеременно открывал и закрывал зонтик, или меня можно было кормить только под столом; я этого, разумеется, не помню, это было начало, спящее где-то за пределами воспоминаний. Если я и был чудесным ребенком, то исключительно лишь в глазах любвеобильных тетюшек. Зато чувствительным я был наверняка. Отсюда мое первое, очень раннее сближение с поэзией. Еще не умея

читать, я часто декламировал перед гостями единственное в моем репертуаре стихотворение о комаре, что с дуба упал. Не помню, чтобы я хоть раз довел декламацию до конца, поскольку, дойдя до места, где выяснялось, что падение имело совершенно роковые последствия (комар сломал себе кость в крестце), я начинал реветь, и безнадежно заревавшего меня выводили из комнаты. В то время было мало существ, которым я сочувствовал бы столь горячо и одновременно так безнадежно, как этому комару; *in hoc signo** проявилась надо мной власть литературы.

Писать я научился в четыре года, однако ничего особо сенсационного этим путем сообщить не мог. Первое письмо, которое я написал отцу из Сколе, куда поехал с мамой, было лаконичным; в нем сообщалось, что я по собственной инициативе искупался в настоящем деревенском нужнике с дыркой в доске. Я, правда, не стал сообщать, что в ту же дыру выбросил все ключи нашего хозяина — доктора. Впрочем, авторство этого поступка было спорным, потому что в то время со мной был один местный житель, мой ровесник, и установить, у кого были ключи в последний раз, не удалось. С их вылавливанием была масса хлопот.

Из достопримечательностей и монументов Львова в тот период мое внимание приковала к себе кондитерская Залевского на Академической улице. Видимо, у меня был недурной вкус, потому что с тех пор я действительно нигде не видел кондитерских витрин, сделанных с таким размахом. Собственно, это была не витрина, а сцена, оправленная в металлические рамы. Несколько раз в году на ней сменяли декорации — фон для гигантских статуй и аллегорических композиций из марципанов. Какие-то великие натуралисты, а может, Рубенсы воплощали в марципановой яви свои мечты, а уж перед Рождеством и Пасхой за стеклами создавались чудеса из миндаля и какао. Сахарные Миколаи** правили упряжками, из их мешков низвергались водопады сладостей; на глазированных тарелках почивали ветчина и заливная рыба — тоже марципановые, с отделкой из крема; причем эти мои знания носят не чисто теоретический характер. Даже ломтики лимона, просвечивающие из-под желе, были достижениями кондитерского искусства. Я помню стада розовых свинок с шоколадными глазками, все мыслимые разновидности плодов, грибы, копчености, расте-

* Здесь: «под сим знаменем» (лат.).

** Св. Николай, рождественский дед в польской традиции.

ния, какие-то лесные дебри. Создавалось впечатление, что Залевский мог бы повторить в сахаре и шоколаде весь космос, солнцу добавив лущеного миндаля, а звездам — глазурного блеска; каждый раз в новом сезоне этот мастер из мастеров ухитрялся пронзить мою душу — алчущую, беспокойную, еще совершенно доверчивую — на новый манер, пленить меня многозначительностью своих марципановых скульптур, офортами из белого шоколада, везувиями тортов, извергающих сбитые сливки, в которых, словно вулканические бомбы, плавали цукаты. Пряники Залевского стоили 25 грошей — немалую сумму, если учесть, что большая булка стоила 5 грошей, лимон около десяти, — но, видимо, надо было платить за его панорамы, за сладкую освещенную баталистику — возможно, не уступавшую той, которую являла Рацлавицкая панорама*.

Была на Академической и другая кондитерская, произведения которой больше говорили желудку, нежели глазу. С ней связаны не самые веселые мои воспоминания. Например, однажды брат отца дядя Фридерик вез меня на пароконных дрожках, якобы с невинной целью, празднично принаряженного в белый кружевной воротничок, а кончилась эта поездка у зубного врача, который вырвал мне молочный зуб. Потом мы возвращались — я зареванный, с заплеванными кровью кружевами, — и дядя пытался потасить мой праведный гнев, вызванный его вероломством, фисташковым мороженым в упомянутой уже кондитерской. Сдается, отец не решился присутствовать при душераздирающем акте зубодранья и поэтому не пошел с нами к врачу.

В пассаже Миколаша был другой кондитерский магазин, точнее — магазинчик, с итальянским мороженым, где уже значительно позже Стефан, мой двоюродный брат, парень страшно крупный, вызывал меня на коварные поединки: мы ели мороженое, а платить должен был тот, кто съест меньше. Стефан обладал большой вместимостью; я помню возвращение из этого места, помню, как шел по пассажи, крытому матовыми стеклянными плитками, вышагивал, словно палку проглотил, потому что желудок мой превратился в какой-то ванильный холодильник.

В начале Академической, недалеко от гостиницы Георга, находился другой магазин (уже не конфетный, но тоже очень

* Панорама, изображающая битву у деревни Рацлавице, во время которой польские повстанцы, руководимые Тадеушем Костюшко, победили русское войско (7.IV.1794). В настоящее время панорама находится во Вроцлаве.

важный) — игрушечный Клафтена. Я ничего не могу сказать ни о его витринах, ни о внутреннем оформлении, потому что место это, для меня святое, отнимало у меня дар наблюдательности и я приближался туда в сладостной истоме, с учащенно бьющимся сердцем, чувствуя, какому испытанию будет сейчас подвергнута моя не способная к выбору ненасытность. Там мне покупали соблазнительно тяжелые плоские коробочки с оловянными солдатиками, пушечки, заряжаемые горохом, деревянные крепости, волчки, пугачи, стреляющие пробками, но никогда не приобретали никаких пистолетов или снаряжения к ним; то и другое было запрещено. Когда-то, в самом начале, был у меня конь, сивка на колесиках; теперь я уже не могу восстановить в памяти его образ, только в кончиках пальцев сохранилось что-то от шершавого прикосновения к его шерсти и хвосту, сделанному из настоящего конского волоса. Первое время я обращался к нему на «вы», потому что он был такой большой и восхитительный, что я не смел к нему прикасаться. Относился я к нему хорошо — колесики отскочили у него сами, отгрызенные зубами времени. Остатки впечатлений, которые сохранились у меня от предгимназической эпохи, сгруппированы вокруг происшествий скорее пугающих и бурных, нежели приятных. Я знаю, где на Ягеллонской жила моя тетка, потому что там однажды на меня в сенях напал огромный индюк — не имею понятия, откуда он взялся. Я долго боялся туда ходить, молниеносно проносился через темное пространство между деревянными воротами, в которые была вделана маленькая дверца, и подножием деревянной, жутко трясущейся лестницы. Дорога к жилищу тетки была страшновата — по галерее флигеля, неприятно наклонившейся в сторону двора. Мне казалось, что галерея вот-вот рухнет. В прихожей весь пол тоже был перекошен, словно в Пизанской башне; за одной дверью находился салон — место запретное, полное зеркальных паркетных бликов и тяжелой мебели в полотняных чехлах. Туда никто никогда не входил, и тетке доставлял удовольствие, пожалуй, уже сам факт существования этого наглухо замкнутого храма. Юный обжора, я однажды проник туда, воспользовавшись то ли кратковременным отсутствием тетки, то ли ее рассеянностью, уж не помню, и подло и без раздумий направился к черному буфету, в котором под стеклянным колпаком вздымалась пирамидка больших марципановых плодов — какие-то яблоки, бананы, груши. Я поднял колпак и впился в одно из этих сладких сокровищ. Каким-то чудом я не сломал

себе ни одного зуба, но и на блестящей поверхности не осталось следов: марципаны оказались твердокаменными; время наложило на них броню и таким образом уберегло от моей прожорливости. Это было одно из самых горьких разочарований.

Однажды я чуть было не утонул в Железной Воде. Я сидел на берегу, а знакомая пани играла со мной, подавая из воды пруттик; один раз она потянула слишком сильно. Я камнем пошел на дно и не успел даже испугаться. Сделалось зелено, а затем темно и мокро. Потом кто-то вытрясал из меня воду, держа за ноги. Это как бы покрыто дымкой — не знаю, но мне кажется, что купальня в то время была еще разделена: отдельно купались женщины, отдельно мужчины. Если так, значит, я находился с матерью среди женщин.

Мне довелось быть свидетелем двух других страшных событий. Однажды во Львов приехал «человек-муха» и в центре города, помнится, на улице Легионов, взбирался по стене многоэтажного дома. Кажется, он пользовался только «крючком для застегивания туфель» — сведения, почерпнутые мною от нашей служанки, достаточно достоверные, потому что такие крючки действительно существовали; они служили для застегивания дамских туфель на солидную пуговицу и петлю и состояли из металлической ручки и овального крючка. «Человек-муха» упал, собралась толпа, полиция; наутро я увидел на первой странице газеты, по-моему, «Нового века», фотографию поднятого с брусчатки человека: его лицо как бы охватывал пружинистыми лапами огромный паук. Кажется, у акробата треснуло основание черспа. Не знаю, что с ним стало.

А однажды в нашем доме загорелся или только начал тлеть уголь. В то время у нас были гости, играли в карты; неожиданно раздался энергичный звонок, и в коридоре появились поражающие воображение, грозно сверкающие медью боевые каски пожарных. Эвакуировали весь дом. Некоторое время мы стояли на улице, глядя, как через брезентовые змеи в подвалы лили воду, потом, помнится, пошли к жившему неподалеку дяде. Пожар затушили в зародыше, но страх у меня так и остался. Я помню, что долго видел кошмарные сны, в которых пожар выступал в виде белой колышущейся на ветру особы, колотящейся в двери квартиры, заглядывающей в окна; а наяву, когда меня никто не видел, я украдкой прикладывал руку к полу, чтобы проверить, не разогревается ли паркет от угля, потихоньку разгорающегося на нижнем этаже.

Впрочем, позже от страха перед огнем не осталось ничего. Интересно, почему одни переживания у ребенка приводят в действие механизм совершенно патологической восприимчивости, а другие стекают как с гуся вода? В одной из первых прочитанных мною книжечек была история о мальчике, который ехал в лифте, а лифт взбунтовался или, может, испортился и, пробив потолок дома, словно воздушный шар, летал с мальчиком внутри над городом. Авторы, должно быть, думали, что получилось забавно, а меня это напугало, и еще четверть века спустя, садясь в лифт, я вспоминал эту вздорную историю.

Не знаю, откуда взялся у меня страх перед насекомыми, — мои сверстники с увлечением гонялись за майскими жуками, а я не мог к ним притронуться. Подобная же история была с ночными бабочками. В то же время я совершенно не боялся мышей и даже зарабатывал на них. Мама так брезгала ими, что вынимать трупики из мышеловок приходилось мне; иногда, когда мыши не желали ловиться, я издали показывал маме серую резиновую мышку, чтобы получить вознаграждение по установленной таксе за исполнение похоронных обязанностей.

Достойна удивления моя плохая память на товарищей по играм, ровесников, при одновременной острой памяти на неодушевленные предметы. Я совершенно не помню никаких детей, зато отлично помню форму моего обруча, даже винтики, соединявшие концы дерева, и то, как я научился запускать обруч, чтобы, катясь, он сам возвращался ко мне. Может, потому, что предметы подчинялись мне беспрекословно, а живые существа обладали собственной волей, слишком непокорной? В конце концов все, что меня окружало и было изготовлено из металла или дерева, становилось моей добычей. Долго, несколько лет я терпеливо ожидал смерти граммофона или по крайней мере его дряхлости и действительно в конце концов дорвался до его внутренностей. Это уже не был аппарат с большой трубой, какие я видел только на выставках и на картинках; наш граммофон был большой, деревянный, у него был резонирующий ящик с внутренним рупором, и его правильнее было бы называть патефоном. Я охотно крутил рукоятку; было у нас несколько модных пластинок; на одной был записан смех — и больше ничего, на других какие-то шлягеры вроде «Больше газа, вот мой принцип, больше газа, пока любовь играет в жилах», оперные арии, но механизм смены иголок и устройство пружинного регулятора интересовали меня гораздо больше

музыкального содержания. То же было и с радио. Первый радиоаппарат в нашем доме появился, пожалуй, около 1929 года, хотя я не могу поручиться за эту дату. Это был длинный ящик с эбонитовым верхом, ручками с белыми насечками и стрелками, с гнездами для наушников; у него был огромный динамик на одной ноге, немного похожий на вентилятор, но поймать этим аппаратом можно было лишь местную станцию. Питали это огромное сооружение большие анодные батареи и кислотные аккумуляторы, которые требовалось время от времени заряжать. По счастливому стечению обстоятельств я знаю, что первой львовской передачей, которую мы поймали, была новелла Конрада «Корчма под тремя ведьмами», которую читал мужчина с загробным голосом. Дядя Мундек, муж тети Гани с улицы Свободы, не раз приходил к нам, чтобы совместно с отцом извлекать из шведского ящика марки Эрикссон мощный свист, грохот и мяуканье электрических кошек; они вместе различным образом устанавливали антенну, что-то вроде деревянного креста, на котором был растянута проволока четырехугольником. Иногда сквозь завесу треска удавалось выловить скрип какой-то музыки, словно сигнал с иной планеты, приносящий удовольствие уже просто потому, что так здорово, прямо-таки невероятно повезло; об эстетическом удовольствии от передачи не могло быть и речи. Дядя, помнится, фиксировал особо исключительные достижения, вроде приема передачи из Милана или Берлина, где, кажется, работала самая мощная в то время в Европе радиостанция Кенигсвустерхаузен. И этот аппарат тоже переживал медленные долгие сумерки, а когда устарел, пришло время моих кусачек и молотка; я разбил его на мелкие кусочки — к моему разочарованию, он был устроен совсем не интересно — никаких пружин, зубчатых колесиков, ничего, только непрозрачные от серебра лампы да конденсаторы в паутине проводов.

Отец мой боялся различных вещей — он так и не согласился установить наружную антенну на крыше, потому что она якобы «притягивает к себе молнии», а в печах у нас жгли исключительно дрова, поскольку «уголь дает чад, от которого можно задохнуться». Я получил от него в наследство, так сказать, общую диспозицию, а не точные указания адресов тревоги. Электричество я любил, был с ним на дружеской ноге еще с тех времен, когда притягивал клочки бумаги натертым гребешком; отравляющие газы — не исключая чада — пытался в меру своих возможностей производить.

Эти увлечения — электрические, химические, механические — полностью развились лишь в следующую, гимназическую, эпоху; а в конце двадцатых годов мои интересы сводились, во всяком случае в принципе, к банальным, почти полностью лишенным оригинальности занятиям, к тому, что заполняет жизнь всех маленьких мальчишек. Иначе говоря, я проходил различные машинные метаморфозы — бывал кораблем, паровозом, самолетом, работал шатунами, пускал пар, давал «полный назад», и остатки этих привычек жили во мне почти до самых выпускных экзаменов; я помню, что, будучи подростком, одетым в гимназический мундир, я частенько не мог удержаться от того, чтобы на улице «дать контрпар», «переложить руль на бакборт», «бросить якорь».

Любовь к подражанию является, вероятно, естественной фазой развития — немного раздражающей стороннего наблюдателя из-за явного обезьянничанья. Нам обычно хочется, чтобы дети были просто детьми и по возможности меньше — маленькими взрослыми; я особо имею в виду легионы восьмилетних мамочек с маленькими колясочками. Я не изменял своему полу, и, быть может, моими устами говорит инфантилизм мальчика, а точнее — тех его остатков, которые каким-то образом просуществовали в моей постепенно портящейся натуре. Впрочем, Бог с ними, с этими не очень умными оценками! Какой-нибудь специалист сказал бы, что просто дети, играя, подготавливают себя к культуре той эпохи, которая их породила. В средневековье играли, вероятно, в лошадей, осаду крепостей и наверняка в крестовые походы. Вполне естественна также тяга к исследованию собственного тела и его возможностей; правда, с этим у меня бывало по-разному. Одно время я с большой охотой вешался — где попало и, конечно, «невзাপравду», собирая для этого соответствующие веревки и бечевки, — а также немного занимался самоистязаниями. Ну, например, обвязывал палец шнурком, чтобы он «заснул», или привязывал себя к какой-нибудь дверной ручке, или висел вниз головой на веревочной лестнице (была у меня такая), вдавливал глаз пальцем, чтобы видеть, как раздваиваются предметы. Одного я не делал никогда: не засовывал себе в ухо или в нос никаких горошин и фасолин; я прекрасно знал, к каким печальным последствиям это приводит, недаром мой отец был ларингологом. Не знаю, откуда я это взял, но довольно долго самой неприличной частью человеческого тела я считал ногу — точнее, босую ступню. Помню, однажды я крепко подрался с братом Меттеком (он был старше меня

на два года и погиб в Варшаве, как и Стефан) именно из-за него: мы сидели на подоконнике в нашей квартире, и я убедил Меттека принять такой уговор: проигрывал тот, кто первым даст другому увидеть свою босую пятку. Воспользовавшись тем, что домашних не было, мы долго катались по полу, сцепившись в смертельной схватке. Фрейдист, наверно, был бы очень обрадован моими признаниями, но увы — от ногопоклонства у меня не осталось и следа.

Я уделяю этим пустякам так много времени потому, что они кажутся мне интереснее, чем воспоминания о более поздних действиях. С течением времени ребенок все отчетливее, все однозначнее становится членом определенного коллектива — в школе, в гимназии — и в своем поведении уподобляется ему; во всяком случае, пытается по мере сил это сделать. Поэтому его активность оказывается в значительной степени вторичной и, как я думаю, может сказать о его природных особенностях, о демонах, полученных им в наследство с помощью набора генов, меньше, чем поступки ранние, чаще совершаемые в одиночестве. Самыми интересными и достойными внимания кажутся мне первые предпочтения и неприязни — они берутся неизвестно откуда, — а не более поздние, пришедшие извне и порой представляющие собою простое механическое копирование. Ведь дети, как известно, не боятся самых ужасных телесных недостатков близких людей; они просто их не замечают. Должно пройти время, чтобы дети впитали в себя нормы окружающего мира. Вероятнее всего, мы появляемся на свет, не имея никаких критериев, позволяющих отличить уродство от совершенства, — но это не более чем туманное предположение; не известно, можно ли действительно приучить ребенка к эстетике повседневности, «обратной» по отношению к обычной.

Возвращаюсь к миру предметов. Одежда была из них исключена, я ею не интересовался. Этот вывод я делаю потому, что не помню ни одного наряда, кроме кожаных тирольских штанишек на зеленых бретельках. Спереди у них был широкий клапан, застегивающийся на роговые пуговицы. Одежда весьма небезопасная, неудобная, потому что можно было попросту не успеть; помню я еще и то, что мечтал стать обладателем настоящей, застегивающейся на пуговицы ширинки, а не клапана, словно у маленького дитяти.

До сих пор я почти ничего не сказал о двух комнатах нашей квартиры, примечательных тем, что я не имел к ним легального доступа. Это были приемная отца и ожидальня

для пациентов. Ожидальню украшали зачехленные кресла, кажется, из черного дерева — оно было совершенно синим; это выяснилось, когда у одного кресла отломился подлокотник. Стоял там еще застекленный шкафчик с безделушками — не первосортными: какие-то подносики, серебряные корзиночки — подарки от благодарных пациентов; там же за стеклом лежал дряхлый стилет в псевдояпонском стиле. Был там еще львовский батыр* на деревянной подставке, безымянный — потому что не мой, да и вообще вроде бы ничей, — большая кукла с вытаращенными голубыми глазами, в виртуозно залатанной курточке, штанах и полосатой рубашке с войлочным бананом в кармане. Мне запрещено было прикасаться к нему, поэтому он прожил долго, до самой войны, пережил даже первые ее годы и пал лишь в результате массированных, методически повторявшихся налетов моли. А моли на Браеровской хватало, и каждый домашний обязан был при виде ее пускаться в преследование и остервенело хлопать ладонями, чтобы уничтожить зловредное насекомое. Я же, брезгая этим, всегда хлопал мимо.

Приемная отца была местом запретным, по крайней мере теоретически. Именно поэтому я добросовестно изучал ее при каждом удобном случае. Стены были оклеены обоями, имитирующими кафельную плитку. В приемной стояли тощенький твердый диванчик, деревянный шкафчик с лекарствами и небольшим количеством книжек, небольшой врачебный письменный стол, обогревательная лампа, металлический столик с инструментами, а также белое кресло для больных и круглый винтовой табурет отца. Обстановка более чем аскетическая, за единственным исключением: на шкафу стоял черный ящичек, разделенный на маленькие отделения, и в нем хранились старательно разложенные экспонаты — все, что отец с помощью больших трубок ларингоскопа Брюнинга извлек из дыхательных путей, пищеводов, бронхов. Эти вещи, сами по себе невинные, поражали воображение, стоило лишь подумать, где они были найдены. Была там искусственная челюсть с четырьмя зубами и крючком, открытая английская булавка, выловленная из дыхательного горла ребенка, разные шпильки, фасоли, которые уже успели немного прорасти, словно впрямь намеревались в своей растительной наивности навсегда осесть в чьем-то носу, позеленевшие монеты, а также кусок киноленты. Когда я подрос, отец иногда рассказывал об

* Уличный мальчишка, что-то вроде парижского гамена.

обстоятельствах и условиях, при которых добыл эти трофеи, об охоте с пистолетной рукояткой трахеоскопа Брюнинга в руке, показывал мне специальные наборы длиннющих крючьев, хитроумных клещей и зондов. Совершенно необычной была история одного больного, которого привезли задыхающимся, ежеминутно теряющим сознание, синееющим. Зеркальце на лбу отца показывало свободное, широко открытое отверстие гортани, и только по специфическому блеску отец сообразил, что ее все-таки что-то закрывает — может быть, стеклышко. Оказалось, там был кусочек киноленты, которую этот господин, кинооператор, съел с блинчиками (с творогом! — и это я помню); неведомо как в начинку попал один кадр пленки и, осев в дыхательном горле, душил кинооператора, действуя, как клапан. Предметов банальных, множество которых отец все время вытаскивал из пациентов, в черном ящичке не было вообще: например, рыбьих костей. Мы никогда не могли в праздники поужинать вместе — обязательно в дверь кто-нибудь оглушительно звонил, отец тут же облачался в белый халат и, поблескивая своим зеркальцем, словно огромным третьим глазом, исчезал в приемной.

Позавидовав отцовским лаврам, в которых меня привлекала их спортивная, а не медицинская сторона, я в величайшей тайне подбирался к сложнейшей аппаратуре Брюнинга, составлял длинные никелированные трубки, включал, если было нужно, осветительные лампочки и предпринимал смелые попытки извлечь посторонние тела из шланга пылесоса, предварительно засунув их туда. На белом винтовом табурете отца я время от времени крутился до седьмого пота и головокружения, включал огромный соллюкс, который не только грел, но и светил (однажды, кажется, у какой-то пациентки загорелись волосы, потому что в них была скрыта целлулоидная шпилька или гребень, но этого я не помню, так как это случилось еще во время моего небытия). Если я уж совершенно ничего не мог придумать, то наполнял полулитровый шприц, которым отец вымывал из ушей так называемые пробки, и брызгал через раскрытое во двор окно вверх, на четвертый этаж, или вниз, на крыльцо хозяев.

Я уже говорил, что писать и читать научился рано. Я рисовал красивые, усеянные множеством цветочков, поздравительные открытки матери и отцу, да и первые прочитанные мною книжки были типичными, обыкновенными — сказки и стихи вроде того стишка о комаре; уже после войны мне в

руки случайно попал какой-то сборник стихов для детей, в котором я обнаружил то, что читал тридцать лет назад, и меня удивило, чего только я в этих стихах не находил, будучи шестилетним мальчонкой. Какие-то драмы, неправдоподобные и невероятные, эмоции, совершенно отсутствующие у меня теперь; удивительное, страшное и смешное таилось в то время для меня в сочетании невиннейших слов. Почему история пятна на полу, с которым не могла справиться метла, была полна угрюмости, даже угрозы? Почему подсчет бесхвостых ворон превращался в действо чуть ли не магическое, чуть ли не в рискованное вызывание каких-то скрытых сил, в искушение неведомого лиха? Тем более странно, что я никому не признавался в этих эмоциях, страхах, драматических переживаниях, никому о них не говорил. Вероятно, я не сумел бы их выразить, описать. Но кроме того — будь я в состоянии в то время подумать об этом, — я, видимо, считал бы, что реакция, подобная моей, является единственно возможной и совершенно естественной. Во всяком случае, тогда я был более отзывчивым инструментом, нежели сегодня, не требовалось многих раздражителей, ударов, чтобы вызвать во мне, или, точнее, чтобы возвести в моей голове целые небоскребы чувств и переживаний; определенно, авторы книжек для детей сами не ведают, что творят, не представляют себе, каким легковоспламеняющимся — правда, лишь психически — материалом жонглируют. Им кажется, что они рассказывают поучительную историю, а между тем во время чтения она превращается в загадку или в запутанную драму; стремясь рассмешить, они учат мистическим тайнам. Они неуклюже рифмуют, а в какой-нибудь семилетней голове создается трагическое напряжение. Самыми необыкновенными были эти первые, полузабытые чтения. Потом постепенно и незаметно я утонул в книгах.

Я, конечно, был Виннетоу, Маугли, капитаном Немо, в мою память запали обрывки самых неожиданных текстов; после войны я купил книжку Уминского «Путешествие без денег» и старательно ее перелистал, чтобы найти одну из прелестнейших ее фраз: «Пуля, с характерным грохотом пронзив пространство...» — речь шла об охоте на крокодила или носорога, но, увы, мне попало переработанное издание, и изумительная пуля вместе с ее характерным грохотом, к великому моему разочарованию, исчезла из книжки. А «Замкнутое ущелье»? Чего только я не пережил, читая ее! Что же тогда говорить о «Духе джунглей»: такие книги нельзя

было читать, лежа под окном и ловко балансируя стулом или забравшись с ногами на стул и облокотившись о крышку стола. Нет, нужна была твердая уверенность, что рядом находится кто-нибудь из взрослых, но все равно бывало страшно. Диккенса я читать не хотел — он был словно беспросветная дождливая осень, а в Дюма я просто-напросто заблудился, затерялся — началось с пустяка, с «Трех мушкетеров», потом оказалось, что для того, чтобы прочесть все его книги, не хватит жизни.

Позже, в гимназии, я уже читал все, что попадалось под руку: Фредро и Мая, Сенкевича, Жюль Верна и Уэллса, Словацкого и Питигрилли; это был сущий винегрет.

Читая, я обычно что-нибудь ел; я, кажется, уже дал понять, что был обжорой любвеобильным, — и тут пришла пора вспомнить о первых женщинах. Удивительно зигзагообразно все это шло. Первой была Миля, наша прачка; мне было лет, может, пять, и, как обычно в таком возрасте, я сразу же хотел жениться. Бедняга страдала расширением вен. Электрических стиральных машин не было, стирка превращала дом, и уж во всяком случае кухню с примыкающими к ней помещениями, в подобие парного ада; на середину выезжала огромная бадья, в котлах вулканически кипело, потом появлялся деревянный рубель для катания белья и половина дома заполнялась гулом и грохотом; во время стирки я неизменно торчал на кухне, тарарам мне нисколько не мешал.

Позже я был влюблен в учительницу начальной школы — не помню, как она выглядела. Однажды она побила моего соседа по парте — в принципе в начальной школе можно было получить только линейкой по вытянутой ладони, но этот парень был упрямым, холодным, ужасно строптивым и наглым, и моя возлюбленная выколотила из его штанишек тучи пыли. Он даже не пикнул и слезы не уронил, что мне ужасно понравилось.

Понемногу моей специальностью становилась несчастная любовь. Я до умопомрачения влюбился в девочку, которая была старше меня года на четыре, то есть почти что барышня, если учесть, что мне в то время было около десяти лет. На эту барышню я глазел издали в Иезуитском саду, почти не двигаясь, словно загипнотизированный. Я был довольно толст, особенно пониже спины; фигура моя уже в то время несколько напоминала грушу, хотя максимального сходства с ней я достиг позже, в гимназии. Лицо у меня было щекастое, глаза немного навывкате, потому что я по природе был любопытен, ко всему прочему я частенько раскрывал рот —

кажется, считая, что это придает мне обаяние. Шансов у меня было мало, да и, откровенно говоря, я не представлял себе, как поступать, ибо не знал, что еще можно делать с девочками, кроме как бегать за ними вечером по саду от куста к кусту и пугать фонариком. Моя любовь к девочке из Иезуитского сада была лишена хоть каких-то планов действий и никак не развивалась и все же была невероятно интенсивной. Кажется, я признался в этом родителям, иначе мне не удавалось бы так часто бывать в том превосходном месте, откуда я мог за нею наблюдать. Она обо мне, пожалуй, и не подозревала, я не перемолвился с ней ни словом, и, однако, линии ее профиля, подбородка, губ врезались мне в память так основательно, что их след остался и по сей день.

Любопытно, что бурность такого рода платонических увлечений отнюдь не мешала мне в «любвишках» (если это были «любвишки») более — как бы это сказать? — вульгарных. Однажды, когда мне было, вероятно, лет восемь, отец, войдя на кухню, застал меня за тривиальным занятием: я щипал служанку пониже спины. Смутившись, я пробормотал что-то вроде «ах да» или «ах, простите» и вышел. Интересно также, что я могу вспомнить кое-что из моих тогдашних действий и даже эмоций, но ничего — из мыслей; вполне возможно, что я вообще не выходил за круг непосредственных чувственных ощущений. На улице Словацкого, напротив Почтамта находилось бюро паровой компании «Cunard Line», и в каждом его окне стояло по огромной модели океанского парохода. Они преследовали меня, снились мне, эти восхитительные корабли, у них было все как полагается, даже бронзовые винты около рулей, такелаж, мачты, бесчисленные ряды иллюминаторов, палубы, мостики, миниатюрные шлюпки, трапы и спасательные круги. Я мечтал о них безнадежно и пылко — вероятно, столь же платонически Джек Потрошитель мечтал о девушках, которые не попали к нему в руки. Его мечтания были, наверно, столь же невинными, как и мои у окон «Cunard Line», лишь их осуществление открывало путь к преступлению. Поэтому, может быть, и хорошо, что ни к одному из этих двухметровых чудес мне так и не удалось приблизиться на расстояние вытянутой руки, ибо раньше или позже она потянулась бы за молотком.

Ребенок, которым я был, интересует меня, но одновременно и беспокоит. Правда, я не убивал никого, кроме кукол и граммофонов, но надо учесть, что я был физически слаб и

опасался репрессий со стороны взрослых. Отец меня никогда не бил, мать иногда шлепала — это все, — но ведь было множество иных, менее прямолинейных методов и средств, от словесного внушения до лишения сладкого. Если б четырехлетние дети по силе равнялись взрослым, мир наш выглядел бы иначе. Они в самом деле образуют совершенно иную касту, они определенно не менее сложны, чем взрослые, только эта сложность сидит у них в другом месте. Разве не с отчаянием в сердце я превращал в хлам игрушки? Разве не жалел потом (независимо от кар) об их утрате? Почему, будучи так пуглив, я обожал рискованные ситуации? Что меня все время толкало как можно дальше высунуться из окна? Я ведь хорошо знал, хотя бы благодаря истории с «человеком-мухой», к чему может привести падение с третьего этажа. Я также помню, как напугал дядю, когда зимой во время каникул в Татарове вдруг полез под паровоз, чтобы срочно отломить свисающую с цилиндра ледяную сосульку. Я ужасно боялся, что поезд тронется и отрежет мне ноги, но, видимо, эта сосулька была мне чрезвычайно нужна. Может, это было то, что психологи именуют «маниакальное поведение», что-то вроде навязчивой идеи? Я проходил — это известное явление — через перипетии счета окон, дверей, через фазы сложных ритуалов: должен был ходить так, чтобы ступать только на плиты тротуаров, не касаясь ногами стыков, а уж с дыханием я возился самым невероятным образом. Я пробовал не дышать, сколько удавалось, или же делать это как-нибудь по-особому, придумывая необыкновенные вдохи и выдохи, особенно перед тем как заснуть; я хитроумно укладывал думки и подушки под голову, строил из одеяла что-то вроде курятника и так далее.

Бывали у меня — иногда во время болезни, а порой и когда я был совершенно здоров — особые переживания, именуемые — как я узнал тридцать лет спустя — нарушениями схемы строения тела. Я лежал в постели, сложив руки на груди — и вдруг кисти рук начинали расти, а я сам делался совсем крошечным под их неправдоподобно большим грузом; это происходило всегда одинаково и наверняка наяву. Кулаки вырастали до размеров воистину гигантских, пальцы превращались в целые горные цепи, все делалось слоноподобным, чудовищным; я немного боялся этого, но опять же не особенно, и никому об этом не говорил.

Теперь я вижу, что был ребенком скорее одиноким, но об этом я не подозревал. Мне очень хотелось иметь братишку или сестренку, а вернее — опасаясь — маленького невольника. Я с интересом читал в газетах объявления о передаче детей на воспитание. Такие заметки появлялись довольно часто. Мне мечталось, как было бы замечательно взять в дом такого ребенка; подобное желание представляется мне сейчас несколько подозрительным. Сверстники приходили ко мне не очень часто. Это не значит, что приятелей не было, но их посещения были исключением из правила, если не редкостью. По воскресеньям, летом или осенью, мы обычно ездили за город, всегда в одно и то же место, а именно — в ресторанчик пана Руцкого, на Стрыйском шоссе, у городской заставы. Сбор пошлины был интересным и веселым перерывом в езде, во время которого я, конечно, сидел на козлах. Извозчик, точнее кучер, всегда был один и тот же. Звали его не то Крамер, не то Кремер, но я именвал его Толстяком. Так оно и прижилось. Он был коренастым, краснолицым и очень терпеливым. Именно от него я получил основы знаний по коневодству — между прочим, узнал, что лошадь уважает, слушается и боится человека потому, что у нее большие глаза, которые все увеличивают, поэтому человек кажется ей гораздо больше ее самой. Вот почему лошади так пугливы — ведь им все кажется таким громадным! Мне приходилось придумывать себе занятия на те долгие часы, которые отец, дядя Фриц и остальные проводили под фруктовыми деревьями, играя в карты; был у Руцкого кегельбан, но мне не хватало силы бросать огромный деревянный шар — в конце концов и до этого я дорос тоже. Иногда мне удавалось не только вести с Толстяком теоретические беседы, но и убедить его выпрячь лошадь, чтобы я немного поездил. Если он отказывал — впрочем, вполне вежливо — или просто спал в дрожках, закинув ноги на козлы, я забирался в малинник, где в огромном количестве росла злая крапива, а в крайнем случае подкрадывался к играющим.

Дядя носил котелок, который страшно меня интриговал, так как был твердым. Я изо всех сил пытался проломить донышко, но оно сопротивлялось, словно под черным фетром помещалась стальная пластина. Видимо, мне вполне хватало самого себя, так как я не помню, чтобы когда-нибудь скучал. Ведь у меня было все: игрушки, книги, пластилин — я лепил из него слонов, лошадей (они всегда получались хуже), сардельки, колбаски, а то и кукол. У кукол я выбирал из

живота пластилин и вкладывал внутрь кишочки, желудки, легкие — тоже пластилиновые; я уже немного знал, как там все внутри устроено. Лучше всего получалось, когда пластилин был разноцветный, потому что потом можно было залепить живот пациенту и мять его руками до тех пор, пока из него не получалось забавное месиво с перепутавшимися, размазавшимися слоями; из этой смеси изготовлялась очередная жертва, и так почти до бесконечности.

Вплоть до самой гимназии я был не очень самостоятелен и, если не считать ближней округи, плохо знал Львов; немного — улицу Казимировскую, район тюрьмы Бригиток — мрачного здания с толстыми стенами. Неподалеку оттуда начиналась боковая улица Бернштейна, где у дяди Фрица была адвокатская контора. Ну, еще Грудецкую, по которой ездили на каникулы, то есть на вокзал, красивый и огромный, расположенный в конце аллеи Фоша.

Дядя Фриц жил на улице Костюшки, неподалеку от Браеровской, и я мог дойти туда сам, чего, впрочем, практически не случалось. Его квартиры я сперва немного побаивался; причиной тому была медвежья шкура с головой, ощерившей разинутую пасть. Шкура лежала посредине гостиной, и много воды утекло в Пелтви, пока я решился сунуть пальцы в пасть этому медведю. Дядю я очень любил, хотя однажды он жестоко подшутил надо мной. Он принес мне в подарок огромный пакет, на который я тут же набросился, чтобы развернуть упаковку. Это длилось долго, минут пятнадцать, так что наконец, вспотевший, дрожащий, я оказался среди раскиданных бумаг, держа в руке малюсенькую, меньше фасолины, куколку. Дядя долго смеялся над своей шуткой, не подозревая, как сильно ранил мое сердце.

Если я вообще соглашался ходить на улицу Костюшки, то, пожалуй, только из-за пианино, черного, огромного, на котором, кажется, никто не играл. Я любил измываться над его клавиатурой, потому что обожал мощные удары, бурную и безудержную какофонию; слух у меня никогда не был блестящим, и, к моему счастью, родители не пытались подвергнуть мою дубовую от рождения музыкальность испытанию, обучая меня музыке. Кроме множества тяжелых и длинных гардин, которые обожала тетя Нюня, вторая жена дяди, на улице Костюшки имелась весьма пышная, кажется, «а-ля Луи», мебель. Я помню золоченое зеркало на чьих-то ногах (кажется, львиных), грифона на подставке, деревянного и раскрашенного, с маленьким негрятенком, сидящим на

нем верхом, подсвечник, изукрашенный тысячью кусочков радужного стекла, а также любопытный предмет: огромную бочку из красной меди, стоявшую в темной нише, абсолютно бесполезную и потому интригующую.

Этому дяде я многим обязан, потому что он позволил мне перетащить на Браеровскую улицу энциклопедию восьмидесятых годов Брокгауза и Майера — до того она громоздилась у него в конторе. Я носил огромные тома по одному, так они были тяжелы. Читать их я, конечно, не мог — я не знал немецкого, но в них было полно цветных вклеек, черно-белых гравюр на дереве — я проводил над этими тяжелыми и пыльными томищами много времени. Мир, который рисовала энциклопедия, казался уже тогда, в двадцатые годы, как бы окаменелостью, почти все отдавало анахронизмом, но, во-первых, я об этом не думал, а во-вторых, это нисколько мне не мешало. Поезд восьмидесятых годов, железные мосты с чугунными гирляндами, локомотивы с обильно украшенными металлическим кружевом трубами, равно как и управляющие ими особы, бородатые и усаые господа, — все это казалось мне восхитительным, насыщенным невыразимым очарованием. Тогдашние динамо-машины — архаические сооружения с колесами, спицы которых были, разумеется, фасонные; электрические моторы, а также различные новейшие изобретения, вроде дрожек без лошадей, черпавших энергию из аккумуляторов, составляли содержание последнего, дополнительного тома. Самым забавным казалось мне то, что в этих фолиантах было все на свете, и это все соседствовало друг с другом — слоны, птицы, растения, мамонты, прусские ордена на цветных вклейках, портреты правителей, негритянские физиономии, кувшины, драгоценности. Я с головой погружался в энциклопедию; очередной том просматривал от корки до корки, силясь ничего не пропустить. Не помню, знал ли я вообще, что это за издание и чему оно, собственно, должно служить. Пожалуй, это меня не интересовало. Так что даже не понимая, что передо мной весь мир, каталогизированный и описанный, — или его разрез, сделанный вдоль восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, — я, думается, воспринимал это правильно: все там было для меня одинаково хорошо, хотя, естественно, не все одинаково интересно. Энциклопедия была отличным дополнением к изысканиям, проводимым мною в отцовских книгах. Многие из ее гравюр послужили мне, надо думать, источником вдохновения позже, когда меня охватила страсть к изобретательству. Кроме того, энциклопедия,

завоевавшая в нашей квартире права гражданства и расставленная в старом белом шкафу в комнате рядом с кухней, служила мне своеобразным тайником. Между книгами и задней стенкой шкафа было достаточно места для флакончиков с тайными микстурами или просто с винами, в величайшей тайне сливаемыми из стоящих в буфете бутылок.

Насколько же легче рассказывать о предметах моего раннего детства, нежели о людях! Но, если так можно выразиться, лишь предметы были тогда со мной искренни. Они раскрывались передо мной полностью, ничего не утаивая; это относится и к тем, которые — отданные на мою милость — я уничтожал, и к тем, с которыми я ничего не мог поделать. Конечно, у родителей были вполне понятные причины не поверять ребенку свои проблемы и заботы. Это нормально; иначе быть не может. Но отголоски этих проблем и забот или их последствия так или иначе доходили до меня — обрывочно, не полно, не совсем внятно. Ни о чьей злой воле тут не может быть и речи. Впоследствии мне многое стало ясным, и я мог бы привести свой рассказ — односторонний и зачастую лишенный ключа, помогающего восстановить истинные (с точки зрения взрослых) пропорции описываемых событий, — в надлежащий порядок, введя в него нужные пояснения и комментарии. Но этого-то я и не хочу делать, поскольку стремлюсь по возможности избежать двойной перспективы. Ведь я пишу не историю своей семьи или ее отдельных членов. Мои намерения гораздо скромнее. Меня интересует только ребенок, которым был я. Ведь ребенок не считает свой мир несовершенным, полным пустот, требующим ретроспективных дополнений в каком-то неведомом будущем — и поступает так, разумеется, инстинктивно, поскольку своего особого положения в мире взрослых не осознает. Тот, кто описывает общество, практикующее магию, не должен на каждом шагу корректировать его верования, приводя различные опровержения, комментарии, рационалистические разъяснения, непрерывно отрицая пред-
рассудки, подвергая сомнению разумность заклятий и действенность чар. Если они и не оказывают реального воздействия на материальный мир, то наверняка влияние их на тех, кто верит, — огромное, однозначное и решающее. То же и с ребенком. В этой субъективной перспективе учитываются лишь переживания, а не правильные интерпретации фактов; селекция не отделяет истинные версии от

фальшивых и заменяется молчаливым исполнением приказов памяти, которая зарегистрировала то, что зарегистрировала, не оставив возможности для апелляции.

4

Упорядочивать воспоминания детства — занятие довольно рискованное, особенно для человека с такой скверной памятью, как у меня, — тем более если учесть, что я еще вынужден держать в узде профессиональный навык фантаста, то есть стремление группировать отдельные, пусть даже и действительные, но не связанные друг с другом подробности в единое целое. Будучи автором не только фантастических книг, но и одной на современную тему*, я уже столько раз конструировал биографии вымышленных лиц, что, обращаясь к собственной персоне, к тому же такой, какой она была много лет назад, обязан поставить себя под строгий самоконтроль. Очень литературной — в профессиональном понимании этого слова — является привычка создавать именно нечто целостное, то есть упорядочивать последовательность событий, чтобы они каким-то образом замыкались и взаимообъясняли друг друга. Впрочем, как я иногда думаю, эта склонность — одно из основных свойств человеческой природы и в сугубо индивидуальных, и в коллективных проявлениях. Так повелось издревле — ибо что такое, например, мифы, как не навязывание порядка явлениям, которые его не содержат? Все мифы, сколь бы далеки они не были от философских систем или научных теорий, сходятся с ними в отрицании всеобщего или, во всяком случае, достаточно распространенного хаоса как закономерности бытия. Хаос в чистом виде, не нарушенном какими-либо разновидностями порядка, вероятнее всего, нигде в материальном мире не существует; однако это не значит, что мы согласимся принять на веру любой порядок, поддающийся объективному выделению в тех или иных явлениях. Ни романист, ни даже биограф не могут удовольствоваться использованием одних лишь статистических закономерностей типа закона больших чисел или броуновского движения молекул; стало быть, туда, где главенствуют упорядочения именно такого рода, определяющие лишь общий ход развития событий и оставляющие множество лазеек для слепого случая, легче всего проникает, даже не всегда сознательно вводимый автором, излишек

* Трилогия «Неутраченное время».

порядка, такой его избыток, которому нет аналога в реальном мире. Это может быть выражением благих пожеланий, либо выражением одностороннего видения мира, либо, наконец, подчинением господствующей в данный момент методологии или эстетике. Тот, кто в описываемую действительность «вживляет» избыток порядка, чаще всего рисует ее в несколько облагороженном виде. Подчеркивая, скажем, идилличность, невинность детских лет, автор конструирует «безгрешные годы» либо, наоборот, стремясь воспротивиться такому подходу, создает мир детей — маленьких чудовищ, если говорить только о биографическом аспекте, так как именно он интересует нас в данном случае. О том, чтобы кто-то, не придерживаясь канонов, сказал «все», не может быть и речи, поскольку селекция производится всегда, отличаются лишь наборы критериев для отсева. Поэтому если я стараюсь основываться на памяти, то доверяюсь ей как фактору отбора, ставлю себя в зависимость от того, что сумел запомнить; я считаю, что границы памяти есть одновременно предел искренности, преодолеть который невозможно.

Работая над этими несколькими десятками страниц воспоминаний, я ощущал довольно сильное беспокойство — мне частенько казалось, что я описываю не сами события, а их литературные версии, где-то написанные, пародированные. В самом деле, «Неутраченное время» я начинал с детства героя, и эту вступительную часть книги, многократно переписав и переделав, я в конце концов решил отбросить. А именно там содержалась основная масса воспоминаний раннего детства. Кроме того, различные крохи этого детства расплылись у меня по другим книгам, поэтому я оказался в неблагоприятном положении человека, который не может взять да запустить руку в мешок, где содержатся — пусть безнадежно и хаотически перемешанные — биографические факты, а вынужден силой вырывать их из разнообразных конструкций, в которых они обросли совершенными имитациями правды. Иронический вариант судьбы ученика чернокнижника — или, попросту говоря, лгуна, начинающего путаться в собственных вымыслах.

Вполне понятно, что в большей степени это касается переживаний, психических реакций, нежели чисто сенсорных впечатлений; говоря это, я подрываю — в чем отдаю себе отчет — самую концепцию, которой должен был руководствоваться: отделить интерпретации и версии переживаний от них самих, вычленив эти переживания в чистом виде. Это невозможно — излагать всю правду, и только правду.

Ребенок, которым я был, превращается в этом случае в какую-то кантовскую «вещь в себе». Мне приходится додумывать его, не зная, в какой степени это удастся, когда я лишь восстанавливаю, реконструирую, а когда переступаю намеченную для себя границу и из домыслов создаю фрагменты действительности, никогда не существовавшей.

Забавно, что с похожими заботами человеческие стремления сталкиваются в областях, казалось бы, совсем не связанных с попытками вернуться в «край детских лет»*. Так, например, оказывается, что если требовать очень строгой определенности, если добиваться слишком высокой точности, то отделить объективные факты от их интерпретаций уже невозможно, поскольку основа языка, составляющие его элементы — слова, законы грамматики и синтаксиса — являются интерпретациями, а не точными фотографиями предметов или психических явлений. Конечно, подобная констатация не утешение, хотя в какой-то степени она и может снять с нас тяжесть греха. Избыток знания зачастую оказывается бременем, балластом, ограничивающим свободу действия. Тот, кто знает, сколько «теорий ребенка» существует в психологии или антропологии, должен отдавать себе отчет, что как бы он ни желал и ни стремился быть простым, искренним, подлинным — предрасположения его интеллекта и характера неизбежно будут сносить его в сторону одной из теорий, ибо того ребенка, которым он был, он видит сквозь набор линз, надетых на нос последующими годами жизни, и тут уж ничего не попишешь.

Вот что можно сказать о «теории ребенка» как существа непознаваемого: постепенно он теряет эти качества, но одновременно, мне кажется, происходит процесс своеобразной тривиализации — под видом приближения к норме, то есть приспособления к группе, в которой — и вместе с которой — этот ребенок растет. Извечный спор о том, что является в человеке врожденным, а что приобретено под действием среды, идет по поводу лишь первых лет детства; кто знает, не ждут ли нас в этой области не только теоретические откровения, но и революция в педагогике — если действительно окажется, что порог приобщения к культуре и ее навыкам, в том числе и интеллектуальным, можно очень сильно сместить в сторону первых лет жизни. Это, вероятно, могло бы сделать из малолетних детей людей, владеющих даже элементами высшей математики.

* Из поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш».

Впрочем, отложим разговор о будущем, коль на этот раз я говорю о прошлом. Занимаясь им, я могу основываться исключительно на памяти. Тщетно я пытался восполнить ее пробелы, преодолеть ее анархический диктат, просматривая старые книги и альбомы. Правда, изображенные в них улицы, площади, костелы мне знакомы, близки, я чувствовал их как бы своими, но это ощущение можно, пожалуй, сравнить с ощущением домово́й мыши, для которой закоулки и щели квартиры привычнее, чем для законных владельцев этого жилища. Поразительно, что план города — сухая схема расположения улиц, рисунок довольно-таки абстрактный — говорил мне больше всего. Сдается, память с ее механизмами, столь упорно сопротивляющимися расшифровке наукой, многообразна и как бы многослойна. Из дому до гимназии я, пожалуй, мог бы пройти с закрытыми глазами даже сегодня: эта дорога настолько запомнилась мне, пока я по ней ходил, что стала чем-то вроде мелодии — тем, что психологи называют «кинетической мелодией». Отсюда и сравнение с мышью, которая, отлично ориентируясь в своем окружении, наверняка не способна к его эстетической оценке — так же, как не был способен я, будучи львовским гимназистом. Несомненно, я проходил мимо памятников архитектуры: армянского собора, старых домов Рыночной площади со знаменитой «Черной каменицей» во главе, но я ничего не могу о них сказать. В половине восьмого утра я доливал в кофе воды, чтобы остудить его, и шел по улицам Монюшки, Шопена, через площадь Смольки с каменным Смолькой посредине, по Ягеллонской; проходил мимо кино «Марысенька» к улице Легионов. В глубине, слева, маячил театр, но меня, словно маяк моряка, притягивал дом гораздо менее пышный, стоявший на углу площади Духа, — киоск с изделиями пана Кавураса.

Он изготовлял халву в двух видах упаковки, по 10 и 20 грошей. Я обычно получал 50 грошей на неделю и, таким образом, в понедельник мог обедаться халвой; но начиная со среды положение резко менялось. Изводила меня также сложнейшая проблема, стоящая где-то на пограничье стереометрии и алгебры: что лучше — одна пачка за 20 грошей или две по 10? Коварный Кавурас затруднял решение; он придавал пачкам несравнимые формы, и я никогда не был уверен, что решил правильно.

Дальше дорога пересекала площадь Рынка — мимо Ратуши, огромного сундука с башней, мимо колодца с Нептуном и каменных львов, присевших на корточки у ворот,

через узкую Русскую улицу на Подвальную, где стоял трехэтажный дом гимназии, окруженный деревьями.

Когда у меня не было ни гроша за душой, я предпочитал ходить мимо так называемого «Венского кафе» — может, чтобы вид маслянистых стен халвы за стеклом киоска не ранил мне сердце. У кафе находился первый ориентир — электрические часы. Следующие висели на Рынке высоко на башне Ратуши. Они показывали, можно ли еще задержаться у какой-нибудь витрины, или следует ускорить шаг. Это, собственно, все, что запомнил глаз, — да и многое из того, чем был занят мой дух. Я воистину был мышью, а общество делало все, чтобы с помощью педагогики превратить меня в человека. Сопrotивлялся ли я? В одиночку — не особенно, скорее как частица ученического коллектива. Конечно, величайшие писатели мира уже говорили об этом, и непревзойденно. Они показали гимназию как сложную игру, то есть борьбу противоположных интересов, в которой преподавательская сторона, стоя на позициях власти и авторитета, пытается вдолбить в головы учеников максимум информации, а вторая сторона, естественно, более слабая, всеми силами и способами увиливает от этой информации. Полностью ей это не удастся, но бездумное, отчаянное сопротивление класса — смесь из мелких пакостей и всеобщей инертности — стремится по мере сил извратить, осквернить или хотя бы разрушительно переосмыслить все, что служит делу обучения. Микропейзаж педагогической баталистики не богат. Он представляет собою поле для поединков — во время опроса — или массового избияния — при контрольных работах, а сверх того всяческих петляний, вывертов, обходных маневров, когда каждая парта становится редутом, мел превращается в снаряд, а последним прибежищем — ох как часто! — становится туалет.

И вот в результате общих усилий во всех щелях и трещинах официальной структуры возникает своеобразная — гимназическая — субкультура, ибо, терзая парты, выцарапывая на стенах туалета граффити, топя в чернилах мух, смачивая водой мел, разрывая губки для классных досок, подрисовывая национальным героям женского пола усы, а их мужским аналогам бюсты, класс только на первый взгляд отвечает созданием хаоса на требования порядка. В действительности он строит порядок, однако такой, который сводит на нет — путем обессмысливания — ценность материальных средств науки. Например, превращает ручки в игрушки — или делает из тетрадей зверюшек с ослиными

ушами. Стало быть, в кажущемся сумасшествии рычащей ученической орды есть метод и даже религия, поскольку класс, окопавшийся на партах напротив кафедры учителя, вызывает к бою божеству Великого Оглупения.

На мне производили эксперименты. Я поступил в первый класс старой гимназии, кажется, в 1932 году, и мой воротник, застегивающийся на крючки, был украшен одной серебряной полоской, к которой со временем предстояло присоединиться следующим, а в пятом классе серебро должно было уступить место золоту. Однако из второго класса я вновь перешел в первый — нового типа. Твердые фуражки с желтыми бархатными околышами, из-за которых нас звали «канарейками», уступили место мягким «матеевкам»; прогресс выразился и в новом покрое школьной формы: синих куртках и брюках с голубым кантом, а также рубашке, расстегнутой на шее как в гражданском флоте; кроме того, нам выдали нарукавные нашивки, имеющие вид щита. Вторая гимназия стала именоваться Пятьсот шестидесятой. Началась борьба против нашивок. Около восьми часов утра директор, сопровождаемый кем-либо из классных наставников, крутился перед гимназией, среди учеников, усердно сдергивающих фуражки. Время от времени он подзывал кого-нибудь, чтобы проверить, пришита ли эмблема согласно инструкции или только прихвачена на живую нитку. Поэтому многие носили в кармане портняжные принадлежности и, предупрежденные знакомыми где-нибудь на углу Русской улицы, лихорадочно уничтожали признаки неповиновения. Что касается меня, то нашивка у меня была пришита намертво матерью, чего я стыдился и с чем боролся окольными путями, в конце концов придумав, как можно ею воспользоваться в рамках той субкультуры, о которой я только что говорил. Но об этом позже.

Одновременно с кончиной старой гимназии я пережил гибель парт — почти во всех классах их заменили стулья и современные столы с ящиками. Парты я вспоминаю как нечто архаическое, как реликт минувших эпох; я мимолетно столкнулся с ними под конец их существования и вспоминаю о них не без искреннего волнения. Впрочем, Бог с ними, с чувствами, — мне кажется, следовало бы собрать последние экземпляры школьных парт, если они еще где-то сохранились, и поместить в музей на равных правах с остатками мустьерской или ориньякской культур*. Палсолитический человек занимался резьбой по камню, гимназический — по

* Культуры каменного века.

парте. Это был благодатный материал. Должно быть, мудрые столяры проектировали их, имея в виду бесчисленные волны учеников, которые непрекращающимся прибоем будут пытаться изничтожить деревянные оковы. Края парт со временем стали гладкими, как слоновая кость, потому что за них судорожно хватались бесчисленные поколения вызванных отвечать гимназистов. Толстые доски так пропитались потом и чернилами, что приобрели неопиcуемый серо-буромалиновый цвет; стальные перья, лезвия перочинных ножей и просто ногти — а кто знает, может быть, и зубы — испещрили их вязью таинственных знаков, иероглифических писмен, слои которых накладывались один на другой, ибо каждое очередное поколение закрепляло и продолжало труд предыдущих; так появились глубокие и глубокомысленные рытвины, несравненную же гладкость отверстиям от выпавших сучков придавал сизифов труд во время лекций, но и это еще не все. Когда репрессии достигали апогея и приходилось сидеть, заложив руки за спину, глаза, эти слуги души, над которыми учителя уже не властны, в последней попытке уклониться от знаний покоились на рисунке древесных слоев; при соответствующей сосредоточенности можно было стать начисто глухим к учительским словам. Как Гамлет даже в ореховой скорлупе чувствовал бы себя владыкой бескрайних просторов, так и каждый из нас мог благодаря парте сливаться с абстрактными меандрами ее поверхности и, охваченный сладостным обалдением, передохнуть в этой коварной разновидности эскапизма. Вероятно, вырезать ерунду можно и на полированной крышке стола, но это уже совсем не то. Это делалось бы без уверенности, а стало быть, и без артистизма, скорее по инерции. У старой, доброй парты было два углубления для чернильниц; у нас была в ходу особая их разновидность — стеклянные баночки с отверстием-воронкой, довольно глубоко уходящей внутрь, из-за чего чернила должны были не выливаться, если чернильницу перевернуть. Уверяю вас, они выливались, а если не хотели делать этого сразу, мы им помогали. Шариковых ручек в то время еще не существовало, на авторучки смотрели неодобрительно; писали мы обычными стальными перьями, которыми — в рамках субкультуры — можно было и кидаться, и соседей покалывать. Мы своими действиями доказывали, что нет предмета, который нельзя было бы поставить на службу целям, противоречащим намерениям его создателя. Культуру, как известно, наследуют — поколение от поколения; с незапамятных времен было известно, для чего существуют

парты, когда же появились столы, мы были obstupuit опнес*, что с ними делать. Однако побежденными мы себя не признали, и в результате у стульев поотлетали ножки. Как правило, это именовалось вандализмом. Вероятно, это и был вандализм, хотя, с другой стороны, чем отличались от нас святые писакки средневековых монастырей, соскребавшие с пергаментов ценные записи, чтобы поместить на их место свои неинтересные тексты?

Тем, чем для христианина являются небеса, для нас был Высокий Замок. Туда нас пускали, когда из-за неожиданного отсутствия учителя отменяли урок — одна из самых приятных неожиданностей, которыми изредка баловала нас судьба. Это было место не для прогульщиков, так как в аллеях, между скамьями и деревьями, можно было натолкнуться на воспитателя; местом укрытия служили ямы из-под выкорчеванных деревьев в Кайзервальде и районы за Песчаной горой — там дезертиры беспечно слонялись в чаще, досыта накуриваясь «Силезскими раритетами» или «Юнаками». К Высокому же Замку мы отправлялись открыто, шумно, в сладостном ореоле легального безделья, упиваясь избытком неожиданно свалившейся на нас свободы. От этого восхитительного места гимназию отделяли, помнится, две трамвайные остановки, однако мы никогда не ездили туда на трамвае — это было слишком дорогое удовольствие. Обычно мы шли вверх по Театынской улице, а в нескольких десятках шагов за домами, там, где, кончались трамвайные рельсы, склон холма улетал вниз, открывая вид на огромную панораму Львова, с правой стороны обрамленную последними отрогами Песчаной горы, а с левой — парковыми зарослями, за которыми скрывался курган Люблинской унии. Далеко внизу чернели переплетения путей и маленькие паровозики на железнодорожной станции Подзамче, а еще дальше до самого зеленого горизонта голубоватой дымкой дышало воздушное пространство.

От Высокого Замка сохранились остатки стены, руины, которые я едва помню. Понадобилось тридцать лет, чтобы я над этим задумался и узнал, что Высоким Замком называлось некогда великолепное сооружение — потому что в городе когда-то существовал еще и Низкий Замок. Впрочем, в описываемое время руины и другие достопочтенные памятники веков меня совершенно не интересовали. Что же в таком

* Здесь: в недоумении (лат.).

случае мы там делали? Собственно, ничего. Несколько раз в году мы с отцом ходили на курган Люблинской унии или на Песчаную гору, но не в учебное время. В учебные же дни можно было воспользоваться только случайно выпавшей возможностью. За восемь гимназических лет я бывал в Замке несчетное количество раз, но, кроме теней огромных каштанов да низких живых изгородей, за которыми голубела панорама города, не помню ничего, потому что это, собственно, было даже не место, а некое идеальное состояние, по своей насыщенности сравнимое разве что с первым днем каникул — еще не тронутым, не надкушенным, при одной лишь мысли о котором сердце замирало от сладостного предчувствия, поскольку всему еще только предстояло случиться, — и одновременно появлялась склонность к расточению времени, разлившегося океаном на весь июнь и июль. Высокий же Замок открывался нам всего на один час, поэтому каждой минутой надлежало насытиться, испытать ее до конца, заполнить откровенным бездельем, старательным ничегонеделанием; мы утопали в нем, позволяли ему нести себя, словно теплой реке под облачным небом. Это не был погруженный в молитвы скромный христианский рай, а скорее нирвана — никаких искушений, желаний, — блаженство, существующее само по себе. Даже наши глотки, охрипшие от крика на переменах, охватывало, видимо, это небесное дуновение: хотя мы немного и верещали, но больше по привычке, чем по необходимости.

Туда, точнее, на холмистый участок за Песчаной горой, мы ходили также и на уроках природоведения, но это было совершенно иное дело, особенно для меня, всегда бывшего с растениями не в ладах. Наш «природник», Носкевич, не мог надивиться, как это у меня во время классифицирования с определителем Ростафиньского в руках травы и колючки превращались чуть ли не в рододендроны. Покрытосеменные, голосеменные — одни эти названия, не знаю почему, мне противны; в свое оправдание я, вероятно, мог бы сказать, что растения действуют мне на нервы. Ведь это как бы наши отдаленные родственники, всегда и всем удовлетворенные, если не хуже: абсолютно безразличные ко всему. С мышами, львами, даже муравьями мы разделяем множество забот: боимся, желаем или добиваемся чего-то, а растительное безразличие к судьбе кажется мне предательством по отношению к общему делу. Неужели столь причудливые взгляды были у меня на двенадцатом году жизни? Пожалуй, нет. И однако неприязнь, не имеющую, правда, ничего

общего с необходимостью есть шпинат, я испытывал к нашим зеленым братьям с незапамятных лет.

Лишь возвращаясь в гимназию с подобной сиесты, мы замечали, как мал школьный двор — врезанная в склон Валов горизонтальная площадка, вытоптанная до предела. Двор был огорожен низкими каменными столбиками, соединенными толстыми металлическими прутьями, — не преграда, конечно, но переступить эту границу запрещалось. Поэтому необходимо было максимально использовать отведенное пространство, не оставляя без внимания ни сантиметра. Со стороны свободного мира приходил продавец пряников и вместе с ними приносил нам сладость азарта. Двое школяров платили по пять грошей; он же, многозначительно позвякав медяками в кармане грязного фартука, вынимал горсть монет и считал: чет — нечет; угадавший выигрывал и немедленно съедал десятигрошовый пряник. Мне никогда не разрешалось их есть: ими можно отравиться, утверждал отец. Я ему не возражал, хотя все мои товарищи неизменно оставались в добром здравии. От самой стены корпуса по склону спускался бетонированный желоб; в нем мы бесконечно, то есть от звонка до звонка, протирали каблуки и подошвы, сползая, съезжая и взбираясь вверх. Кроме того, мы расшатывали все прутья, когда-то наглухо заделанные в столбики, содрали (я чуть было не сказал — обгрызли) кору с окружавших двор деревьев; иначе говоря, мы были как бы коллективным аббатом Фариа из романа Дюма. Если бы каким-то чудом собрать воедино энергию всех гимназистов мира, вероятно, удалось бы насквозь пробуровать Землю и высушить океаны, но предварительно это следовало бы строжайше запретить.

Я набросал здесь нечто вроде заявки на эссе под названиями «Гимназия как субкультура» и «Гимназия как стихия». Но она была и еще кое-чем — обществом. Определенно. И как всякое общество, мы управлялись не только легальными законами — у нас было демократически избранное самоуправление со старостой во главе, казной, казначеем (я тоже был им некоторое время) и дежурными на уроках, — но и законами негласными, которые возникали и действовали как бы самостоятельно. В иерархии последних были две четко выделявшиеся должности: недотепы и классного шута. Недотепой становились по решению класса, решению неофициальному, но безапелляционному. Идеальным кандидатом считался какой-нибудь толстый, неловкий мальчишка, над которым можно было поизмываться, впрочем, не жестоко — только чтобы он не забывал о своем положении;

если он смирялся с назначением, то мог жить вполне сносно. В классе обычно был лишь один недотепа, словно большее их количество бросило бы тень на весь класс. В нашем классе это место долго занимали двое, однако исключение только подтверждало правило, так как это были близнецы, братья Ф. Близнецы представляли собою как бы единую личность, воплощенную в двух телах; они были одним недотепой, повторенным дважды. Такое положение приводило к любопытному соперничеству, настраивая их друг против друга. Частенько после долгого семейного перешептывания в углу они вдруг начинали драться — разумеется, как недотепы: молотили вслепую кулаками, вырывали друг у друга волосы и слезливо визжали. Когда братья болели, обязанности недотепы *per graciā** исполнял толстый З. Он был страшно обидчив, щеки у него были словно специально созданы для щипков, а будучи одновременно толстым и недоверчивым, он чудесно подходил для «тисканья». Процедура заключалась в том, что к ничего не подозревающей жертве с двух сторон скамейки (скамейка абсолютно необходима для тисканья) подсаживались два здоровяка и, упираясь ногами в пол, а руками в столы, по сигналу стискивали между собой несчастного, пока у того не начинали хрустеть ребра, а глаза не вылезали на лоб. Впрочем, недотепе сильно не доставалось — возня с ним не считалась признаком хорошего тона.

Рассматривая классное общество в лупу, можно заметить, как беспокойно чувствовали себя ученики, которые инстинктивно догадывались, что превращаются в кандидатов в недотепы и, вероятно, будут низведены на эту должность, как только она освободится. Именно они измывались над официальными недотепами, чтобы как можно явственнее отмежеваться от них. Так они пытались противостоять собственной потенциальной недотепистости, весьма, впрочем, наивно, поскольку благородные представители класса совсем не обращали внимания на его парий.

Недотеп назначали по всеобщему решению, шутю же можно было стать лишь собственными стараниями. Врожденный талант должен был сопровождаться соответствующим тщеславием. Шут — это тот, кто ухитрится позабавить класс одним удачно брошенным словом, слепить меткую поговорку и — прежде всего — прикинуться дурачком во время опроса. Положение было трудным, так как приходилось балансиро-

* По доверенности (лат.).

вать между классом и противоположным лагерем; нельзя было стать шутом и для тех и для других. Так что подобная эквилибристика требовала большого искусства.

Некоторое время чем-то вроде шута в нашем классе был Мечик П., отличавшийся тяжеловесным юмором и еще более тяжелой рукой. Когда его вызывали, он обычно начинал изображать идиота, стараясь показать всем, что он издевается над преподавателем. Особенно беспощаден он был к молодым женщинам, ассистенткам при учителях, иногда проводившим занятия самостоятельно. Мечик был вульгарен, и я его не любил; он сидел на последней парте, частенько притворялся глуховатым, так что приходилось его переспрашивать, а врал он артистически: с бесстыдной невинностью глядя в глаза, он с поразительными подробностями излагал совершенно неправдоподобные события, которые якобы не позволяли ему приготовить уроки. Чем явственнее была лживость оправданий, тем с большими подробностями он их преподносил. Класс смеялся, но не над ним лично — подобные попытки Мечик пресекал упоминанием о своей компании. В нее входило еще несколько верзил-второгодников, представлявших собою, с точки зрения педагогики, безнадежные случаи. Он был их *porte-parole*^{*}, даже их присяжным интеллектуалом, хотя и не верховодом, потому что шуток они не любили и к близким контактам с нами не стремились. Они казались гостями из иного, внегимназического мира, совсем из другой сферы. По сравнению с ними мы были хлюпиками — некий В., например, позволял нам душить его и сопротивлялся лишь одним напряжением твердых, как дерево, мускулов шеи. В средних классах гимназии мы начинали интересоваться вопросами секса, соперничая между собой в той вербальной порнографии, которая силится заменить опыт теоретическим красноречием. Они в такие разговоры вообще не вступали. Для них это была обыденщина, рутина, почти профессия — а мы, в отчаянной попытке сравняться с ними, старались при случае выкрикнуть что-нибудь поскабрезнее, чувствуя, однако, как у нас из-под ног уходит почва вожаемой мужественности. Интересно, что мне запомнились в основном не их лица, а руки и портфели, — руки взрослых мужчин, тяжелые и малоподвижные, пожелтевшие от никотина, со вспухшими жилами на тыльной стороне кисти, покрытые шрамами отнюдь не от игры перочинным ножиком; у этих шрамов не было ничего общего с игрой. Их портфели с

* Глашатай (фр.).

потемневшей, грязной кожей, полуразвалившиеся, давно лишившиеся ручек и металлических уголков, со впалыми боками, потому что в них никогда не было ничего, кроме завтрака, давали понять, что в течение многих лет их приучали к суровой жизни: бывали они и воротами футбольных матчей — во время прогулов, и подушками — для отдыха в Кайзервальде, и снарядами; такой портфель-ветеран, мне думается, следовало бы поместить под музейное стекло рядом с партой.

Были у меня и довольно близкие товарищи, но, пожалуй, не было ни одного друга, которому бы я мог поверять свои тайны. Мне нравился Юзек Ф., у которого усы начали расти, почитай, чуть ли не в первом классе гимназии; он был отличным математиком; его убили немцы. Нравился мне еще один отличник, Зигмунд Е., по прозвищу Забойщик. Интересно, что я помню его не по парте или классу, а по спортплощадке. Сын бедных родителей, он пробивал себе дорогу к знанию с помощью репетиторства. Учение стоило дорого — полугодовая плата составляла 110 злотых, то есть стоимость костюма или пяти пар ботинок, а получить освобождение от платы было нелегко. Итак, драматические минуты, когда пробивали пенальти в ворота противника... Героем был Забойщик — я его вижу словно живого; сначала он клал мяч в надлежащей точке штрафной площадки — в одиннадцати шагах от ворот, в которых нервно облизывал губы вратарь, ссутулившийся и широко открывший глаза. Потом отступал для разбега и в молчаливом, угрюмом раздумье, прищутив глаза, как бы выходил один на один с противником. Его расслабленное тело слегка напрягалось, и он направлялся к мячу сначала медленно, по-утиному переваливаясь: у него были немного кривые ноги, к тому же он специально ими загребал, чтобы вратарь не догадался, с которой ноги Забойщик ударит. Правда, все знали, что он бьет только левой, но эту игру в неуверенность он повторял всегда и, что самое странное, с отличными результатами. На последних метрах он набирал скорость — только ноги мелькали, — раздавался тупой звук удара — и мяч шел точно в девятку. Под восхищенный гул зрителей. Забойщик медленно оборачивался, и все видели его вежливо улыбающееся, невинное лицо, будто он сидел в классе, за партой, — немного сладковатое и совсем будничное.

У меня были два долголетних соседа по парте. Одним был Юлек Х., сын полицейского, довольно крупный парень, блондин со вздернутым носом и выражением неуверенности

в глазах. Мы с ним провели солидную деловую операцию, которая долго тянулась, прежде чем пришла к финишу: за надоевший мне пугач-браунинг девятого калибра он дал однозарядный пистолетик калибра шесть миллиметров. Разумеется, я воспылал желанием немедленно испытать оружие, а так как каждая минута была дорога, вернувшись домой, тут же зарядил пистолет так называемым «горошком». «Горошек» никак не хотел уместиться в заряднике, но в конце концов я его туда затолкал. Я раскрыл окно в комнате рядом с кухней, нацелился вдоль галереи в дверь клозета на другом конце галереи и бабахнул. Грохот был неожиданно сильный, я бы даже сказал, чудовищный. Прежде чем я успел побежать на галерею, чтобы проверить, что стало с пулей, в комнату влетела мать, а следом за ней — отец в белом халате и с ларингологическим зеркалом на лбу — выстрел застал его во время приема. Еще дымящийся пистолет был немедленно конфискован и в качестве весьма опасного оружия отправлен в наглухо запертый ящик. Значительно позже я убедился, осмотрев пистолет, что мне действительно крепко повезло, потому что у зарядной камеры были слишком тонкие стенки и ее раздуло вместе с гильзой пороховыми газами; к счастью, вязкая медь выдержала и все это не полетело мне в глаза. Пулю я искал долго и безуспешно — ствол не был нарезан. Кажется, Юлек выгадал на обмене. Может, это было у него семсйное, но во всяком случае об оружии мы говорили много; Юлек однажды даже участвовал в охоте, помнится, на кабанов, и один из товарищей целился в будто бы прятавшегося в кустах зверя и по ошибке подстрелил Юлека в бедро. Он долго ходил в бинтах, вызывая всеобщую зависть. Впрочем, это было уже позже, в лицее. В то время уже и у Юлека Д. был прекрасный самозарядный «фловвер», а я так и не пошел дальше духового пистолета; я переживал это весьма болезненно. Если б это зависело от меня, я, вероятно, ходил бы в гимназию, с головы до ног увешанный револьверами, а так я мог только похвастаться различными охотничьими достижениями, но делал это, впрочем, без особого энтузиазма, потому что чувствовал: моя выдумка слишком явно уступает действительности.

Еще раньше моим соседом по парте был Юрек Г., красивый и влюбчивый; у него всегда было множество запутанных историй с девушками, а кроме того, сдается, какое-то дерзкое приключение со взрослой женщиной, кажется, вдовой. Встречались они чуть ли не в Стрыйском

парке, и, кажется, кто-то из дружков наблюдал за его страстными действиями. Увы, не могло быть и речи, чтобы я мог участвовать в чем-то подобном, — за мной был установлен строгий надзор. Всю вторую половину дня я из дома выйти не мог, потому что мне был придан ангел-хранитель — попросту говоря, репетитор, пан Вильк, вначале студент, а затем магистр права; он следил, чтобы я добросовестно выполнял домашние задания. Таким образом, классическая отговорка, что я-де иду к товарищу готовить уроки, для меня не существовала: мне действительно приходилось заниматься. Вдобавок ко всему я еще изучал дома французский с некоей Мадемуазелью, особой достаточно неприятной, обладавшей огромным пористым — вы словно видели его сквозь увеличительное стекло — красным носом. Правда, мне удавалось ее умаслить, придумав целую систему уверток, спасавших от ужасной грамматики. К счастью, Мадемуазель была любопытна по натуре, поэтому выпрашивала меня обо всем, что происходило в нашей семье: не выходит ли кто замуж или наоборот. Я же, ничего не зная об этих матримониальных делах, плел и врал что на ум взбредет; в конце концов, несмотря на все, я научился немного болтать по-французски, однако тайны *temps défini, indéfini* и всех ужасных *subjonctif*'ов остались для меня загадкой навсегда. В то время я уже производил собственные алкогольные напитки, имея в виду каких-то неожиданных гостей мужского пола, которые так никогда и не появлялись, но я все равно прятал за томами энциклопедии Брокгауза и Майера грязно-белый ящичек со скляночками, заполненными остатками недопитых вин и коктейлями собственной рецептуры. Я пользовался буфетом матери; основой коктейлей была тминная настойка, которую отец иногда употреблял перед обедом. Когда семейные сплетни иссякали, я потчевал француженку своими алкогольными изобретениями — и она была не прочь опрокинуть рюмочку-другую. В маленьких химических бюксиках я смешивал духи, упертые из комода матери, и умащал ими мою француженку. Совершенно удивительно, что после всего этого я ухитрюсь прочесть книжку на языке Мольера.

Разрываясь между школой, паном Вильком и француженкой, я оставался без свободного времени, и жизнь моя была бы, вероятно, совсем бессодержательной, если бы я не разнообразил ее тайными способами, о которых вскоре расскажу. Некоторым развлечением были школьные спектакли; приходилось ходить на всякую страшную муру вроде

«Освобождения» Выспяньского* (я не высказываю здесь мнения о драматургии Выспяньского, а говорю лишь о ее восприятии четырнадцатилетками). В классе нам раздавали нумерованные билеты, и немедленно начиналась оживленная дискуссия о том, где будут сидеть девочки из женских гимназий. По тайным каналам проникали необходимые сведения, и мы приступали к торговле и обмену, потому что каждый или почти каждый хотел сидеть там, где можно было рассчитывать на сладостное соседство. Меня это не касалось; я был инфантильным теленком и мог только слушать разинув рот о победах Юрека Г., о свиданиях и о том, что на них творилось. Впрочем, выгоды соседства с женскими гимназиями на школьных спектаклях были довольно иллюзорными, потому что педагоги рассаживались в стратегических точках и не жалели усилий, чтобы не допустить даже минимального контакта.

Время от времени родительский комитет организовывал танцы, но я в то время не умел танцевать и мог только подпирать стенку — точнее, лесенку, потому что танцевали в гимнастическом зале. Некоторые молодые преподаватели были не прочь пуститься в пляс с нашими гостями, и это, по правде говоря, казалось мне противоестественным. Я не мог представить себе Аттилу, увлекающегося хореографией.

Чтобы стало ясно мое положение в классе, сравню себя с другими. Я был неуклюж и довольно толст, но тем не менее как-то не попадал в недотепы; во всяком случае, не был недотепой патентованным, одобренным всем классом. Может, потому, что держался в стороне от большинства, учился хорошо и голова у меня была забита множеством личных забот. Впрочем, не знаю. Кажется, на рубеже гимназии и лицея я столкнулся с Прустом, узнав о его существовании благодаря Иереми Р. и Янеку Х. Иереми изучал английский, таскал с собой какие-то словари и вообще был невероятно умный. Поскольку я читал все, что попадало под руку, то, увидев, как Янек и Иереми носятся с томами, имеющими недурственные названия, вроде «Под сенью девушек в цвету», немедленно взял первый том цикла и увяз на первых же страницах. Страшно этим удивленный, я, как профессиональный прыгун, несколько раз отступал, чтобы набрать скорость, и бросался на преграду, но каждый раз отлетал, словно от стены. Кто знает, не тогда ли мне в душу запали первые

* Станислав Выспяньский (1869 — 1907) — польский драматург, поэт, художник.

семена комплекса неполноценности? Из чтения Пруста ничего не получалось. Прогуливаться с барышнями я даже не пытался, потому что не знал, как это делать и когда. Поэтому перед товарищами, к которым я причислял и Янека Х., приходилось прикидываться, будто со всем этим у меня все в порядке. Янеку я втайне ужасно завидовал. Он был сыном известного львовского адвоката, жил неподалеку от улицы Мицкевича, рядом с площадью Смольки, в просторной квартире, где входящего приветствовал бюст его отца — громадная, воистину римская голова на массивной шее, с неправильными чертами лица и широкими ноздрями. Мать у него была ненормальная. Янек никогда о ней не говорил; она никуда не выходила из квартиры, жила в отдельной комнате, почти всегда за закрытой дверью — там было сине от дыма; я несколько раз мимолетно видел ее, и всегда она держала в пальцах дымящуюся сигарету. Репетитора у Янека не было, отец относился к нему как к взрослому: ему не приходилось говорить, куда он идет, что собирается делать, приготовил ли уроки. Он читал себе своего Пруста, сидя в очках с проволочной оправой, а когда приходил я, захлопывал книжку, снимал очки вместе с бумажкой, подложенной на переносицу, чтобы проволочка не оставляла следа. Он прекрасно плавал: сто метров вольным стилем за минуту и шестнадцать секунд, я же держался на воде как колун; кроме того, он играл в теннис, в волейбол, а в лицей ходил с великолепной Вандой П., причем о Ванде не считал нужным говорить. Никакими победами он не хвастался. Но больше всего мне нравилось, пожалуй, что этот, вообще-то говоря, посредственный ученик совсем не интересовался школой, двойки его отнюдь не волновали, словно он смотрел куда-то дальше, словно имел свою систему оценок и преспокойно ею пользовался. Мы подолгу провожали друг друга, кружа между Браеровской и Мицкевича; он был добрый, отзывчивый мальчик с немного сонным, как бы флегматическим нравом и большим чувством юмора. Насколько мне известно, его тоже убили немцы.

В то время — в гимназии — я делал множество вещей уже отнюдь не ради удовольствия, а (бессознательно подражая в этом взрослым) лишь потому, что именно этим, а не чем-то иным занимались мои ровесники. Еще до лицей самые умные товарищи начали играть в бридж, который казался мне хуже неправильных латинских глаголов. Я никогда не мог запомнить, какие карты уже вышли, какие еще на руках, чем бить и с чего ходить, — меня признали умственно недораз-

витым, и я навсегда охладел к бриджу. Что касается шахмат, то однажды я выиграл у одного молодого, но, кажется, подающего надежды шахматиста, да так, что он совершенно обалдел. Ни до этого, ни потом я так и не смог повторить этого достижения. Если не ошибаюсь, произошла одна из тех случайностей, о которых якобы Наполеон сказал, что на поле брани наиболее опасны идеальный военный гений и абсолютный идиот — иногда с перевесом на стороне идиота, поскольку его поступки уж совершенно невозможно предвидеть.

Некоторое время я играл в пуговицы, таская у матери из шкафа ценные экземпляры; кидал в потолок наслонявленные папиросные гильзы — все так делали; когда слюна высыхала, гильзы во время урока к возмущению учителей начинали падать таинственным дождем; под присмотром Янека Х. я занимался джиу-джитсу, обычно в тамбуре уборной второго этажа нашей гимназии, кидал в мишень пробковые снарядики с острием впереди и оперением и крошечным противовесом в задней части; научился плевать на пять, а то и шесть метров, — но никогда не умел свистеть в два пальца, и очень об этом сожалел. В этих затеях мне многое не удавалось, я бывал непонятлив, но зато очень старался. Пытаясь не отставать от других, я собирал — точнее, делал вид, что собираю, — почтовые марки, до которых мне не было никакого дела, а с коллегами, навещавшими меня, играл в войну, в солдатики. В свои альбомы заглядывал, только оставшись один. Впрочем, мне не приходилось себя принуждать, когда, например, мы ходили гурьбой на Восточную ярмарку и до тех пор собирали бесплатные рекламные листки и упивались бесплатным бульоном Магги, пока нас наконец не оттаскивали от прилавков их хозяева. Даже моя пухлая туша в некоторых обстоятельствах бывала полезной. Я немного играл в футбол — в защите: меня было трудно оттеснить, оттолкнуть корпусом, потому что у меня был солидный вес. Изредка во Львове проходили захватывающие автомобильные гонки по кругу, который пролегал по улицам Стрыйской, Кадетской и Пелчинской. На Пелчинской даже заливали рельсы гипсом, а края тротуаров обкладывали мешками с песком; тогда чувствовалось, что Львов невероятно европейский город; это подтверждали огромные гоночные машины, издающие адский грохот.

Стыдно признаться, но убежать с занятий я не смел. Однако, когда у нас отменяли урок, мы ходили в находящийся поблизости Высокий Замок, на Кортумову гору, в Кайзер-

вальде. Окрестности гимназии я изучил позже, когда во время военной подготовки мы ходили на лыжах. Местность была полна ям, оврагов, холмов, самый лучший вид открывался с кургана Люблинской унии.

5

Директором нашей гимназии был Станислав Бузат, невысокий мужчина с зычным, властным голосом, впрочем, очень хороший человек и хороший историк; географии обучал наш долголетний классный наставник Навроцкий, прозванный Моторным за то, что в кабинете географии он утихомиривал нас звуками специального звонка — с кнопкой; физике учили в разные годы Левицкий и Бляйберг. От первого мне однажды крепко досталось по лбу: сидя на первой парте, во время урока, на котором он излагал свойства ртути, я в непреодолимом желании блеснуть все время подсказывал ему, и, когда я несколько раз кряду подсказал температуру затвердевания ртути, он, выйдя из терпения, треснул меня так, что искры из глаз посыпались. Я был страшно разочарован, так как рассчитывал на иное отличие. Однофамилица, но не родственница Левицкого, пани Мария Левицка, обучала нас польскому. Я всегда был одним из лучших, писал саженные классные работы, почти никогда не мог их закончить за сорок пять минут урока; полонистка выписывала мне красными чернилами множество изумительных замечаний в тетради, тем более когда тема была свободной: такие я особенно любил. Увы, я слишком злоупотреблял своим положением любимчика и почти не учил уроков, а из обязательной литературы читал только то, что мне нравилось; всякие там шимоновичи* или каспровичи** не могли рассчитывать на мою благосклонность; поэтому в области истории литературы у меня остались пробелы, не целиком заполненные и в последующие годы. Я пользовался тем, что Левицка никогда не вызывала меня сама, и теперь являю собою печальный пример человека, сдавшего выпускные экзамены и не имеющего ни малейшего представления о грамматике, потому что и в этой области знаний я совершенный профан — доверие меня испортило. Помню, однажды я совершил позорный поступок: выполняя работу — мы писали сочинение, — я связал воедино постав-

* Шимон Шимонович (1558 — 1629) — польский поэт, драматург.

** Ян Каспрович (1860 — 1926) — польский поэт, драматург, переводчик.

ленное перед нами задание с собственными интересами: перенесся на планету Венеру и содрал солидный кусок из книги профессора Выробка о чудесах природы; там было помещено выраженное в увлекательный беллетристический наряд описание Венеры с ее девственными джунглями и плотными облаками. Таким образом, возвращаясь к гимназическим временам, я должен сказать, что у истоков моей литературной карьеры стоит самый банальнейший плагиат. Я пытался, помнится, кое-что добавить уже от себя, написав о венерианцах (как же впоследствии мстят нам грехи молодости!), но сам чувствовал, что написанное мною по экспрессии и красочности далеко уступает картинам профессора Выробка. Наша полонистка проводила уроки по современному методу, стремясь вести с классом непринужденную беседу; уж если я признался в неблагоприятных поступках, то для уравнивания картины хочу добавить, что не все в польском было мне безразлично и я мог порой высказаться не только на «венерианские» темы; кроме того, сам метод проведения уроков Левицкой действительно побуждал к некоторой самостоятельности — иное дело, что следовало проявлять минимум доброй воли и прилежания, на что не каждый был способен.

Математике учил профессор* Зарицкий, одна из наиболее необычных фигур педагогического коллектива, украинец, дочка которого была замешана в покушении на министра Перацкого**. Он был представительным мужчиной лет пятидесяти со смуглой, даже темной, морщинистой кожей, еще более темными веками, острым неправильным носом, глубоко сидящими глазами, лысый, как колено, — он старательно брил весь череп. Мы панически боялись его, я тоже, потому что математика всегда была моей ахиллесовой пятой. Зарицкий — большой оригинал — обращался с нами довольно необычно. Иногда он награждал за хороший ответ тем, что приказывал отличившемуся покинуть класс и погулять по городу; или же начинал урок с того, что рассылал учеников по разным адресам с теми или иными поручениями. Это было привилегией, потому что позволяло вполне безнаказанно выйти из круга опасностей, поджидающих нас около испачканной мелом доски. Будучи в хорошем настроении, Зарицкий — он немного напоминал популярного

* Профессором в Польше называют также преподавателей гимназии и лицея.

** Бронислав Перацкий — генерал, с 1931 года — министр внутренних дел Польши.

киноактера Бориса Карлоффа тем, что никогда не улыбался и никакие эмоции не оживляли его маскоподобное лицо, — задавал особо трудные вопросы всему классу, одаряя того, кто ответит правильно, сигаретой. Однажды благодаря неожиданному озарению я сам получил такую награду и торжественно отнес ее домой. Сигарету я, разумеется, не выкурил, а бережно хранил до тех пор, пока табак не выкрошился из гильзы. Зарицкий был опасен своей загадочностью: мы никогда не могли понять, шутит он или требует чего-то всерьез; когда один из новичков за хороший ответ был послан в город, не послушался и вернулся на место, Зарицкий рывкнул на парня так грозно, что его моментально вынесло из класса. Каким этот человек был в действительности, я не имею ни малейшего понятия. Да и что мы знали о наших воспитателях? К примеру, математике, правда очень недолго, нас учил профессор Ингарден, уже в то время философ с европейским именем, о чем, вероятно, никто из нас не догадывался. Впрочем, Ингарден не очень-то нами занимался, что и не удивительно, так как своим коллективным сопротивлением математике мы подвергали испытанию самые мощные педагогические таланты.

Сдается, плеяда настоящих чудаков-учителей понемногу вымирает; быть может, для их появления нужны особые условия. Навроцкого-Моторного некоторое время замещал пришелец из другой гимназии, Бабин. Этот за один урок изничтожил весь класс при помощи одного-единственного вопроса, соответствующим образом поставленного. Он спросил, сколько существует континентов, а отвечавшим, что существуют пять частей света, вlepлял кол за колом. Как выяснилось, следовало говорить «частей Земли», поскольку «свет» — это весь космос. Никакой дискуссии, разумеется, на этот счет быть не могло, и я в числе многих получил тогда неудовлетворительную оценку по географии. Бабин был нашим кошмаром; причем его боялись все, ибо тот, кто выучил урок, играл в той же лотерее, что и самый последний лодырь. Я ничего о нем не знаю; он появился, как всеразрушающая комета, на несколько месяцев превратил уроки географии в сеансы ужаса и затем исчез с нашего горизонта. Я думаю, у него в голове не все было в порядке, поскольку его сокрушительные победы над нами были слишком уж иллюзорны.

Латыни в младших классах нас учил профессор Раппапорт, старый, болезненный, с желтоватым лицом, брюзгливый, но довольно мягкий; он почти не покидал кафедру, так

что техника нелегальной передачи необходимой для ответа информации расцвела в его эпоху буйно. Но уже тогда до нас доходили сплетни и жуткие истории, отголоски страшных слухов о другом латинисте, Ауэрбахе, который в старших классах предстал перед нами собственной персоной.

Маленького роста, забавной внешности, он приходил в огромных калошах, которые, войдя в класс, тут же яростными ударами сбрасывал, а затем, чтобы лучше командовать аудиторией, забирался на кафедру, свешивал ноги и в смертельной, томительной тишине начинал обозревать класс сквозь очень толстые, лупообразные стекла очков. Спустя некоторое время, окончив сеанс гипноза, он вызывал того, кто как раз меньше всего ожидал опасности, и парализовал жертву, если та пыталась самым незаметным движением призвать на помощь соседей; тогда он тигриным прыжком оказывался около подозреваемого, внимательно осматривал крышку его стола, книгу, руки. Разоблачая грешников, он проявлял поистине детективные способности. Во время классных работ он не довольствовался пассивной охраной форта кафедры, а тихо кружил по классу; его жуткое, немного носовое «А-хи-и!» — боевой клич, — и специфика его произношения и его выражений, которыми он прищипливал правонарушителей, были предметом бесконечных подражаний, иронического обезьянничанья, но это ни в коей мере не расколдовывало грозных чар нашего крохотного латиниста. Если я правильно понимаю — а это не более чем мой домысел, — в самом начале своей учительской карьеры он решил, что должен по возможности энергично и зримо компенсировать недостатки своего тела, не только смешного, но и незащитного — ибо так и выглядела его чрезвычайная близорукость в сочетании с малым ростом. Решив это, он разработал для себя систему засад, выпадов, прыжков, воплей, которая служила ему щитом и орудием нападения. А в общем это был умный и мягкий человек. Помню, на «малом выпускном экзамене» после четвертого класса гимназии (нового типа) его напугал выросший из мундира наш одноклассник У., который, получив из рук гимназических властей свидетельство, полное двоек, энергичным движением извлек из кармана флакон, прижал его к губам и опорожнил двумя глотками, распространив кругом запах йода... Все одеревенели, а из преподавателей, пожалуй, больше всех Ауэрбах, двойка которого, как он решил, должна была сыграть роль последнего гвоздя в гробу У. Немного погодя выяснилось, что выпитая У. жидкость не была смертельной —

обычная вода с примесью нескольких капель йодной настойки. У., которому уже на все было наплевать, этим красочным мазком завершил пребывание в нашей гимназии. В языке древних римлян я не был особенно силен, но обладал солидным чувством ритма и мог легко — без подготовки — читать гекзаметр, абсолютно мне неизвестный, — *nota bene*, зачастую ничего или почти ничего не понимая. Быть может, гладкость произношения и правильные ударения несколько смягчали раны, наносимые ушам наших латинистов менее красноречивыми товарищами, поэтому профессора относились ко мне более или менее благосклонно. Кроме того, я никогда не решался пользоваться никакими шпаргалками. Ясное дело, не все мои однокашники считали, что подготовка домашних уроков — их первейшая обязанность. Несомненно, поэтому они внесли уйму нового в сокровищницу изобретений и методов, с помощью которых в течение веков ученики пытаются бороться с педагогами; контрабанда информации, как можно назвать весь комплекс подобных процедур, была отличной базой для развития всевозможных промыслов. И прежде всего для изнурительного рукоделия; я имею в виду искусные приемы, с помощью которых между строками книги — например, латинской — наносился текст перевода, а также указывались предполагаемые цезуры в стихе, обозначались длинные и короткие слоги, дактиль, трохей; для этого на страницу клали листок бумаги, на нем писали карандашом, и в нужных местах текста между строчками выдавливались слова и буквы в виде бесцветных углублений. Если держать книжку соответствующим образом, падающий под углом свет позволяет, особенно молодым глазам, прочесть спасительные сведения. Кто не хотел утомлять себя такой подготовительной работой, мог воспользоваться промышленными изделиями, поскольку один издатель из Злочева — кажется, Цукеркандель — в массовом количестве выпускал маленькие, в желтых обложках, книжечки переводов, которыми пользовались гимназии не только Львова, но, кажется, всей Польши. Это были сборники латинских переводов и разборов обязательных для чтения поэм и драм, отпечатанные мелким шрифтом на отвратительной бумаге. Иметь такую книжечку считалось страшным проступком, поэтому самые благоразумные переписывали нужные отрывки латинских переводов от руки, например, на крошечных полсках бумаги и прятали в рукава, в карманы; впрочем, не было недостатка и в лентях, которые просто выдирали нужную страницу из Цукерканделя и вкладывали ее в

учебник. Некоторые рассчитывали на свой рост, благодаря которому они вместе с учебником возвышались над особой Ауэрбаха. Наивные, они плохо кончали! Несравненный следопыт каким-то чудом — возможно, по одному только дрожанию глазных яблок спрашиваемого — ухитрялся безошибочно угадать, что творится обман, немедленным следствием был парализующий клич «А-хи-и!», прыжок с кафедры, — сухая профессорская ручка выхватывала книгу, и тайное, ставшее явным, представало перед классом в виде листка шпартгалки, которым, словно платком, смоченным ядом, Ауэрбах с омерзением и горьким торжеством размахивал во все стороны. А если листок удавалось как-то скомкать, передать соседу, маленький профессор немедленно приказывал очистить весь ряд и поочередно вытаскивал из столов все, что там было; эти ревизии, как правило, оканчивались плачевно.

Конечно, мы пытались бороться, вводить новые методы — иногда можно было прочесть кусочек перевода по тексту, который под соответствующим углом держал товарищ, сидящий двумя рядами впереди, скрывая его от Ауэрбаха раскрытыми книжками, но неустоимый следопыт, мастер из мастеров, с легкостью пресекал и подобные начинания. Одно время мы замыслили на манер кинематографа проецировать на стену, в какой-нибудь угол, за спину профессора, надписи с помощью зеркала или сигнализировать азбукой Морзе, но так ничего и не получилось, потому что, несомненно, легче было в конце концов научиться переводу, чем сложному искусству телеграфной передачи.

Говоря о моих профессорах, я все явственнее и все с большим недовольством ощущаю, что попадаю в колею — одну из многих, проложенных поколениями более или менее добросовестных воспоминателей. О гимназии говорят, как о кукольном домике, как бы свысока, отстранившись, сквозь смех со слезинкой, изображая немного карикатурно — что и понятно — фигуры педагогов. Истертые фальшивые приемы лысеющего мемуариста! Особо коварные в своем простодушии, они превращают стиль в сладенькое питье для младенцев, обмазанную глазурью кашу, которая склеивает и парализует мысль. Говорить о гимназии свысока — это хуже, чем преступление, это ошибка. О гимназии следует писать, как об Абсолюте. Охраняемый стенами и мелом, он покоился в самом педагогическом коллективе — таков пер-

вый, приблизительный диагноз. Это не шутка. К преподавателям других школ — с ними мы встречались, например, в театре — мы относились, как правоверные к иноверцам, их алтарям и обрядам — никаких сомнений, просто какое-то конфузливое удивление: что же нашли в них ученики, откуда такая слепота? Каждого чужого учительишку я мог с первого взгляда разложить на составляющие — от калош и озабоченности служаки до пенсне — он был скучной суммой этих элементов — не более. А вот то, что у Моторного был большой живот, в расчет не шло, ибо он был абсолютен, — он и его записная книжка, и маленький, пышущий могуществом карандашик, и медленные движения пальцев, перелистывающих всегда таинственные странички; еще секунду назад они были пустыми, как мир перед сотворением, а в следующее мгновение ударял тихий гром. Ворожейки с первого ряда пытались вычитать по микроскопическому движению карандаша нашу неотвратимую судьбу. Мне частенько доводилось носить тетради после классных работ в учительскую. Там, наверно, был какой-нибудь стол, возможно, даже стулья, но этого я не помню. Что же касается кабинета самого директора, то не может быть и речи о каком-то его описании, и это неведение нельзя объяснить только причинами, которые меня туда приводили, — ну, например, когда я вместе с Л. разбил классный умывальник. Я так напирал на это обстоятельство потому, что ослеплял меня не страх, а Абсолют. Он там присутствовал наверняка. Я это чувствовал. Я искал его спустя много лет, когда в качестве литератора, которому предстояло встретиться с учениками, сидел в директорских кабинетах школ, попивая черный кофе и ожидая своего часа. Но я так и не нашел его, этот Абсолют, он испарился, оставив холодные письменные столы, кресла, изречения и соответствующие портреты на стенах, исчез, но лишь для меня. Присутствие его я неожиданно угадывал по лицам учеников, переступавших порог директорского кабинета. Они сразу впадали в легкий, так хорошо знакомый мне транс; я с первого взгляда узнавал это слабое одерсвенение, окостенение, блеск опасной эйфории в глазах, мгновенную атрофию всех чувств; они говорили что-то невпопад и усердно шаркали ножкой, но и я тоже так поступал. Боялись? И я, двенадцатилетний, боялся? Какое упрощение! Во время сентябрьского обстрела Львова немцами я бегал по Иезуитскому саду, разыскивая горячие еще шрапнелины, и ужасно трусил, потому что канонада продолжалась, и дело здесь не только в том, что я был глуп, но и в том, что опасность была

до смешного очевидна: снаряд мог убить. Директор не убивал, а порой даже не повышал голос. Вероятно, можно объявить все это чем-то вроде квадратуры круга: пока существует вера, ее приверженцы и не хотят и не могут о ней говорить, ее принимают без доказательств, так же, как, например, наличие уха или ноги; атеист же маскирует мистику давних воспоминаний пытливым критиканством либо снисходительным пренебрежением пробудившегося человека к пережитой во сне драме. А впрочем — пожалуйста, анализируйте, улыбайтесь сквозь слезы умиления, плетите радужную сеть воспоминаний; я останусь при своем. Мистика? Да, но особого рода, всеприсутствующий и одновременно тотально материализованный Абсолют; гимназические племена не суеверны, не верят в телепатию или психокинез; они овладели бы и тем и другим, если б мир это позволял. Никакой медиум так не восприимчив к чужой мысли или загробному дуновению, как были восприимчивы мы к капле внушенного знания, оказавшись у классной доски один на один с Абсолютом и раскаленной Сахарой невежества в голове. Что касается психокинеза, то нас было сорок человек, объединенных духом, и, если бы напряженная до предела мысль могла поколебать основы материи, кафедру, профессора и классный журнал поглотило бы чрево нижних этажей — быстрее, чем можно прочесть эту фразу. В последних фразах стиль у меня изменился, принял какой-то библейский оттенок, ибо, пожалуй, только так и надлежит говорить о подобных делах. Может быть, в стиле Гомера? Ведь древние греки подсмеивались над своими богами, знали их маленькие грешки и слабости. Впрочем, и ветхозаветные евреи, стоило Господу отвернуться, перешептывались по углам, прогуливали урок с тельцами, теряли веру в кафедру, то бишь, я хотел сказать, в ковчег Завета, — я думаю, их души были сродни гимназическим. Исаия или Иезекииль ухитрились бы изложить даже лекцию по алгебре пронумерованными стихами, каждая строчка которых была бы подобна молнии, пронизывающей до мозга костей; я на это не покушаюсь. Все, на что я способен, — разбавленная риторикой шутка, гротеск, а ведь *spiritus*, который *flat ubi vult*^{*}, пронизывал тогда высоким напряжением мел, судорожно сжимаемый онемевшими пальцами в ожидании Слова. Я преувеличиваю? Но я отнюдь не считал нашего математика божеством или директора — Зевсом; тем не менее многим из моих товарищей

^{*}Дух... дышит, где хочет (*лат.*).

до сих пор — столько лет и войн спустя — снится выпускной экзамен, ничуть не уступающий Страшному суду, хотя ни один Гойя не выразил его эсхатологии своей кистью. Неужели все эти свидетельства яви и упорных снов мы должны выразить словами «робость», «страх», «авторитет»? Я знаю одно: нас понуждали получать знания, мы отшатывались от них как от заразы, но по ходу дела впадали в экстремальные состояния, из наших настроенных в унисон мозгов извлекали самые высокие и самые низкие обертоны, на которых может вибрировать человек. Была, конечно, ветхозаветная робость перед неопалимой купиной, страх перед серным дождем двоек, доводилось нам пререкаться с профессорами на уроках, как это делал на горе Синай Моисей, неожиданно вызванный Иеговой, но эти переживания выходили за обычные границы, ставили нас один на один с Непроизносимым, этим божественным первоначалом, с кошмарным экстазом, который я, освобожденный уже столько лет назад, пытаюсь вызвать, словно призрака из небытия. Религии, которые мы исповедуем в ходе жизни, со временем сходят на нет, их храмы приходят в запустение, но сброшенные с пьедесталов предметы вчерашнего культа нельзя презирать или относиться к ним со снисходительной иронией. Скажу больше — в то время я этого не знал, но, не будь нас, профессора были бы ничем; из человеческого конгломерата учеников и учителей, оправленного в рамку классных губок, черных досок и изувеченных парт, постепенно рождалось то, что освящало и возвеличивало в наших глазах их очки, цепочки от часов, боты и карандашники; а когда все это развеялось и исчезло за стенами гимназии, словно за преодоленной магической чертой, осталось смутное ощущение — не выразимый словами избыток, который наши воспоминания тщетно пытаются пробудить к жизни, — что я, кроме учебных часов и сумасшествия перемен, познал некое состояние, сложившееся из отдельных, не всегда ясно различимых элементов, состояние, на фоне времени, может быть, и превратившееся в пустяк, — несколько нелепое, до незащитности смешное, как после пробуждения, — состояние первого посвящения в трагифарс бытия, поскольку я пережил восход, кульминацию и закат Могуществ, которые со временем оказались, как в каждой великой или малой истории, обыкновенными людьми. Молния, которую Зевс держал в учебнике древней истории, напоминала мне палку копченого сыра; я воспринимал ее без всяких иллюзий, как сегодня — аккуратно отточенный карандашик в руках у Моторного. Для человека практиче-

ского Олимп — просто гора, ему там нужны вибраты*, а не жертвенные животные; ничего, кроме стульев и столов, уже нет для меня в кабинетах гимназических директоров; я говорю это без сожаления, но и без улыбки, без сентиментальности, но и без снисходительности, ибо таков порядок вещей.

Окончив эту песнь, я возвращаюсь ко Львову тридцатых годов, к его тенистым пассажам, холмистым улицам, зеленой, как бы лесистой, Академической, к улице Легионов, упирающейся в Большой театр, к Мариацкой площади, особенно прекрасной по ночам, когда с крыш мчались светящиеся олени мыла Шихта, а по неоновым лесенкам прыгали шоколадки Сушара, Милька, Вельма и Биттера.

Примерно в 35-м году к нам пришло звуковое кино с Элом Джолсоном и его песенкой «Санни Бой», которую тут же подхватили дворовые певцы. Следует сказать, что в то время по дворам бродили бесчисленные фокусники, огнеглотатели, акробаты, певцы и музыканты, а также самые что ни на есть настоящие шарманщики; у некоторых были попугаи, вытаскивающие билетки с судьбой. Не знаю, действуют ли это скрытые в душе угрызения совести за позорно уничтоженную мною шарманку, но визгливую, нескладную, фальшивящую музыку всяких музыкальных ящиков и других не менее анахроничных инструментов я глубоко уважаю. Есть в ней сладостно-наивная серьезность, вера девятнадцатого века в совершенство колесиков и зубчатых валиков, механическая учтивость материи, подающей собственный голос, а не просто подражающей человеческому. Но гераклитова река поглотила все эти бренчащие сундуки. Был я также большим любителем цирковых представлений на ступенях черного хода; иногда свое искусство показывали целые семьи, бродящие со свернутым в рулон ковриком, на котором проделывались шедевры акробатики, и потрепанным фибровым чемоданчиком, в котором хранились факелы, гири, шпаги для глотания и другие не менее достопримечательные предметы. Пока глава семейства заглатывал шпагу или огонь, мамаша аккомпанировала на гармонике, а дети строились в зыбкие пирамиды или бегали по двору, собирая медяки, завернутые в бумажки, если их бросали из окна. Это было время немалой нужды, выгонявшей на улицу не только искусство, но и торговлю, и промышленность. Множество бродило торговцев гребешками и зеркальцами, сплошь и

* Туристские ботинки.

рядом слышался звон бродячих точильщиков и крик: «Та-а-а-зы паять!»; кругом сновала масса цыганок-гадалок и заурядных попрошайек, которые в качестве единственного товара могли предложить лишь собственное несчастье. Все эти люди в то время составляли в моих глазах естественное дополнение к городскому пейзажу, словно иначе и быть не могло.

Из фильмов звуковой эпохи я сравнительно неплохо помню фильмы о чудовищах: о Кинг-Конге, обезьяне высотой в пятиэтажный дом, которая, влюбившись в некую даму, вытаскивала ее из окна небоскреба и, держа в горсти, словно банан, снимала с нее одежды; о Мумии, Черной комнате, Вурдалаке; в «Мумии», когда она воскресала, Борис Карлофф, игравший заглавную роль, клал руку на плечо юному египтологу; ужасна была эта появляющаяся из могилы лапа, в которую специалисты превратили руку актера. Карлофф вообще был неповторим в ролях истлевших покойников («Франкенштейн», «Сын Франкенштейна»). Фильмы выходили как бы семьями: сразу после этого я видел «Сына Кинг-Конга»; будучи обезьяной порядочной, он благосклонно относился к людям, оказавшимся на вулканическом острове, а когда остров погрузился в океан, сгреб героев в кулак и до тех пор держал над водой, пока их не втащили на корабль, сам же, побулькав, сколько положено, пошел после столь благородного поступка ко дну.

У меня была ужасная привычка подталкивать отца локтем в бок во время ударных сцен в кино, на перечисленных фильмах отцу особенно доставалось. Запреты не действовали — это было сильнее меня. Чем страшнее фильм, тем сильнее он притягивал меня; почему мы, собственно, любим, когда нас пугают (лишь бы в меру), неизвестно, так что и от меня тоже трудно ждать объяснений.

Как каждый львовский ребенок, я, разумеется, время от времени ходил на Рацлавицкую панораму. Это было огромное удовольствие. Уже сам вход настраивал торжественно и необычно, поскольку вначале надо было пройти сквозь зону полумрака, а потом по лесенке подняться на помост, который у меня безоговорочно ассоциировался с гондолой очень большого, неподвижно висящего воздушного шара. С этого помоста панорама битвы казалась совершенно живой, причем множество споров вызывала проблема, в каком месте настоящий забор с насаженными на жерди горшками переходит в рисованный. В то время я не имел ничего против натуралистической школы в живописи. Даже в театр я любил

приходить очень рано, когда еще не был поднят огромный железный занавес работы Семирадского, на котором была намалевана масса забавных вещей. Вообще наш Большой театр со своей красной бархатной обивкой, множеством ярусов, канделябров, огней на них, курительной комнатой и last not least* буфетом, в котором отец покупал нам, то есть маме и мне, бутерброды с тонко нарезанной ветчиной, казался мне местом прямо-таки баснословно роскошным, comme il faut** в самом лучшем вкусе. Не помню, какие великие драматургические произведения я видел в театре, зато отлично помню, что бутерброд стоил целых пятьдесят грошей.

Цивилизовался я все быстрее, по мере своих возможностей, и, однако, где-то в глубине души, втайне, был, видимо, на стороне сил, с которыми цивилизация борется как умеет. Об этом свидетельствует моя реакция на суровые зимы или другие, более скоротечные катаклизмы. Климат Львова был скорее континентальный, что-либо подобное январской слякоти там было невозможно. В 1930, кажется, году при чистом, как голубой ледник, небе температура упала до минус 36 градусов; цены на топливо дико подскочили, за каждой повозкой, развозящей уголь, бежали согнувшиеся фигурки ребятишек, они подхватывали каждый упавший кусок; а когда мы с отцом вышли на небольшую прогулку — я, до невозможности закутанный в зимние войлоки и ушанку, — то по пути встретили несколько больших железных решеток, на которых иждивением города горел уголь. У них грелось по несколько замерзших бедолаг. Я, конечно, понимаю, это было возмутительно, но все вместе взятое казалось мне прекрасным, а еще более катастрофических и непостижимых радикальных перемен я ждал от повалившего вслед за этим густого снега. Как я мечтал о том, что снег засыплет весь наш дом, что останутся трамваи и автомобили, что с балкона третьего этажа можно будет выйти прямо на улицу, превратившуюся в ледяное ущелье! А когда — впрочем, очень редко — выключали электричество, я с восторгом помогал искать свечи, носил их зыбкое и неверное пламя по неожиданно потемневшей, таинственно расширившейся квартире и искренне жалел, когда тривиальные лампочки, вновь вспыхнув, разрушали эту сладостную феерию средневекового мрака.

* Последний по очереди, но не по значению (англ.).

** Здесь: шикарным, великосветским (фр.).

Я так много рассказывал о вещах, заполнявших мое детство, но по-прежнему чувствую, что я перед ними в долгу. «Грунтовой души» называю я для себя этот первый слой опыта, связанного с познанием мира, опыта, который порой невозможно заменить ничем иным. Эта «грунтовка» со временем приводит к тому, что можно быть двести раз материалистом и атеистом и все-таки чувствовать сладостное томление под ложечкой при звуках органной музыки или колокольного перезвона, но голос муэдзина, призывающего верных к молитве, воспринимать всего лишь как чуждую, хотя, возможно, и притягательную экзотику. Вероятно, это есть приобщение к таинствам определенного сектора культуры, более значимое, чем вера в ее всеобщность, ибо можно прекрасно знать, что на свете существуют различные кладбища, но «истинным» всегда будет одно, с могилами, утопающими в чабреце, и со склоненными, как под ветром, каменными и березовыми крестами. Но в то же время это результат самых тонких — поскольку они первые — контактов с продуктами вещной цивилизации. На самом деле, что поэтичного было в развозящих бочки с пивом длинных телегах Габербуша, запряженных массивными, лоснящимися от овса першеронами? Или в старых автомобилях, которые, карабкаясь на Кадетскую или Стрыйскую горы, надрывно выли, так что их отчаянное усилие не только ощущалось, но и взывало к помощи — напряжением всех душевных сил? Ненадежность этих рыдванов пробуждала постоянный интерес к ним, симпатию и даже, осмелюсь утверждать, активное милосердие, которого не ждут от нас современные автомобили, по воле конструкторов гордо скрывающие от пользователей масштабы своих усилий. Эти — сегодня уже древние — экипажи, именно благодаря своему несовершенству, были истинными индивидуальностями. Помню первое посвящение в автоискусство, когда за год до выпускных экзаменов я попал под начало неразговорчивого инструктора, выглядевшего так, словно он питался исключительно смазочным маслом. Предварительно я должен был научиться крутить заводную ручку; поскольку норовистые двигатели зловредно лягались, он для начала показал, как эту ручку следует держать, чтобы неожиданный рывок не поломал мне кисть. А когда я, бледный от возбуждения, уселся на пропахшие бензином кожаные подушки, сей муж, похожий в тот момент на капитана Немо, ведущего «Наутилус» по кошмарному «Арабскому туннелю», велел мне — на первой скорости и на полном газу — ехать прямо на кирпичный забор двора.

Обмирая от сладостного ужаса, я повиновался, и мы помчались на красную стену с головокружительной скоростью пешехода, однако в метре от стены мой наставник нажал на свой персональный тормоз. В те времена не только синхронизация оборотов считалась чем-то вроде нездорового распутства, придуманного заморскими фанфаронами, но вручную устанавливалось даже зажигание, сигнал подавался резиновой грушей, похожей на клизму, а чтобы надеть шины на обода, требовалась геркулесова сила. Впрочем, и домашние сферы жизни, не тронутые бациллой расслабляющей автоматизации, являли мне все богатство литургического действия. Взять хотя бы упоминавшийся катаклизм, именуемый Большой Стиркой; он был разбит на фазы — мыльно-вулканическое кипение с удушающим паром, катог-га прачек у котлов и, наконец, катание белья с деревянным грохотом, сотрясающим все тело дома. А марафонский бег на месте — на щетках, превращавших паркет в зеркало? А глажение в ауре всезаполняющего чада — гладильщица то и дело выбегала на балкон и рьяно размахивала утюгом, разжигая его угольный костер, так что искры летели из серповидных отверстий по бокам утюга, как из паровозного чрева. А периодические пришествия портнихи, стрекотавшей на швейной машине с утра до вечера! Я в это время уворовывал по возможности больше лоскутков — делать это легально мне было запрещено. А приготовление варений и мои бесконечные просьбы присвоить мне должность собирателя — большой деревянной ложкой — пенек с пузырчатомалиновой пучины! По мнению мамы, им полагалось быть на тарелке, а по моим хитроумным прикидкам — на измурзанной сладким физиономии. Не важно, что среди этих трудов было рациональным и полезным. Их примитивность поглощала, конечно, массу времени и сил — но из-за нее я сталкивался с непокоренными стихиями. Искры прожигали в белье черные дырки, джемы в чулане по своей воле засахаривались либо — наоборот — плесневели, и так я знакомился со злокозненностью полуприрученной Природы, которая кипела на противнях или буйствовала в печах. А если даже ничего катастрофического не происходило, все равно, кружа по преображенной квартире, я жил в интимном контакте с бедствиями, — как много требуется внимания, чтобы обуздывать процессы, бушующие в котлах и кастрюлях! Они казались непредсказуемыми, словно плавание по неведомым морям, и всего сокрытого в пожелтевших бабушкиных рецептах могущества, призываемого, чтобы

белье приобрело прелестный светло-голубой оттенок, плоды сохраняли форму, а бурлящий сироп заиграл цветом старого вина, — всего этого бабушкиного опыта иногда не хватало, ибо ничто не совершалось предначертанно и само собой, все только «могло получиться» и непременно было сопряжено с риском. Розы выдерживали в корзинах; потом маленькими ножичками обрезали белесоватый кончик каждого лепестка; так начинались предджемовые действия; затем — труд данаид, бесконечное снятие пенек и скорее магия, чем химия стерилизации крышек — и наконец гора трудов рождала и выстраивала на полках чулана стеклянную череду банок с этикетками, и чулан превращался в очень приличный музсй. Так что я прекрасно понимаю смесь презрения и отчаяния, заполняющую сердца бывших домработниц (где они теперь?) при виде того, что промышленность сравнилась с ними в изготовлении варений и джемов. Конечно, надо быть не в своем уме, чтобы желать возврата прежней каторги, но картины этих трудов, полных сомнений, творимых с упорством, достойным героических задач, срослись в моих воспоминаниях со школьными годами, и вместе с ними я утратил нечто терпкое и одновременно ценное, поскольку в те времена приходилось иметь дело с несовершенными вещами и именно несовершенство делало их объектом заботы, а разве не заботы порождают привязанность, подобную любви? В эти забытые ныне времена походы за город не были развлечением, они были не игровым усложнением жизни, а, пожалуй, перерывом в одной работе ради другой. Надо заметить, что взрослые не без огорчения смотрели на технические новшества и вспоминали собственную, кажется, более строгую и потому якобы более здоровую молодость — естественно, это пролетало мимо наших ушей.

Как и через детские болезни, я прошел через различные более или менее банальные мании века и эпохи. Вначале, ясное дело, я собирал «англассы», то есть изображения государственных флагов на шоколадках этого названия. Потом — миниатюрные фотографии далеких городов на шоколадках (опять же) Сушара, и насобирав их столько, что получил за это от фирмы стереоскоп для их рассматривания. Марки я собирал, как уже говорил, только для вида. Я как-то не любил совершенно бескорыстное собирательство. Вначале отец уговаривал меня откладывать грош к грошу и с этой целью купил мне глиняную свинку — ее я разбил, а другую выпотрошил при помощи ножа. Тогда он торжественно принес домой копилку сберегательной кассы. В нее можно

было засовывать монеты, но нельзя было вынуть — это могла сделать лишь сама касса — разумеется, только в теории, потому что, изучив механизм, я убедился, что, если очень упорно и долго трясти перевернутую вверх дном копилку, ее можно заставить выплюнуть одну-две злотувки*, — это в итоге привело к ее полному опустошению. Тогда отец махнул рукой на систему сбережений, к которой он так настойчиво пытался меня приучить. А ведь деньги были нужны мне не для шуток. Никто не раздавал даром ни провода для индукторов, ни станиоль для конденсаторов, ни лейденские банки, ни клей или резинки для рогаток. Другой предмет первой необходимости, халва, которой я потреблял много, тоже был недешев. Сверх того — картинки для вырезания. Удивительные вещи в то время вырезали и клеили; кроме обычных танков и самолетов делали, например, противогаз, который можно было даже носить — до тех пор, пока от слюны и вдохов-выдохов через дырчатое донышко бумажного поглотителя он не расклеивался. А воздушные шарик? Не знаю, почему сейчас уже нет настоящих, живых — в те годы я получал их, равно как и маленькие ветрячки из цветной бумаги, припиленные к лучинкам, обязательно воткнутым, словно в рукоять, в большую сырую картофелину, — их продавал один торговец перед университетом. (Сам университет в то время назывался Сеймом, я не знал, что это название осталось еще от австрийской эпохи, когда там размещался галицийский сейм.) Кроме ветряков продавец торговал воздушными шарами на пеньковых нитях — цветными и наполненными газом. Для меня в них было что-то необычное, притягательное и одновременно печальное. Нельзя было отпускать шарик, он улетал в небо, — я помню отчаяние детей, с которыми это приключалось в Иезуитском саду! Но и в квартире шарик не был особенно счастлив, иначе зачем бы ему сразу уплывать под потолок и оставаться там, глупо, упорно и как бы отчаянно тычась в него своей надутой головой; но хуже всего было на следующее утро, когда я заставал шарик умирающим. Сморщенный, постаревший за одну ночь, не имея сил даже на то, чтобы подпрыгнуть под потолок, он едва приподнимался над полом, меланхолично волоча за собой нитку. Я вспоминаю об этом сейчас потому, что удивительная нежность к шарикам осталась у меня на долгие годы, — я покупал их и скрывал это, чтобы меня не высмеяли. Якобы приделывал к ним гондолы, делал какие-то

* Монета или ассигнация в один злотый (польск.).

цеппелины, но это был самообман. Мне было необходимо их кратковременное присутствие, их однодневное существование, словно какое-то *shemento mori*^{*}, некая модель, делающая очевидной бренность любой святости. Иногда появлялись шарики на медных проволочках, надутые воздухом, но эти мертвые, эти отроду неживые подделки меня не интересовали, я брезгал ими, поскольку они притворялись тем, чем не были. Они боялись риска настоящей жизни и годились только для глупцов. Я не хотел иметь с ними ничего общего.

Однако было нечто, что я коллекционировал бескорыстно, долго, упорно: электрический и механический хлам. Я до сих пор со странной сентиментальностью отношусь ко всяким испорченным звонкам, будильникам, старым катушкам, телефонным микрофонам и вообще предметам, которые, будучи выбитыми из колеи своего существования, использованные, заброшенные, ютятся, где могут; местом их последнего прибежища, обителью, в которой им давалась последняя, пусть мизерная возможность сносного существования, была свалка за театром. Я ходил туда не раз, немного, пожалуй, напоминая добродеев, навещающего юдоль нужды, или любителя животных, украдкой подкармливающего самых истощенных собак и кошек. Я был филантропом по отношению к старым разрядникам, покупал испорченные магнето от автомобилей, какие-то гайки, никому ни на что не нужные коммутаторы, части непонятных приборов, сносил все это в дом, прятал в коробки от ботинок в шкафу, засовывал куда попало, даже за книжки на верхние полки (у меня уже была собственная библиотека), иногда вынимал их, стирал пыль — разумеется, пальцами, — подкручивал какой-нибудь рычажок, чтобы сделать им приятное, и опять заботливо прятал. Не знаю, почему я это делал. Конечно, если бы меня спросили, я немедленно бы ответил, что кое-что может пригодиться при реализации неких планов, но это была не вся и не чистая правда.

За Восточной ярмаркой раскинулось одно из притягательнейших для меня мест мира — луна-парк. Были там карусели, американские горы, Дворец духов, Бочка смеха и даже еще более интересные вещи. Например, кожаный идол, падающий от удара в скулу, а силомер тут же показывал в соответствующих единицах силу удара. Или блошинный цирк, в котором поднесвольные блохи таскали миниатюрные повозки и кареты. Или таинственные киоски и кабинеты; в

^{*} Помни о смерти (лат.).

одном, когда я вошел туда с отцом, раздевалась необычайно толстая женщина — не в порядке стриптиза, а чтобы показать богатство украшающей ее феноменальной татуировки. Во время демонстрации интереснейших сцен на животе отец заволновался, а когда она пошла дальше, силой вытащил меня за дверь, и я успел заметить только уголок какого-то оригинального пейзажа. Там был еще аттракцион, отгороженный от зрителей барьером. За барьером стояло подобие низкого и широкого стола, на котором лежали шоколадки, коробки с конфетами, солидные бонбоньерки, а задача была в том, чтобы бросать монеты на эти вещи. Та, на которой монета задерживалась, переходила в собственность счастливого игрока. Я вскоре заметил, что у самых крупных коробок шоколада были немного выпуклые крышки, оклеенные вдобавок очень скользким целлофаном, и монета всегда соскальзывала на стол. Однако зачем человеку дана сообразительность? Дома я устроил себе опытный полигон из разложенных на полу книг и пеналов и после непродолжительной тренировки научился бросать монету так, что, взлетая сначала вверх, она падала совершенно отвесно и аккуратно, без тенденции к боковому скольжению. Потом я спокойно отправился в луна-парк. Мне удалось выиграть большую бонбоньерку, но почти тут же подошел какой-то мужчина с солидными бицепсами и просипел мне на ухо: «Сматывайся, говнюк». Я выполнил просьбу, а дома оказалось, что содержимое бонбоньерки несъедобно: все было или намертво засахаренным, или окаменевшим от старости.

Как видно из этих маленьких историй, годы уходили, но одно из моих увлечений сопротивлялось воздействию времени. Я по-прежнему был влюблен в халву Пясецкого, а также Веделя (в маленьких блестящих коробочках); кроме того, я обнаружил неподалеку от Большого театра кондитерскую под названием «Югославия», в которой продавались самые чудесные во Львове восточные сладости: различные рахат-лукумы, казинаки, экзотическая нуга, хлебный квас и множество других отличнейших вещей; в то время я — *nota bene* — весил на несколько килограммов больше, чем теперь.

Но я говорил о Восточной ярмарке. Я любил ходить туда, когда она стояла пустой, безлюдной, — странными казались тогда огромные павильоны с грязными стеклами, и особенно нравилась мне площадка, огороженная самым длинным полукруглым павильоном, который дугой охватывал павильон Бачевского (тот, что был выложен бутылками ликеров). Стоя под башней Бачевского, можно было разбудить эхо,

спящее в пространстве; достаточно сильный хлопок в ладони повторялся четыре, пять, а то и шесть раз, как и любой другой звук. При этом проходило, казалось, невероятно много времени между слабеющими отголосками; звук все больше замирал, возвращался из все большей дали, со все большим трудом; я стоял там в холодные дни погожей осени, внимательно прислушиваясь к последним, умирающим голосам эха, в которых было что-то пронизывающее, таинственное и одновременно восхитительно жалостливое; я знал, конечно, на чем основывается механизм отражения звуковой волны, но знание не приуменьшало особой прелести этого места.

За три года до войны я там впервые столкнулся — как-то неожиданно и совсем близко — с гитлеровской Германией. На одном из павильонов появился красный флаг со свастикой, внутри было много неинтересных машин, а на специально отведенном месте красовались несколько не то игрушек, не то механических моделей танков, абсолютно точно скопированных с оригиналов; они были пятнистые, как ящерицы, с броней, с гусеницами, башнями и полным вооружением; на них красовались четко и точно вырисованные миниатюрные опознавательные знаки вермахта, которые немного позже я увидел в натуральную величину на броневых плитах тех же танков «Марк-IV»; тогда они были для меня всего лишь игрушками, хотя я уже кое-что знал о гитлеровской Германии, и в этих, правду говоря, привлекательных игрушках было для меня что-то от неясного предвидения будущего или даже предвестия угрозы, хотя предвестник благодаря своей малости и притворялся невинным. В этих прелестных игрушках было нечто отталкивающее, словно они не были только и просто собою, будто из них должно было что-то вылупиться, вырасти. Впрочем, справедливости ради добавлю, что я в этом не очень убежден; позднейшие события могли отбросить в прошлое этот предгрозовый свет и окрасить жутью события, абсолютно невинные.

6

Самое время поговорить о том, на что я лишь туманно намекнул, а именно о тех усердных, особых и прежде всего интимных занятиях, которым я предавался и в гимназии и дома. Сегодня, когда буквально ни на что не хватает времени, меня поражает, что я успевал делать так много (а я сейчас

покажу, что у меня действительно была масса трудоемкой работы). Видимо, время, этот элемент нашего бытия, особо растяжимо в молодости и при верном приложении сил может создавать внутри себя абсолютно неожиданные, как бы добавочные просторы, распухая, словно карманы моей школьной формы, в которых я, по традиции, носил больше, чем допускало прозаическое измерение их вместимости. А может, и пространство тоже по природе своей благоволит к детям? Это, пожалуй, невозможно; и, однако, кроме мотков шнура (для морских узлов, а также на всякий случай), горсти особо любимых шурупов, перочинного ножичка, резинок, именуемых «радерками» (они исчезали на глазах, словно я их заглатывал), латунной цепочки от ватерклозета, катушек, транспортира, небольшого циркуля (нужного не столько для геометрических построений, сколько для того, чтобы колоть сидевшего передо мной толстого З.), стеклянной пробирки от пилюль, наполненной превращенными в порошок спичечными головками (яд, а одновременно взрывчатое вещество), помутневшего от царапин увеличительного стекла, бумажника-подковки с вечно раздутыми боками, а также плодов, которыми в данном сезоне снабжала нас природа (желуди, каштаны), половины резинки от «уйди-уйди», непригодной, но тем не менее ценной, маленькой головоломки с передвигающимися цифрами, именуемой «пятнадцать», и еще одной, покрытой стеклышком, под которым катались три поросенка (это была игра на ловкость), я носил из дома в школу и из школы домой целую контору. Сам не знаю, как и когда мне в голову пришла весьма оригинальная мысль — удостоверения. Заслонившись обложкой раскрытой тетради, делая вид, будто записываю слова профессора, я изготовлял их на уроках, изготовлял в огромном количестве, не торопясь, исключительно для себя, никому не показывая ни краешка. Период ученичества я опускаю; разговор, стало быть, пойдет о мастерстве, достигнутом во втором и третьем классах. Прежде всего я вырезал из гладкой тетрадной бумаги небольшие листки, складывал их в книжечку и сшивал на особый манер и особым материалом. Цифры «560» на гимназической нашивке — номер гимназии, были сделаны из малюсеньких спиралек серебряной тонкой, как волос, проволоочки. Она и служила мне переплетной ниткой. Располагая запасом книжечек различного формата — что весьма существенно, — я делал для них обложки из самых высококачественных материалов — бристольского картона, тисненой бумаги, а некоторые специальные бланки перепле-

тал в картон высшей марки от обложек общих тетрадей. Услышав звонок на перемену, я прятал все это в ранец, а на следующем уроке начинал методичное, аккуратное заполнение пустых страничек. Я пользовался чернилами, тушью, цветными химическими карандашами и монетами, с помощью которых в нужных местах оттискивал печати. Что это были за удостоверения? Самые разнообразные: дающие, например, определенные, более или менее ограниченные, территориальные права; я вписывал печатным шрифтом звания, титулы, специальные полномочия и привилегии; на продолговатых бланках были различные виды чековых книжек и облигаций, равноценных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо ассигновок на драгоценные камни. Изготавливал паспорта правителей, подтверждал легитимность императоров и монархов, придавал им сановников, канцлеров, из которых каждый мог по первому требованию предъявить документы, удостоверяющие его личность; в поте лица рисовал гербы, выписывал чрезвычайные пропуска, оговаривал полномочия; а поскольку я располагал массой времени, удостоверение явило мне скрывающуюся в нем пучину. Я стал приносить в школу старые марки, переделывал их на штампы, снабжал документы печатями, складывающимися в целую иерархию, начиная от маленьких треугольных и четырехугольных и кончая самыми тайными, идеально круглыми, с символическим знаком в центре, один вид которого мог повергнуть на колени кого угодно. Войдя во вкус этой кропотливой и канительной работы, я начал выписывать разрешения на получение бриллиантов размером в человеческую голову; воистину я зашел далеко — снабжал удостоверения приложениями, приложения — дополнениями, проникая в сферу все более могущественной власти, туда, где действовали только секретные личные удостоверения, — шифрованные, с системой паролей и символов, требующей особого кода; для некоторых документов были созданы специальные книжки, в которых раскрывалось их истинное, потрясающей силы значение; без этих книжечек указанные документы представляли собою всего лишь тетрадки нумерованных страничек, покрытых абсолютно непонятной каллиграфией. В то время я где-то прочел рассказ, который произвел на меня совершенно потрясающее впечатление. Это была история экспедиции к белому пятну в сердце Африки. Участники экспедиции, преодолев горы и джунгли, натолкнулись на неизвестное племя дикарей, которые знали некое страшное

слово, произносимое исключительно *in extremis*^{*}, ибо каждый, кто его слышал, превращался в кучку студня примерно метровой высоты. Эти кучки были в книжке описаны столь же подробно, сколь и гениально простой способ, благодаря которому дикари сами не превращались в желе, — способ действительно простой, ибо, выкрикивая трансмутирующее слово, они плотно затыкали себе уши. Я запомнил ужасное слово и не сразу осмелился его произнести памятуя о судьбе некоего ученого-маловера, который, легкомысленно подсмеиваясь над сообщением последнего уцелевшего участника экспедиции, произнес это слово с трагическими — желеобразными — последствиями. Слово это, способное превратить человека в кисель, было *эмэлен*.

Спешу пояснить, что в то время я не верил в сказки, хотя читал их охотно. Однако историю с «эмэленом» я не считал сказкой. Оглядываясь назад, я подумываю — не была ли она фантастической юмореской; если так, то намерения автора до меня не дошли. У меня осталось неясное и мрачное ощущение, что слова, приводящие к последствиям, в какой-то степени подобным описанному, все-таки могут существовать: ведь некоторые звуки или регулярно повторяющиеся световые отблески могут погрузить человека в гипнотический транс, так почему же особое их сочетание не могло быть еще более эффективным, — не из-за своей магичности, а в связи с тем, что звуковые волны, действуя на ухо... ну, и так далее.

«Эмэлен» требовалось как-то перевести в сферу удостоверенческого бытия, где я уже превратился в преуспевающего специалиста. Это слово стало импульсом к созданию паролей. Учился я неплохо, поэтому никто не заглядывал в мой ранец, в мои книжки, тетради — и к счастью, потому что из них можно было вытрясти множество заполненных малюсеньких книжечек и пустых бланков, а также экспериментальных экземпляров, на которых я, стремясь усилить значимость документов, пытался — увы, безуспешно — оттискивать водяные знаки. Этот порыв к реалистической достоверности так и не удался, несмотря на бесчисленные попытки.

Должен сказать, что, хотя я и создавал королевство удостоверенческого всемогущества, это понятие как таковое в моем творчестве не проявлялось. Прислушиваясь к здравому шепоту бюрократической трансцендентности, я не доверял бесконечности и пользовался обычно системой сантиметр-грамм-секунда, то есть точно сообщал, на что

^{*} В крайнем случае (*лат.*).

может рассчитывать предъявитель в конкретных единицах меры и веса. Что же касается книжечек с бланками, то каждый бланк имел порядковый номер, номер строго определенной серии, необходимые подписи и печати, придающие ему окончательную правомочность. Печати я ставил в самом конце работы, чтобы не тратить их зря на бумаги, запятнанные какой-либо, пусть даже самой незначительной, ошибкой или неточностью. Листки были, разумеется, перфорированы вдоль корешка, чтобы их можно было вырывать из книжки для предъявления. Эту перфорацию после ряда опытов я делал небольшим зубчатым колесиком от будильника, которое постоянно носил в пенале в школу. В том же пенале помещалось хорошее лезвие от отцовской бритвы; им я аккуратно обрезаю краешки страничек; причем от постоянного употребления лезвий во время переплетных работ крышка моего стола покрылась густой сеткой порезов, что каким-то чудом сходило мне с рук.

Никому из товарищей я не показывал эти неоспоримые доказательства неограниченной власти над сундуками рубинов и судьбами заморских королей. Товарищам это могло показаться шуточками, а для меня было необыкновенно значительным делом. Я чувствовал, что меня могут высмеять, а это было недопустимо. Вероятно, я бессознательно чувствовал смешанный со страхом стыд творца за человека, требующего, чтобы ему доступно объяснили смысл произведения искусства и цель, с которой автор его создавал. Ответив, что только для игры, я бы солгал — хоть частично, ибо речь шла о чем-то более серьезном. О чем? Не знаю этого и по сей день, но, скорей всего, я был прав. Ныне сетуют, что искусство повсюду стало летать невысоко, что его разъедает проказа безыдейности, что оно обречено на мелкие преходящие эксперименты и погоню за сиюминутной модой. Особенно это чувствуется, когда мы обращаемся к произведениям прошлого, сохраняющим свое могущество, к соборам Флоренции и Сиены, мистериям средневекового китайского театра, почерневшим, закопченным негритянским божкам, когда покидаем выставки искусства каменного века или Сикстинскую капеллу и задаем тревожный вопрос: что, собственно, произошло с духом, почему он утратил способность к вулканически свободному и одновременно покоряющему самовыражению, содержащему в себе силу как бы естественной необходимости и требующему приятия так же, как деревья, облака, тела зверей и людей, — то есть безоговорочно и окончательно. Нам отвечают, что-де человек

искусства перестал быть послушным орудием, проводником природных грозových сил, которые он сосредоточивал в себе, но которые не создавал, утверждают, что искусству приносит смерть безграничная свобода выбора, сознание условности правил искусства, ибо тот, кто знает, что можно написать книгу любым способом и на любую тему, не напишет ни одной значительной книги. Тот, кто понял, что на полотне можно изобразить все, что душе угодно и как угодно, найдет в разверзшейся перед ним свободе могилу творческих возможностей.

Взгляните на фотографии космонавтов, выходящих из своего корабля на прогулку по бесконечному пространству. До чего же не приспособлено человеческое тело к бесконечности, каким беспомощным становится оно там, где каждое движение, не ограниченное земным притяжением, стенами и потолками, обнажает свою бессмысленность! Не случайно они принимают положение плода в лоне матери, сгибая спину, колени и прижимая руки, не случайно спасательный фал так напоминает пуповину, связующую плод с маткой. Энергичными, решительными, целеустремленными мы можем быть только под гнетом гравитации, в пределах ее власти наше тело обретает свой смысл и форму, проявляет себя каждым суставом и нервом — идеально к ней приспособленное и потому прекрасное. Такую же, как бы естественную, необходимость, чувство, что мы общаемся с единственно возможным решением проблемы, пробуждает в нас каждое крупное произведение искусства. Господь Микеланджело с мощной курчавой бородой, в складчатых одеждах, с босыми ногами, испещренными жилами, родился не из свободного воображения мастера. Художник должен был подчиниться абсолютной букве предписаний, берущих истоки в Книгах Откровения. На месте Микеланджело современный художник, душа которого размякла от скептицизма, этого испарения знаний, на каждом шагу сталкивался бы с парадоксами, дилеммами, нонсенсами там, где мастер Возрождения не испытывал никаких сомнений. На ногах Бога короткие ногти. Если Бог подобен телом человеку, ногти должны расти. Коль он существует вечно, они должны были бы разрастись и превратиться в роговые змеи, устремляющиеся с нагих пальцев ко всем галактикам одновременно, заполнить небо потоками извивающейся, перепутавшейся роговины. Это возможно? Так надо рисовать? А если сказать себе, что это не так, то возникает проблема божественного педикюра. Ногти могут быть короткими или потому, что их

подрезают, или благодаря вмешательству чуда — ведь тот, кто может останавливать солнца, может приостановить и рост ногтей. Оба выхода недопустимы: первый отдает маникюрным кабинетом, второй — неприятным привкусом атеизма, и тот и другой — богохульством. Ногти должны быть короткими без всяких вопросов и разбирательств.

Здесь мы сталкиваемся со спасительным ограничением, позволившим возникнуть большому искусству. Это ограничение актом веры пресекает потенциально беспредельный поток вопросов. Естественно, строгая дисциплина, навязанная литургией, должна стать внутренней потребностью, превратиться в добровольно надеваемую огненную власяницу души, стать границей, принимаемой с горячим сердцем, а не охраняемой полицией. Существуют ограничения мистические и полицейские; и если эти вторые не приводят к возникновению великих произведений, то лишь потому, что полицейский контролирует других; он не является вдохновенным служителем собственного искусства, обожествляющим служебные инструкции. Поэтому запрет должен идти выше, грань должна быть дана в откровении и принята пылким и не вопрошающим ни о каких полномочиях или обоснованиях сердцем, должна быть бесспорной, как бесспорны листья, звезды, песок под ногами. Поэтому вера должна воплотиться в совершенно негибкую, абсолютную реальность. И лишь так дух — связанный, покорный, но пытающийся, с неизменным послушанием, выразить мир и себя, располагая столь малым пространством для изобретательности, в узкой полосе свободы создает великие произведения. Это относится ко всем формам искусства, которыми руководит смертельная серьезность, формам, исключаящим остраение, иронию, насмешку — разве можно смеяться над гравием, птичьим крылом, заходом луны и солнца? Танец, например, являет собою лишь кажущуюся свободу — танцор только играет в нее, подчиняясь на деле диктату партитуры, которая задает каждое его заранее обдуманное движение, а индивидуальное самовыражение появляется только в щелочках, оставленных для интерпретации.

Конечно, такие возвышенные ограничения можно найти и вне религии, но тогда им приходится придавать сакральный характер и верить, что они неизбежны, а не надуманны. Сознание того, что можно делать по-иному, отказ от жесткой необходимости в пользу океана освоенных техник, стилей, приемов, методов сковывает мысль и руки свободой выбора. Художник, как космонавт в невесомости, беспомощно

извивается, не ощущая спасительного сопротивления среды, своих пределов.

Как же близко в ранней, бюрократической фазе моего творчества я подошел к тем сакральным родникам, из которых бьет искусство! За исходный пункт — более того, за непоколебимую основу — я принял Удостоверение, так же как Микеланджело принимал Рай, Престолы и Серафимов. Чудовищно ошибся бы тот, кто решил, что я тогда свободно фантазировал. Я был добровольным рабом канцелярской литургии, чиновником Сотворения; толстощекий школяр превратился в переписчика декалога*, принявшего обличье правил делопроизводства, в бюрократа, регламентирующего в административном вдохновении Служебную Милость. Сегодня, в печальной фазе сознательного творчества, я, вероятно, сразу бы довел и суть и тему до абсурда, придумывая разрешения на движение галактик, а геологическим эпохам выдавая аттестаты зрелости. Но тогда, как Микеланджело о ногтях, я не спрашивал, почему соответствующие учреждения присвоили себе право выдавать новорожденным свидетельства, удостоверяющие их личность. В тогдашнем безгрешном состоянии мне это даже в голову не приходило, я бездумно приравнивал Удостоверение к Абсолюту и тем самым оказался на пороге искусства. Оберегая буквы и печати, соблюдая порядок нумерации бланков и полномочий, следя за аккуратностью подписей, придающих документам законную силу, я действовал в предустановленной гармонии с удостоверенческой ортодоксией, которой абсолютно чужды любые сомнения и колебания, так же как и понятия, относящиеся к бесконечности.

Первые мои шаги были коротенькими, робкими, но делались в нужном направлении. Я никогда не превышал своих правомочий, хотя не знал — а может быть, именно потому, что не знал, — кто есть кто и Чьей рукою являюсь я сам. Поэтому вначале я не проставлял имена в готовые бумаги — удостоверения личностей королей и канцлеров. Это не входило в мои обязанности, я оставлял пустые места для фотографий, имен и подписей будущих владельцев. Документы же, выписываемые на предъявителя, держал в специальном, застегивающемся на две пуговицы отделении ранца, чтобы они не попали в посторонние руки. В финансовых вопросах я был особо осмотрителен, стремясь в зародыше пресечь самую возможность злоупотреблений или мошенни-

* Десять заповедей Моисея.

чества. Я уточнял суммы, количество, платежную силу монетарных средств; от некоего отвлеченного «золота вообще» перешел к кирпичикам, плиткам, слиткам (ассигнаты представляли собою нечто вроде описания слитка золота, который я принял за эталон, используя знания, полученные на уроках физики). Образцом мне служил платино-иридиевый эталон метра, хранящийся в Севре под Парижем. Я определял даже размеры нуггетов — золотых самородков, сведения о которых почерпнул из романов Мая и Лондона, — используемых для расплаты и хранимых в кожаных мешках, перевязанных лассо, разрубленным на куски. Получив же, благодаря «Чудесам природы» профессора Выробка, необходимые сведения, я выписывал разрешения на выдачу рубинов, халцедонов, шпинелей, хризопразов, опалов, агатов, бриллиантов, оговаривая на контрольных талонах блеск, огранку, количество в штуках; изготовлял я также сертификаты к специальным наградам — золотым (из стопроцентного золота) цепочкам; при этом я сталкивался и с довольно сложными проблемами. Так, например, удобно ли в официальном порядке награждать, скажем, платиновым сервисом? Чиновничий инстинкт подсказал мне, что так делать не полагается, что вообще такие слова, как «дар», «одарить», в делопроизводстве не могут иметь места; иное дело «выдать», «выплатить», «выделить». Золотую цепь все же можно носить на шее, а кто станет есть с платинового сервиса? Вещь, совершенно не подобающая в сфере чисто канцелярского мышления. О, мной руководила не какая-нибудь там алчность, когда я рассыпал дожди (пересчитанные, однако, до капли) жемчугов, целые лавины изумрудов, нет — просто финансовые проблемы были одним из неизбежных элементов создаваемого мною Бытия. Изготовлял я и особые пропуска, тоже складывающиеся в вертикальную иерархию и дающие право прохода через Внешние ворота, Средние, а затем через Первые двери, Вторые, Третьи, — опять же со специальными купончиками, отрываемыми стражей. Следующие, уходящие все глубже внутрь проходы и тщательно охраняемые пассажи, вначале открыто называемые на обыденном канцелярском языке, а потом обозначаемые шифрованными намеками, постепенно, но неотвратимо поднимали из небытия контур Дома Домов, Замок невообразимо Высокий, с его запретной, непроизносимой, даже в приступе наивысшей смелости не названной Тайной Центра, которой можно было бы, пройдя все двери, пороги и посты, предъявить свое удостоверение!

Легко об этом говорить сегодня, но как далеко от этого Центра я находился тогда, создавая с муравьиным трудолюбием и кропотливостью минускулы и маюскулы*, — добросовестный, смиренный писарь, почти что средневековый каллиграф, инкунабулы которого неведомо как и когда пересекают грань, отделяющую книжку от Книги, поделку писаря от произведения писателя, копииста от художника!

Обретая свободу формы, употребляя даже красную тушь для расширения шкалы служебных ступеней, я предусмотрительно — видимо, инстинктивно — был осторожен с их содержанием. Я не разбрасывал направо и налево королевства, более того, я не допускал и мысли, чтобы возвысить кого-то чрезмерно. Что могло быть проще — выписать какую-нибудь универсальную охранную грамоту, которая открывала бы все, то есть абсолютно все двери дворцовых стен и подземных сокровищниц? Так вот — пусть это будет мне похвалой, — я так и не создал подобного документа. Правда, бывали моменты, когда в эгоистической заботе о собственных ощущениях я об этом подумывал. Мне вспоминается книжечка-удостоверение, специально изготовленная для инспектирующего посланника с чрезвычайными полномочиями. Каждый очередной лист, раскрашенный пастелью иного цвета, расширял круг его правомочий. Я живо представлял себе, как он предъявляет самым низшим чинам первый листок Удостоверения-Пропуска, такой невзрачный, с двумя треугольничками печатей, и ключники с некоторым промедлением начинают отодвигать перед ним засовы первых дверей; а вот он, слегка отвернувшись, вырывает второй листок — зеленый; увидев его, замирают офицеры; дальше он бросает на стол охраны третий листок и четвертый — белоснежный, с кровавой круглой Главной печатью, и высшие офицеры вытягиваются в струнку, сдерживая дрожь в коленях, а он проходит мимо отдающих честь стражей к Высоким дверям, и тут уж сам генерал-ключник**, еще секунду назад — воплощение неприступности, в мундире, источающем золотое сияние, взопревший от служебного рвения, обеими руками настезь распахивает перед ним двери, так что лязг открываемого замка сливается с бриллиантовым звоном генеральских орденов, он замирает, этот монументальный старец, и блеск его добытой в бою

* М и н у с к у л а — древнегреческое или латинское письмо, состоящее из букв строчного написания. М а ю с к у л а — то же, но состоящее из букв прописного написания.

** Придворная должность в старой Польше.

шпаги салютует не особе, переступающей порог, а невзрачному корешку книжечки пропусков, которую Посланник небрежно держит в руке. Разве не щекотала нервы мысль об этом восхитительном аукционе Пропусков, об этом все возрастающем, по-гурмански отмеряемом могуществе абсолютно законных полномочий? Никакой батальный пейзаж из Сенкевича, никакой гром орудий не мог сравниться с тихим шелестом Купонов Могущества, падающих на серый стол среди серых стен Замка! Какая же магия скрывалась в Главной печати, которой никто — даже я сам! — не в состоянии был понять и разгадать, поскольку в центре ее стоял Знак, Тайный Сам в Себе, то есть Шифр Без Ключа, прямо свидетельствующий, что предъявитель сего является Посланцем Неназываемого!

Уж не был ли он Инспектором, ниспосланным Творцом, экзекутором самого Господа Бога? Этого я не знаю. Он прибывал ниоткуда и — выполнив свою задачу — опять должен был уйти в никуда.

Действительно ли я представлял себе все это так подробно и изощренно? И да, и нет, ибо в принципе, выписывая Удостоверения, я сам оказывался в их власти, между мною и ими возникала своеобразная разность потенциалов, которая уже сама по себе определяла дальнейшее направление событий, мне оставалось только домыслить его. Говоря буквально, я не придумывал никаких историй, не конструировал фабулы иначе как в виде туманных предположений и намеков, они всплывали сами, заполняя пустоты между отдельными документами. Возникающие одна вслед за другой бумаги были лишь узловыми пунктами запутанной служебной драмы, источником сил, приводящих в движение — как солнце приводит в движение планеты — троны, стражу и шеренги придворных. Поэтому, даже против своего желания, я был обязан присутствовать — своими удостоверениями — в любой момент и в любом месте, где события складывались критически, где без воздействия соответствующих бумаг вещи, государство, мир могли бы завять, замереть, замкнуться в себе; удостоверения не были цезурами на месте не названных событий, но их создателями. Обратите внимание, сколь современный характер носило это мое гимназическое открытие. Во-первых, не ведая о законах искусства, я добивался выразительности, не описывая ничего в лоб — ни одной личности или сцены; все, что я воздвигал в самоусложняющейся драме канцелярского существования, было производной, иносказанием, додумыванием, продолже-

нием; из отдельных удостоверений, пропусков, доверенностей можно и нужно было делать выводы о сущностях, незримо стоящих за ними, так же как по ветвистой тени делают вывод о солнце, дереве, законах оптики, неба и земли. Затем, в некотором подобии с антироманом второй половины XX века, я все внимание концентрировал — как невольный предтеча — на предметах. Я в своем аскетическом универсализме пошел дальше антиромана, которого я вообще не писал — поскольку в крайнем самоограничении выдавал лишь формуляры *in blanco*! Делая это, я отказывался не только от старосветских описаний природного или городского фона, психологии действующих лиц, от традиционных ходов и перипетий, излишних усложнений фабулы, но и ото всей уже анахроничной литературной словесности, начиная с фраз и кончая определениями и наречиями; я не использовал никаких — ни старых, ни новых — схем, не цитировал «золотых мыслей», долбил печатями, рейсфедером, зубчатым колесиком всегда и только в самую суть, ибо благодаря столь всестороннему самоограничению и умалчиванию я доказал, что весь мир можно выразить молчанием. Полет моей канцелярской мысли приводил к тому, что творимые мною бумаги не удавалось расположить вдоль определенной оси времени, ибо некоторые последовательности (например, династические) шли по многим линиям — то по параллельным, то по спиральям, и еще что-то складывалось в многомерные архипелаги. На уроках латыни или математики, когда под давящим прессом дисциплины я не мог действовать и вынужден был притворяться, будто внимательно слушаю учителя, я мысленно перечитывал выданные в тот день удостоверения, наслаждаясь калейдоскопическими композициями, которые они создавали — уложенные в перемежающиеся ряды, вдоль которых воображение могло понастроить неисчислимое множество вариантов конкретного развития событий.

Не путался ли я в безбрежье этой канцелярщины? Ведь я не вел никаких учетных картотек и действовал по сиюминутной подсказке гения формалистики. Мне были неведомы принятые путеводители по бумажным лабиринтам, и вопрос лишь в том, блуждал ли я с надлежащим размахом. Описки — обычное канцелярское дело, мелкие ошибки — всего лишь банальность, клякса на фотографии Бытия, местное повреждение его верного, а стало быть, идеально несамостоятельного изображения. Лишь массивное здание ошибок, по-настоящему сложное, может стать прибежищем духа, местопребыва-

нием самостоятельных значений, строением, все менее зависящим от оригиналов, версией явлений, высвобожденной из-под натуралистического диктата, — одним словом, новой, противостоящей заданной Редакцией Бытия. Кульминацией ошибки является, естественно, философская система, то есть комплекс ценностей, ради которых стоит жить и умирать. Вот она — дорога ввысь, на которой недоразумение становится откровением, ходульная ложь — эпосом, насилие над логикой — поэзией, а упорствование в ошибке — величайшей верностью, на которую способен человек.

Надеюсь, эти условия я выполнил в своем гимназическом бумаготворчестве. Я выписывал бумаги, составленные настолько глупо, что их глупость перерастала в коварство (например, когда дворцовым заговорщикам я выдавал удостоверения и полномочия на цареубийство); они так противоречили логике, что — теряя любой общепринятый смысл — обрели смысл лирический, запутывая династические последовательности, перетасовывая застенки, сокровищницы, штабы и инструкции. Я высвобождал свое детище из физических оков времени и пространства, одними документами противоречил другим, сталкивал лбами параграфы, смешивал во времени коронации, рождения, казни и так, доводя ситуацию до *Crimen Laese Legitimationis*^{*}, создавал возможности для эсхатологического толкования службных драм. Конечно, эти противоречия были всего лишь делом руки, штампующей бумаги, она орудовала в упоительном трансе, но благожелательный предполагаемый получатель мог бы мысленно упорядочить этот балаган и, более того, придать ему новый, уже дьявольский смысл — мол, все это не случайные ляпсусы, а сейсмограммы тайных битв, знаки того, что и внутри самих Контор нет единомыслия и согласия, что и там скрытно противоборствуют жестокие антагонистические силы, кипят предательские страсти, что одни Конторы втихую подкапываются под другие, что даже самые высокие из них не владеют безраздельно Главной печатью и кругами подчиненных им низших Контор, но кружат вокруг Печати и вокруг подчиненных, погрязших в путанице и застарелых взаимоподкопах, и эту молчаливую круговерть канцелярских битв можно уподобить — по ее безысходности и необратимости — извечному вращению миров. А поскольку я не просто блуждал наобум, но еще постоянно повторялся, творя свои документы, постольку моему творчеству сопутствовали два

* Преступление против законного введения во власть (лат.).

чрезвычайно современных духа — Неясность пополам со Скукой. Однако почему — спросит кто-нибудь — я смею требовать благосклонности к бумагомаранию толстого гимназиста, ведь и у шутки должен быть предел? Отвечаю: уж слишком стыдливо мы умалчиваем об абсолютной необходимости особого качества: человек должен быть привержен к искусству. И нас воспитывали, и мы воспитываем в наших подопечных убеждение, будто творения искусства мало чем отличаются от лежащих в полутьме граблей. Каждый, кто наступит на них, получает такой удар по лбу, что у него из глаз искры летят снопами; именно так должно обстоять дело и с великими произведениями: человека, приобщившегося к ним, оглушает — охватывает — неожиданный восторг! Эта благородная ложь столь распространена, что когда несколько лет спустя после описанных здесь событий мне пришлось бежать от гестапо из «погоревшей» квартиры, бросив там тетрадь с собственной каллиграфией — стихами, то к сожалению о невосполнимой потере, понесенной национальной культурой, примешивалась твердая уверенность в эстетическом шоке, который должны были испытать мои преследователи, если они владели польским языком. Прошло еще некоторое время, я стал поумнее и краснел при одном воспоминании об этом, — но потому лишь, что понял, сколь чудовищно графоманскими были мои сонеты и октавы, — то есть я стыдился их отвратительного качества, все еще не понимая, что качество поэзии не имело в той обстановке абсолютно никакого значения. Совершенно иначе выглядел бы наш мир, если бы можно было воздействовать на гестаповские души хотя бы самой высокой поэзией. Покорить кого-либо искусством невозможно — оно пленяет нас, если мы соглашаемся быть плененными. Тогда мы стимулируем друг друга, припадаем к чьим-то коленям и соревнуемся в восторгах, то есть в мошенничестве и коллективном самообмане. На это нам открыл глаза еще Гомбрович*, но здесь есть и еще кое-что, причем более важное, а именно читательский талант. Прочсть «Золушку» как добродетельную сказку сумеет и ребенок, но разве можно без утонченности и без Фрейда усмотреть в ней пляску извращений, придуманную садистом для мазохистов? Вопрос о том, содержится ли в сказке закамуфлированная непристойность, свидетельствует сегодня лишь о наивности вопрошающего. Он же, конечно, станет утверждать, что детектив из

* Витольд Гомбрович (1904 — 1969) — известный польский писатель.

«Резинок» Роб-Грийе* — типичный портах, ибо таков буквальный смысл произведения, а несвязность поступков Гамлета проистекает из того, что Шекспир решил объединить слишком много элементов предыдущих версий этой драмы. Вместо ответа современный теоретик укажет пальцем на небо, на котором — фактически — звезды рассыпаны без малейшей системы, а между тем все знают, что они складываются в зодиакальные фигуры богов, животных и людей. В принципе, чтобы возвысить, облагородить любое произведение или, наоборот, счесть его банальным и плоским, достаточно при чтении установить на сцене своей души такой фон, такую декорацию, которую мы сочтем наиболее подходящей. Это не инертный фон, а система отсчета, в которой странно переломленный пруттик может оказаться древнеяпонской стилизацией ветви, а выщербленный камень — скульптурой, олицетворяющей дух нашего разрывающегося на части времени. Стало быть, по одному и тому же поводу можно кричать: «ошибка!», «несообразность!» или наоборот: «гениальный диссонанс!», «бездна, показанная путем умышленного разрыва логических связей!». Не каждому удастся поместить произведение на свой, совершенно нсвый фон, этим занимаются специалисты, которые частенько тоже не знают, что к чему; отсюда споры, распри и совещания, а также все возрастающие трудности. Ибо авторы, стремясь превратить плоды своих усилий в семантические калейдоскопы, начинают изъясняться все менее внятно, раскрывая свои замыслы даже не полунамеками, а прямо-таки четвертьнамеками. Конечно, коллеги и советы старейшин еще не слишком благосклонны к творческим начинаниям гимназистов, но коль уж мы знаем механизм явлений, то можем по крайней мере на равных правах с другими надеяться на благожелательное отношение, и не только в собственных интересах, ибо мы подозреваем, что в глубине пыльных библиотек хранится уйма неоткрытых Канетти и Музилей, множество произведений, которые никогда не покажут своего великолепия, если мы не поможем им указанным образом.

Но всего этого я в двенадцать лет не знал. Старательно ограничивая полномочия, даже монаршие, оставаясь безымянным рабочим муравьем, я растворялся в созданном мною творении, не превышал меры, не допускал инфляции Бумаж и благодаря скромности, соблюдаемой столь абсолютно,

* Ален Роб-Грийе (1922) — французский писатель-«вещист», один из создателей течения «нового романа».

объединял сакральное с реалистическим. Сакральное, ибо я инстинктивно предположил, что «Вначале было Удостоверение»; реалистическое, поскольку эти действия нашептывал мне сам *Genius Temporis**. Если же где-то в отдалении и светило мне Всеудостоверение Личности, Наисветлейший Документ, тяжелый от опечатывающих его красных восковых солнц, весь в гирляндах многоцветных* шнуров, — зачаток *Summis Auspiciis*** Хаоса, в котором параграфы и картотеки витали еще в состоянии, свободном от Служебной Лестницы (той, что в другом контексте превратилась в Лестницу на небо***), я отбрасывал от себя эти искушения, эти святотатственные мечты, это цепкое желание вломиться в Суть, словно предчувствуя тщетность самого намерения, попытки, заранее обреченной на провал, — и вот я с бесконечным и мелочным упорством создавал по ходу своих занятий то пачку авизо на сто мешков крупнозернистого золотого песка на предъявителя (но только такого, который одновременно предъявит Полномочие Пятой Степени), то книжечку Палача II Категории, спитую серебряной проволокой, объединяя на своей парте Бытие с Долженствованием; отгородившись стенкой из учебников, я возвысил мертвую и бесплодную по природе бюрократическую деятельность до уровня артистизма. Я вознесся на крыльях Удостоверений над серой юдолью и уже в свободном полете одним росчерком пера и прикосновением зубчатого колесика от будильника вырывал из небытия необъятные миры. Итак, в неполные тринадцать лет я создал, скрестив литературу с графикой (и то и другое необходимо для создания документов), новое направление, а именно удостоверизм, то есть сакрально-бюрократическое творчество с подразумеваемым двуединым метафизическим патроном, — святой Петр и Полицейский в одном лице — ибо удостоверения, как известно, существуют затем, чтобы их предъявлять.

Я, разумеется, не верил в собственное детище — в конце концов я всего лишь играл на уроках истории, географии и даже — о позор! — польского языка... и однако... Никогда никому я не показывал даже краешка своих бумаг и поверг себя в такое состояние духа, что, найди я, предположим, на улице мандат на предъявителя, доверяющий выкопать сокровища из-под Песчаной горы, я, вероятно, обрадовался

* Дух времени (лат.).

** Здесь: Верховного Владычества (лат.).

*** Подразумевается эпизод из Библии (Быт. 28, 12).

бы, но не удивился... Потому что — мне очень трудно это выразить — все отчасти было так, будто я, зная, что не изготавливаю Истинных документов, чувствовал тем не менее, что какой-то отсвет Истины на них падает, что это не абсолютно бессмысленно, хотя одновременно и таково, — но только понимаемое буквалистски: ведь я знал, что за мои ассигнаты никто не даст не то что горсти рубинов, но и ломаного гроша; однако если я не создавал звонких ценностей, то, может, творил какие-нибудь другие. Какие? Ценности в себе, как соборы Орвьето и Сиены, которые атеист — чтобы с ними примириться — пытается принизить, говоря, что они, мол, всего-навсего очень большие строения, прочеркнутые попеременно белым и черным, как пижама в полоску... Разумеется, в тысячу раз легче было бы высмеять и уничтожить мой собор, который был менее материален, чем те, и не потому, что строился из недолговечных материалов, а потому, что те соборы действительно существуют, а мой был их условным подобием. Или, как сказал бы современный кибернетик, был аналоговой многокомпонентной моделью отношений, которые можно обнаружить в мире. Но до таких вещей я не мог додуматься и не мог бы понять их. Чувствуя кожей, что никто не поймет того, чего я сам не могу выразить, что в этом увидят лишь мою инфантильность, я молчал, оберегая Тайну. Увы, произведения того периода погибли, даже самые ценные — например, такие, как «Дскрет о гимнастике» с серией редких Малых печатей, оттиснутых двухгрошовой монетой, снабженный для внушительности кусочком желтого шнура, оторванным на большой перемене от ботинка; или же напечатанное Красным Шрифтом разрешение брать в рабство всех, кого захочется, с приложенной к нему книжкой паролей, относящихся по сложности к Тайному ключу I класса (о шифрах я знал в основном благодаря «Приключениям храброго солдата Швейка»). Мой труд погиб, но путь остался — как весьма многообещающее, четко указанное направление.

Всю мою обширную канцелярию я приводил в движение исключительно в гимназии (жаль было тратить на это время дома — впрочем, у меня не хватило бы терпения специально возиться с бумажками, а в классе я был вынужден отсиживать), и эти интенсивные занятия не отнимали домашнего времени. В то время я очень много читал. Помню «Остров Мудрецов» Буйно-Арктовой — что-то вроде предшественника современной science fiction; я так и не удосужился переложить этот пухлый роман на удостоверения.

После всего рассказанного, думаю, станет понятно, что, будучи столь занятым, а потому рассеянным мальчишкой, я никогда не мог, исполняя функции казначея в школьном самоуправлении, сбалансировать кассу, и отцу приходилось добавлять мне один, а то и два злотых в месяц. Я не растрачивал общественные средства, просто грошовые взносы как-то перепутались в моем сознании с мешками золота и сундуками бриллиантов, которыми я мысленно ворочал, и возникающая в результате кутерьма приводила к дефициту в реальном бюджете.

Строго придерживаясь, как истинный бюрократ, служебных часов, дома я даже не смотрел на бумаги с удостоверениями; в перерывах между репетитором, французкой и ужином я занимался творчеством совершенно иного рода: изобретал. В школе, поглощенный канцелярщиной, я не вспоминал об изобретениях, дома же, словно переведя железнодорожную стрелку, все свои мысли направлял в другую сторону; это было совсем просто. Я, пожалуй, не могу сказать, которое из двух занятий считал более важным, — я напоминал мужчину, ухитряющегося отлично поделить себя между двумя любовницами; и тут и там я был искренен, отдавался с легкостью и без остатка, поскольку все было подробно распланировано, или, вернее, все складывалось прекрасно. Возвращаясь домой, я знал, куда мне надо пойти, чтобы купить провод, клей, парафин, шурупы, наждачную бумагу; причем, если отцовской дотации не хватало, я или уговаривал щедрого по натуре дядю, брата мамы, — он был врачом, как и отец, — или занимался махинациями. У дяди, которого я звал по имени, словно товарища, иногда бывали приступы расточительности, которые моим родителям не нравились. Несколько раз я получал от него пятизлотувку с Пилсудским, которую не клал в портмоне-подковку, а на всякий случай вообще не выпускал из кулака. Помню, как, идя по городу с монетой во вспотевшей руке, я чувствовал себя замаскированным Гарун аль-Рашидом, и мой взгляд, наталкивающийся на витрины магазинов, в доли секунды разменивал серебряный металл на неисчислимое множество выставленных вещей, однако ни одну из них я, зачерствав внутренне в неожиданной скупости миллионщика, пока не собирался облагодетельствовать, то есть купить. Как правило, я вкладывал свои сбережения в изобретения, которые, совсем как у настоящих изобретателей, ухитрялись любую сумму поглотить без остатка — и без результата. В ипостаси творческого чиновника я сохранял спокойствие, поскольку

канцелярствовать с вдохновением невозможно, техника же горела во мне жарким, святым пламенем. Я приносил ей кровавые жертвы в виде вечно порезанных пальцев, облепленных пластырями, — упорный при поражениях, с разбитым сердцем и обломанными ногтями, но все время ищущий, обуреваемый новыми замыслами, новыми надеждами. Я долго конструировал электрический моторчик, внешне похожий на старую паровую машину Уатта с балансиром; вместо цилиндра с поршнем там была электрическая катушка — соленоид, магнитное поле которого втягивало внутрь железный сердечник. Специальный прерыватель посылал в обмотку катушки импульсы тока. Это было, как оказалось, изобретение вторичное, ибо подобные моторы уже существовали, а точнее — уже перестали существовать, как непрактичные, непроизводительные и малооборотные. Но это, разумеется, не имеет значения. В то время я, пожалуй, первый раз в жизни проявил упорство и продержался очень долго, переделывая эту модель десятки раз, пока она наконец не заработала. Когда моторчик — неуклюжий, собранный из обрезков жести, выпрошенных у жестянщика (он содержал небольшую мастерскую в нашем доме), — наконец заработал, я уселся среди пережженных батареек, путаницы проводов, масляных пятен, отходов, а также молотков и плоскогубцев (на них едва успела обсохнуть кровь совсем недавно уничтоженных игрушек) и наблюдал за скрежещущими, медленными, не совсем равномерными оборотами, за дзигжениями кривошипа, смотрел на маленькие искорки в прерывателе — грязный, измученный и торжествующий. Если потом я и хвастался перед домашними, демонстрируя им мотор, то вел себя так, как любой мальчишка на моем месте; однако самой торжественной была минута, когда исполнилось, когда был завершен творческий акт и мне уже нечего было делать, — мотор работал, спотыкаясь, пожалуй, до темноты, а я только смотрел. Это было, если я не ошибаюсь, совершенно особое удовольствие, не требующее никаких похвал извне или свидетелей. Мне не был нужен никто, поскольку — свершилось! Ни Уатт, ни Стефенсон не могли испытать более бурных ощущений. Ясное дело, этим я ограничиться не мог. Я жаждал новых свершений. Очень долго и терпеливо я занимался электролизом, подсыпая в воду самые различные вещества, отнюдь не рассчитывая, что в один прекрасный момент на электродах появится золото. Во-первых, я знал, что этого случиться не может; во-вторых, мне было нужно не золото. Речь шла о создании субстанции,

вообще до тех пор не существовавшей; я соскребал с электродов коричневые, красные, серые порошки и старательно прятал их в баночки. В конце концов я убедился в недостаточности своих познаний. Я начал строить электрические аппараты систематично, избрав для руководства толстую немецкую книгу, напечатанную готическим шрифтом, «*Elektrotechnisches Experimentierbuch*». Правда, я уже два года изучал в гимназии немецкий, однако на этом языке не мог прочесть, то есть понять, ни одной фразы. Поэтому я начал разгадывать немецкий текст с помощью словаря, немного напоминая Шампольона, разгадывавшего египетские иероглифы; это был сизифов труд. Как бы там ни было, он принес результаты, поскольку в конце концов я проштудировал книгу от корки до корки и построил машину Уимшерста и индуктор Румкорфа: по непонятным причинам я обожал мощные электрические разряды. Я был очень неряшлив по натуре, страшно нетерпелив, небрежен, и потому очень странно, что я сумел подвигнуться на самоограничение, на мулоподобное повторение попыток, когда десятки их не приносили никаких результатов. Дважды повторялся многомесячный, кровавый труд, кровавый буквально, потому что пальцы были у меня — неловкого манипулятора — изрезаны и перевязаны грязными бинтами; я наматывал на бумажные, собственноручно склеенные катушки несколько километров обмотки, каждый слой заливал парафином, перекладывал восковой; еще хуже дело шло с электростатической машиной, потому что я не мог найти нужного материала для дисков. Вначале я пробовал использовать старые граммофонные пластинки диаметром чуть ли не шестьдесят сантиметров — они употреблялись в немом кино, запись на них была только с одной стороны, — но они оказались непригодными. Наконец я достал пластины от очень старой и уже не работающей машины Уимшерста, лобзиком вырезал из них пластины поменьше, срезая позеленевший от старости эбонит, обточил их на электромоторчике, — весь в клубах зловонного дыма и черной пыли, залезавшей в глаза, волосы, скрежетавшей на зубах, забивавшейся под ногти. В конце концов машина была построена. Забавно, что вместе с тем у меня была масса неприятностей на уроках труда, поскольку все, что я там делал, получалось немного кривым, неустойчивым, неаккуратным, и мне постоянно ставили плохие отметки.

Потом я построил еще трансформатор Теслы и упивался неземным светом вакуумных трубок Гейслера в поле высокого

напряжения. В то время я облюбовал магазин учебных пособий в пассаже Хаусманна. Помню, небольшая, но гораздо более совершенная, чем моя, машина Уимшерста стояла там 90 злотых — цена костюма. Много лет спустя, на первом курсе, первые деньги, которые я получил в моей жизни, — стипендию в Медицинском институте (это был 1940 год) — я полностью истратил на покупку трубок Гейслера. Моя машина Уимшерста тогда еще действовала. Погибла она только после начала войны в 41-м году.

Занимался я и теорией. То есть была у меня кипа тетрадей, в которых я записывал изобретения, прилагая к ним «технические эскизы». Некоторые помню. Был там приборчик для разрезания зерен вареной кукурузы, чтобы при еде кожица оставалась на кочерыжке; самолет в форме огромного параболоида, который должен был летать над облаками, где собираемые вогнутым зеркалом солнечные лучи кипятили воду в резервуарах, и пар приводил в движение турбины пропеллеров; велосипед без педалей, на котором надо было ездить «галопируя», как на коне, — седло гоняло в полой трубке рамы, словно поршень в цилиндре, зубчатую рейку, а она вращала ведущее колесо — источником движения, таким образом, был вес сидящего, который должен был подниматься и приседать, как всадник на стремянах. В другом велосипеде привод был на переднее колесо — руль раскачивался как маятник и был соединен рычагами с эксцентриком наподобие паровозного. Был там автомобиль, в двигателе которого роль свечей зажигания играли... кремни от зажигалки. Была и электромагнитная пушка — я даже построил небольшую модель, потом оказалось, что уже задолго до меня кто-то придумал нечто подобное. Весло с гребком в форме зонтика, который под воздействием сопротивления воды попеременно раскрывался и закрывался. Самым значительным моим изобретением, несомненно, была планетарная передача, изобретение столь же вторичное, как многие другие, с тем отличием, что мне не было знакомо даже его настоящее название, но конструкция эта по крайней мере была реальной; такие работают и по сей день. Не обошлось, конечно, и без моделей перпетуум мобиле, которых я навывдумывал больше десятка. Были у меня тетрадки, отданные исключительно конструкциям автомобилей, — например, в одном проекте небольшие трехцилиндровые двигатели, напоминающие авиационные, были размещены в барабанах колес; вариант этой идеи был использован на практике, только вместо двигателей внутреннего сгорания

внутри колес вмонтировали электромоторы. Помню я еще двухпоршневые двигатели и даже что-то вроде ракеты, которую должны были приводить в движение ритмично повторяющиеся в камере сгорания взрывы газов; я сразу же вспомнил об этом изобретении, прочтя в 44-м или 45-м году об устройстве немецкого «оружия возмездия» — ракеты Фау-1. Конечно, это не значит, что я изобрел Фау-1 до немцев, просто принцип действия был несколько схож.

Кроме того, я проектировал различные боевые машины: одноместный танк — что-то вроде стального плоского гроба на гусеницах, с автоматическим пулеметом и мотоциклетным мотором, танк-снаряд, танк, перемещающийся по принципу винта, а не благодаря поступательному движению гусениц (есть уже такие тракторы), самолеты, взлетающие вертикально благодаря изменению расположения двигателей, тянущих то вертикально, то горизонтально, — и множество иных, больших и маленьких машин, приборов, заполнявших толстые черные тетради, а также тетрадки поменьше, обклеенные мраморной бумагой. Рисовал я тщательно и, разумеется, с фантастическими табличками, в которых фигурировали придуманные цифровые данные и другие важные технические подробности.

Одновременно росла моя библиотека, все более обогащаясь научно-популярными книгами, разными там «Чудесами природы», «Тайнами Вселенной», а параллельно заполнялись и другие тетради, в которых я проектировал уже не машины, а животных; выполняя — *per proci* — роль заместителя эволюции, ее главного конструктора, я конструировал различных жутких хищников, производных от известных мне бронтозавров или диплодоков, с роговыми пластинами, пилообразными зубами, рогами; некоторое — довольно продолжительное — время я пытался придумать животное, которое вместо ног имело бы колеса; причем я был настолько добросовестен, что начал с изображения скелета, чтобы представить себе, как воплотить в мускулах и костях элементы, заимствованные у локомотива.

Уделяя так много места описанию моих конструкторских занятий в младшей гимназии, рассказывая об открытии давно открытых Америк и о непомерном труде, которого требовали эти — столь тяжкие — занятия, я не забываю о том, что это была всего лишь игра. Трудности я создавал себе сам, подчас слишком оптимистично соизмеряя силы с намерениями, ибо случались у меня и поражения; например, когда я пытался повторить Эдисона и построить фонограф. Я перепробовал все

доступные виды иголок, мембран, скалок для теста, все виды воска, парафина, станиоля, я до хрипоты надрывался над трубами моих фонографов, но мне так и не удалось добиться, чтобы хоть один из них оплатил мне за труды хоть слабеньким скрипом увековеченного голоса. Но, повторяю, это была игра; я знал об этом тогда и даже с некоторыми оговорками соглашаюсь сегодня с собой, двенадцатилетним, в такой оценке. Эпоха разрушения, уничтожения предметов, попадавших мне в руки, не переросла в следующую — конструирования — неожиданно и резко. Их связывал переходный период — как мне кажется теперь, более интересный феномен, чем два других, — период мнимых работ. Так, например, долгое время — до великих технических начинаний — я строил радиоаппараты, передающие и приемные станции, которые не могли, да и не должны были, работать. Я их собирал из катушек от ниток, перегоревших ламп и конденсаторов, толстой медной проволоки, приспособливал к ним как можно больше солидных на вид кнопок и рукояток, монтировал на дощечках, в жестяных коробочках из-под чая, и, если вид этих натуралистических копий настоящих аппаратов не устраивал меня, не нравился, я, инстинктивно желая подчеркнуть их значительность, втыкал в этот хитрый винегрет то какую-нибудь блестящую железку, то пружинку, выкрученную для этой цели из будильника, насыщая свое детище до тех пор, пока неведомое чувство не подсказывало мне, что уже довольно, что вид псевдоаппарата соответствует моим требованиям.

Повторяю еще раз: я играл. А меж тем конструкции, удивительно похожие на мои тогдашние, можно сегодня найти на выставках скульптуры. Неужели и в этом я был предтечей? Мысль слишком уж лестная; я утверждаюсь в этом, вспоминая недавнее приключение на Выставке абстрактной скульптуры. Центральную часть экспозиции занимали идолообразные и кренделевато-дырявые антиторсы и антискульптуры, на стенах висели коллажи (почему бы не назвать их попросту наклейками?) различного формата и происхождения. Я прошел мимо натянутых на станки абсолютно девственных полотен, лишь в двух-трех точках подпертых с обратной стороны колышками, геометрически надламывающими простынную белизну; миновал опрaвленные в рамы грязно-серо-зеленовато-дерюжные конгломераты, в которых внимательный глаз мог только вблизи обнаружить генеалогию материала и отождествить отдельные элементы с остатками каких-то сеток под слоем мастики или клея, с

металлическими стружками, пружинными пластинами. В некий момент я остановился перед очередным экспонатом. Он был полон спокойствия, словно его создатель уже обуздал свои прежние порывы умиротворяющей сдержанностью; это произведение было забрано в подобие прямоугольной рамы из листового железа; примерно в двух пятых от нижнего края, то есть в пропорции золотого сечения, его пересекала неряшливо прикрепленная планка, что-то вроде засова, а над этой основной линией простиралось пространство старой, чуть ли не заплесневевшей жести с тремя почти симметричными отверстиями посередине; пробитые насквозь, они зияли пустотой, и каждое было окружено чем-то вроде темно-сизого ободка. Воистину ослепшие звезды, дыры, оставшиеся на месте выбитых солнц! Я отметил и совершенную технику, которую применил художник, чтобы так естественно опылить отверстия бледнеющим к краю ореолом, постепенно уходящей в небытие пепельностью; то искусство, с каким он прокалил поверхность металла, ибо она была оплавлена и местами шершаво-бугорчата от воздействия пламени; я начал искать табличку с названием произведения и именем автора, но ее не оказалось; я поморгал и сообразил, что произошло недоразумение. Выставка размещалась в большом подвале с красивым сводчатым потолком, экспонаты висели на неоштукатуренных стенах, и, как обычно в подобном месте, тут и там в кирпичные ниши были вмазаны дверцы дымоходов. Я стоял как раз перед такой заслонкой, проржавевшей и с разболтанным засовом. Эстетическое зарево, бьющее в мои алчные глаза из этой вьюшки, тут же сникло и угасло, а сама она, разоблаченная, сразу поскромнев, превратилась в банальную железяку каминного дымохода; я же, оконфуженный, быстро ушел, чтобы вновь погрузиться в соответствующее состояние уже перед подлинным произведением искусства, то есть подстроить дух к требованиям абстрактного творчества.

Размышляя над этим приключением, я решил, что оно не бросает на меня тень; если кто-то и виновен в моей ошибке, то не я. И не такие вещи случались; помню, как один истинный, хотя, честно признаю, несколько близорукий ценитель, на другой выставке, где весьма обильно были представлены каменно-серые и гипсово-белые глыбы и комья, вдруг энергично направился к выходу, туда, где на постаменте покоилось небольшое тело вращения с правильным плетением на поверхности, притягивающим глаз цветом и формой. На полпути он замер, вздрогнул и медленно

отвернулся — тело оказалось творением пекаря, самой обычной халой, которую кассирша положила на первое попавшееся место, отправившись за чаем. Так что же все-таки происходит с искусством, если оно допускает столь юмористические подмены? Или поставщиком модных произведений могут быть равно трубочист, пекарь и играющий ребенок? Все это не так просто. Когда-то художник, живописец, скульптор изготавливали предметы общественно необходимые; это были орудия — правда, своеобразные: они помогали умершим переноситься в вечность, закланиям — свершаться, молитвам — обретать литургическую полноту, бесплодной женщине — зачать, герою — получить сакральное отличие. Эстетическая сторона этих орудий была их составляющей, усиливавшей действие, вспомогательной стороной, но никогда — доминантой, обособленной самоцелью. Поэтому художник имел четко обозначенное место на ступенях религиозной или государственной метафизики, он был инженером, реализующим тему, а не ее автором; тематическое авторство приписывалось Откровению, Абсолюту, Трансцендентности; отсюда, как следствие, барьеры суровых ограничений, о которых так много сказано, отсюда и тавтологичность тогдашнего искусства, которое в общем-то не говорит ничего нового, поскольку всегда повторяет на память отлично известные идеи: Распятие, Благовещение, Успение, акт размножения, выраженный в приапических символах, борьбу Аримана с Ормуздом*. Художник, неповторимый гений, контрабандой протаскивал — если можно так выразиться — свою индивидуальность в глубины полотен, скульптур и алтарей, и сила его таланта проявлялась в прямой зависимости от его изобретательности. Вопреки невольному подчинению литургическим рецептам, она могла в узкой полосе дозволенного, то есть не до конца кодифицированного, проявить свое присутствие — в принципе неисчислимыми способами. Он мог чуть нарушить окаменелые догмы, расшатать их, мог заставить их звучать более или менее явно в унисон с реальностью своего времени, мог, наоборот, проявить свое «я» в произведении с помощью системы диссонансов, едва ощутимых противоречий, в интерпретации которых мы можем сегодня решительно ошибаться, ибо то, что в фигурах раннеготических святых мы воспринимаем как преднамеренно наивное, даже юмористическое, отнюдь не обязательно было таким для живших в то

* Начала зла и добра в иранской мифологии.

время людей. Правда, я охотно бы понаблюдал за минами многих из этих творцов, когда они оказывались один на один с возникающим образом. Эта контрабанда личности в область метафизической догматики представляется мне увлекательнейшим делом, ибо во многих шедеврах я ощущаю активное присутствие творца, обнаруживаю это как своеобразную фальшь, как, может быть, одним подсознанием отмеренные микроскопические дозы богохульства, ядовитая щепотка которого, как это ни парадоксально, еще больше усиливает официальную сакральность темы. Но здесь не место для такого обсуждения. Эпоха миновала. Дом рабства* рухнул под ударами технической цивилизации, и художник оказался ужасающе свободным. Вместо тематики Десяти заповедей — бесконечность мира, вместо откровения — свободный поиск, вместо наказания — выбор. Возникают эволюционные ряды: нагая натура, огрубленная нагая натура, абстракция тела в камне, геометрический намек на него, фрагмент, обрубок, руина торса или головы; наконец некто, копаясь в высохшем русле реки, выбирает из миллиарда голышей один из-за его особой формы и несет на выставку. Обработка не обязательна, достаточно отбора. Таким образом, словно бы неумышленно, от случайности в роли Всеведущего Провидения переходят к случайности как статистической теории, слепому клокотанию сил, обрабатывающих камни в речном потоке, от Сознательного создателя — к созиданию наобум, от Необходимости к Случайности.

Не только художник страдает от избытка свободы; аудитория не в лучшем положении. Начинается своеобразная игра между художественными заявками и их одобрением или отвержением. Над мировой шахматной доской этих игр возвышается отгоняемый экзорцизмами знатоков и специалистов мучительно надоевший демон всеобщей неуверенности. Известный художник выставляет на обозрение шесть абсолютно черных полотен; что это — скверная острога, вызов или дозволенный ход? Холодильник без дверцы, на велосипедных колесах, раскрашенный в полоску, — это что, можно? Стул, пробитый насквозь тремя ножками, — и так можно? Но что значат подобные вопросы; раз это выставляют, раз есть зрители, и покупатели, и критики-апологеты, стало быть, через десяток-другой лет все это будет изложено в учебниках по истории искусства как уже пройденный, неизбежный этап. Однако неуверенность продолжает суще-

* Здесь употреблен библейский оборот (Исх. 20. 2).

ствовать, поэтому произведения не называют по имени, а каждое из них снабжают запасным выходом интерпретационного комментария: это, говорят нам, поиски, новые опыты, эксперименты. Будущий историк искусства двадцатого века сможет не без удовольствия отметить, что наш, для него уже архаический, период не создавал почти никаких произведений, а лишь объяснения к ним.

Между тем художник, окруженный в жизни полезными предметами, превращает их в поле эксплуатации. Все создано для чего-то: для приема радиопередач, для бритья, для переезда с места на место, для помола муки или выпечки хлеба. Можно, вероятно, прикатить на выставку жернов с мельницы, но мизерность собственного вклада в этот творческий акт удручающе очевидна. Необходимо что-то сделать с предметом, отнять у него функцию, и в остатке, как бы само собой, проявится его выразительность и эстетичность. Однако же появится «машина для ничего». Я тоже такие создавал. Не как предтеча, а как ребенок. Тогда как современный художник пытается стать ребенком в самом сердце цивилизации, в ребенке — отыскать спасительные ограничения. Ибо только он, ребенок, не ведает сомнений, ничего не знает о потоке условностей, только его игры еще остаются смертельно серьезными. Но найдет ли ищущий искомое, скрывшись в ребенке от бездны чрезмерных свобод? Художник жаждет вернуться к праначалу, туда, где труд был одновременно и игрой, и творческим актом, где труд являлся самовознаграждением, бессмысленным, самоцельным, — да, все так и было, когда я взялся за изготовление псевдоаппаратов. Я строил их потому, что они были мне необходимы, а необходимы они были мне для того, чтобы я мог их строить. Это была петля, столь же замкнутая, сколь и идеальная, — петля веры, которая гласит, что является Всем, — но этот упоительный *circulus vitiosus** был естествен, поскольку мне было двенадцать лет. Я делал то, что умел, не преследуя никаких реальных целей, все время оставаясь в пределах возможностей двенадцатилетки, и это отнюдь не было самоограничением, как раз наоборот: это была моя наивысшая свобода, моя кульминация гимназической поры. И если свобода зауженная, замкнутая, то только самою природой, самым возрастом; в противоположность художнику я вовсе не старался быть ребенком; ищущий ограничений в ребенке, в нем не уместается. Это правда, что слова: *Credo, quia*

* Порочный круг (лат.).

*absurdum est** извлекла из уст человека спокойная безусловность веры. И правда, что внутри цивилизации, которая представляет собою пирамиду служащих человеку машин, нет ничего абсурдней машины, которая ни ему, ни кому-либо другому не служит. Впрочем, абсурдность — это лишь точка, в которой сходятся противоположные пути. Скверно, если булку, речной голыш и дверцу от печки можно перепутать с произведениями искусства. Скверно, если увеличенную микрофотографию кристаллического шлифа, либо крашенный препарат живой ткани, либо увиденную через электронный микроскоп колонию вирусов, опыленную ионами серебра, можно выставить на равных среди ташистских** абстрактных полотен. Это вовсе не значит, что мне не нравятся абстрактные художественные композиции; наоборот, они бывают прелестны, но еще более оригинальные можно отыскать среди лабораторных препаратов или в лесу — белесая живая вязь плесени, вытканная на темных участках коры. Несчастье современного искусства отнюдь не в том, что оно надуманно; напротив: мертвая и живая природа кишит подобными «абстрактными композициями», они знакомы микробиологу, геологу, математику, они содержатся в псевдоморфозах старых диабазов, в микроструктуре амёб, в путанице жилок на листьях, в облаках, в форме выветрившихся скал-одиноц; мастерами и предшественниками в этой области являются великие ваятели — разрушители и созидатели одновременно, Энтропия и Энтальпия; а кто не хочет с ними соревноваться (поняв — это, кстати, понимают немногие, — что в конце концов проиграет), а ищет спасения в возвращении к сладостной дикости пещер, прячется в ребенке, в примитиве, — заблуждается, ибо неандерталец и ребенок действовали и раньше его и оригинальнее.

Но, собственно, кто дал мне право все это говорить? Отвечаю сразу: никто. Со мной можно не соглашаться, тем более что я не в состоянии предложить какую-либо новую неволю, какое-либо спасительное ограничение, но тогда придется, увы, признать, что я все-таки был великим предтечей, да и не только я, но и все мои друзья даже из начальной школы, которые, болтая прутиком в луже с каплей пролитого бензина, творили моментальные, но изумительные цветовые композиции. Мы были великими, хоть и сопливы-

* Верую, ибо абсурдно (лат.).

** Т а ш и з м — одно из направлений абстракционизма.

ми, примитивистами, а мои псевдорadioаппараты по сравнению с «мобилиями» были тем же, чем был Босх по сравнению с сюрреалистами. А какие композиции получались у нас еще раньше из манной каши со шпинатом, размазанной по тарелке! Впрочем, если возможен возврат к прошлому, а наимоднейшим течением окажется турпизм*, то я позволю себе напомнить, теперь уже с гордостью, свою запрудоненную шарманку. Разве это увечное творение, возникшее путем заполнения часового музыкального механизма низменной субстанцией телесного происхождения, разве результат подобного столкновения ньютоновской мысли (часовая точность движения небес — это ее исходная идея) с элементом анимального разложения, одним словом, разве скрещение Идеи с Экскрементом не является истинным феноменом предвосхищения, более того, провидчества, которое возглашает катастрофальный нигилизм? Будучи четырех лет от роду, я решительно отверг детерминистскую необходимость мертвой мелодийки актом воистину экзистенциального выбора, открыто высказавшись за животную свободу, уже самым фактом расстегивания штанишек давая пощечину тысячелетиям трудолюбивых цивилизаций! К тому же надо учесть полнейшую ненадобность, а стало быть, абсолютное бескорыстие этого спонтанного творческого акта...

Подобным рассуждениям нет предела. В них есть не только насмешка, поскольку все на свете — конвенция, уговор, в том числе и язык, и алфавит, и законы синтаксиса и грамматики; и если поле дозволенного раздвинуть достаточно широко, если добиться хоть какого-то согласия, чего-то вроде временного одобрения значений, приписываемых произвольному объекту, то с помощью произвольного же знака, символа, предмета, образа можно выразить абсолютно все. Можно будет выставлять отрубленные пальцы, стулья, у которых вместо спинки — грудная клетка и позвоночник человеческого скелета, а вместо деревянных ножек — берцовые кости; огромную бетонную луковицу — в качестве отсылки к эпистемологической симптоматике космической материи, то есть к ее многослойности и одновременно к бесконечности познания, которое представляют собою как бы отделение очередных слоев; ибо исчезает общественный договор, ранее однозначный в своем отношении к истинам Откровения, и нет уже такой свалки, с помощью которой при соответствующем освещении и в должной обстановке нельзя

* От *tygro* — пачкать, делать безобразным (*лат.*).

было бы выразить какую-то подразумеваемую темную, может быть, даже означающую осуждение цивилизации идею. Возникло затемнение, затмение, информационная нечеткость, в которой собственным тоскливым светом мерцают кое-где единичные произведения, но все это пробуждает иррациональную тоску по освобождению от слишком произвольной свободы; впрочем, мы давно ушли в сторону, ибо разговор идет не о заботах взрослых людей, а о ребенке. Поэтому вернемся к нему по возможности непредубежденными.

7

Пора заканчивать рассказ, а целые толпы неназванных предметов домашнего обихода, улицы, по которым я ходил, настойчиво требуют, чтобы о них упомянули хотя бы раз. Что за колдовство кроется в вещах и мостовых нашего детства, колдовство, придающее им свойства магические и исключительные? Откуда в них это непререкаемое стремление, чтобы после их гибели в хаосе войны и на свалках я засвидетельствовал их былое существование? Всего через несколько лет, прошедших после описанных здесь идиллических времен, уже пришлось позавидовать постоянству мертвых предметов; постепенно — лишаясь людей — они превращались в издевку, и неожиданное осиротение, ненужность тростей, безделушек, опустевших кресел приобретало какой-то чудовищный смысл. Действительно, похоже было на то, что предметы соперничали с людьми; более устойчивые, менее зависящие от катастроф, они, как будто только освободившись от своих хозяев, приобретали значимость и вес — достаточно вспомнить детские коляски и тазы на баррикадах, очки, сквозь которые некому было смотреть, кучи истоптанных писем. Но хотя они и получали в военном пейзаже силу жутких знаков, я никогда не ставил им этого в вину. Я верил в их невиновность. У меня осталась бессознательная, не нарушенная огнем и временем привязанность к старой фаянсовой сове из отцовского книжного шкафа, ко льву и тигру — тяжелым, чудесным животным из черненой бронзы, к шахматам — фигуры и пехотинцы были с татарскими лицами, их вырезал отцу товарищ по русскому плену 1915 года, к двум часам-собакам с комода матери, отмечающим время вращением вытарашенных глаз. В банальной, очень мешанской спальне родителей я помню форточку, в ее стекле зияло круглое отверстие с разбегающимися к раме паутинками

трещин. Мне рассказывали, что во время боев 1918 года туда влетела пуля; поэтому я, дотошный ребенок, искал на потолке потерянный след ее полета, но потолок был девственно гладок. Пробоину заштукатурили. Так мне сказали, но то ли я не мог, то ли не хотел в это поверить; важно одно: в квартире, такой спокойной, такой обыкновенной, полной сытого мещанского достатка, мои глаза часто обращались к потолку, к маленькой форточке — неизвестно почему. Отверстие было небольшое — видимо, заменять стекло было несподручно, таким оно и осталось на все межвоенное время. Быть может, пробоина тревожила меня, как растревожил Робинзона след босой ступни на берегу необитаемого острова? Нет, я не считал ее предвестником жестоких времен, их я не сумел бы вообразить, просто это отверстие не соответствовало сонной гармонии мебели, этот след поражал, словно деталь, явившаяся из невозможного, — вы видите ее перед собой, и она своей материальностью не оставляет места сомнениям. Как же так: выходит, это действительно могло быть, значит, кто-то действительно мог стрелять в окна? В квартиры? А я родился тремя годами позже?

Я должен остерегаться преувеличений. Пробитое пулей стекло меня удивляло, даже, может быть, раздражало, как неожиданный диссонанс, но не более того, оно изумляло не больше, чем капля смолы, сочившейся из рамы того же окна, — я очень любил собирать на палец каждую каплю — постепенно, за несколько дней выплаканную деревом сквозь краску. Капли были сверху уже немного засохшие, внутри — пахучие, смолистые и липкие. Казалось, дерево не хотело примириться со своей судьбой, словно все его невидимое под краской существо еще находилось в лесу, говорило о нем наперекор реальности рубанка, гвоздсй, лака, обоих колец, на которых к раме была прикреплена тонкая рейка шторы. Все это я рассказываю для того, чтобы свести проблему простреленного стекла к истинному масштабу.

А что вообще связывало ребенка, ходившего всегда по одним и тем же улицам, с их тротуарами, их стенами? Может быть, дело в красоте? Я ее не замечал — не думал, что город может быть другим, то есть не закованным в каменные кладки мостовых и не холмистым, я не подозревал, что перспективы улиц, например Коперника, Сикстусской, могли бы не взлетать вверх, трамваи — не спускаться вниз или взбираться в гору; я не замечал готической прелести костела Эльжбеты,

восточной экзотики армянского кафедрального собора, а если поднимал голову, то лишь для того, чтобы посмотреть, как крутится на трубе жестяной петушок. Удивительно, что я вопреки всему могу двинуться против течения памяти и возвратить невинность словам «Янув», «Знесень», «Пески», «Лонцкого»*, которым сорок первый и сорок второй годы придали зловещее звучание — тогда улицы начиная от Бернштейна и дальше за театр, в сторону Солнечной, внезапно вымерли, и захлопали на ветру раскрытые настежь окна, опустели стены, дворики, подъезды, а еще позже появились и затем исчезли деревянные заборы гетто. Я видел его издали; вначале пригородную разбросанную застройку, потом уже только заросшие травой развалины. Но в тридцатые годы никто не мог этого предвидеть. Правда, и в то время бывало по-разному. С балкона нашей квартиры, прячась за его каменным парапетом, я видел атаку конной полиции на демонстрантов, это было в день похорон Козака; со скрипом падали железные жалюзи — торговцы спасали свои витрины, — а я смотрел, как слетает с коня полицейский в блестящей каске. Но это было словно неожиданно налетевшая буря — она прошла, и, когда дворники убрали с брусчатки разбитые стекла, опять вернулся покой — благодарные пациентки-монашенки приносили отцу из своего сада огромные букеты сирени, ее укладывали под струю воды в ванне, на «Веселой львовской волне» передавали диалоги Тоньца с Щепцем или потешные монологи пана Строньца, прерываемые кашлем, а я объявлял родителям, что не пойду в гимназию, поскольку там надо носить гольфы, а я этого не могу — они щекочут под коленками. Мы были, теперь это ясно, подобны муравьям, энергично копошащимся в муравейнике, над которым уже занесен сапог. Некоторые, как им казалось, улавливали его тень, но все, а стало быть и они, до последних минут с рвением и горячностью продолжали суетиться вокруг тех же самых дел, стремясь обеспечить, смягчить, освоить будущее. Взрослые и дети, все мы были равны в благословенном неведении, без которого невозможно жить.

А ведь мы готовились. Обычно мы ходили в гимназию в школьной форме, а один раз в неделю были уроки ВП — военной подготовки. В эти дни мы были обязаны являться в военной форме. Она состояла, собственно, только из зеленой

* Названия улиц и районов довоенного Львова, заселенных в основном евреями.

полотняной рубахи, надеваемой через голову наподобие обычной русской гимнастерки. Кто мог, прикручивал на грудь харцерские* значки, стрелковые отличия; что касается меня, то, изведя на стрельбище у Высокого Замка уйму патронов, я перед экзаменом заработал золотой значок, но недолго мне пришлось им похвастаться.

Рубаху полагалось идеально расправлять спереди и перехватывать широким ремнем. У некоторых были великолепные ремни с двойной пряжкой и многочисленными дырочками; я тоже достал себе такой; он даже был подбит тонким фетром, и у него были латунные тренчики, чтобы пристегивать наплечный офицерский ремешок, носить который я, конечно, не имел права. Вся беда в том, что для такой рубахи нужна была стройная фигура, как, например, у Л., его можно было обхватить в талии четырьмя пальцами — никакого выпирающего зада, из-за которого складки, собранные сзади, торчали, словно распушенный хвост, превращая гимнастерку в юбку. Меня это весьма смущало.

Командиром отряда был профессор Стажевский, историк, офицер запаса, но он присматривал за нами сверху, а стало быть, и издалека. Обычно нами занимались несколько строевых унтер-офицеров, пришедших из города и частенько приносивших с собой загадочные свертки с осененными военной тайной предметами — например, маленькими флакончиками, из-под пробок которых пробивался еле ощутимый запах отравляющих газов, смягченный до безопасности в этой аптечной упаковке. Нам давали нюхать фосген, хлорацетофенон и другие невидимые отравы со столь же грозными названиями. На учениях выдавали противогазы; до сих пор я помню их неприятный резиново-брезентовый запах и вкус; дышалось в них с трудом, судорожно, но ведь это была игра.

Однажды на площадке зажгли дымовые пашки и сержант бросил гранату со слезоточивым газом. Облако понесло на школьного сторожа, и он вынырнул оттуда, истекая слезами. У унтер-офицеров была с нами масса хлопот. Мы втихую подсмеивались над ними — впрочем, добродушно, частенько повторяли различные их оговорки — капрал Лелявый, например, носил совсем другую фамилию, мы так его окрестили после того, как на уроке он в драматических тонах

* Харцеры — польские скауты.

описал нам, каким «лелявым»^{*} становится человек, наглотававшийся фосгена.

В микроскопическом арсенале нашей гимназии были собственные винтовки, в основном «лебели», почитай, 1889 года. Это было архаическое, хоть и многозарядное ружье, длинное и тяжелое, патроны вкладывались один за другим в канал, просверленный в ложе под стволом, затворы мы разбирали и собирали несметное число раз, много было муштры, а изредка мы даже получали по физиономии — разумеется, уже за городом, где-нибудь в Кайзервальде, куда нас водили, выстроив в колонны. Стволы наших винтовок были раскалиброваны, никакого боевого значения это оружие не имело — с таким же успехом можно было пользоваться выструтанными в форме винтовок досками, но усомниться в качестве оружия считалось, пожалуй, государственным преступлением. При скверной погоде мы проводили эти два часа в классе за чисткой оружия — облепленные паклей и вымазанные техническим вазелином. Познакомились мы также с методами проверки нашей работы: спичкой, заточенной, как зубочистка, сержант тщательно ковырял вокруг винтов приклада, между деревянной ложей и стволом; в конце концов всегда можно было найти какую-нибудь микроскопическую щелочку, которая испачкает кончик спички, и все приходилось начинать сызнова. Но это как-то не очень злило — словно мы понимали, что таковы правила игры, что на этом и стоит армия.

Во втором классе лица мы уже ходили стрелять из настоящих винтовок, не «лебелей»; там царила фронтовая атмосфера. К этим стрельбам нас готовили так долго — почти до последней минуты нам не давали притронуться к армейскому оружию, карабинам Маузера — и с такой таинственностью, осторожностью и бухгалтерской скрупулезностью выдавали боевые патроны — уже на бетонированных стрелковых площадках, — что в результате винтовка превращалась в оружие прямо-таки гигантского значения, огневой мощи которого не может противостоять ничто, в редкостный и точнейший инструмент, которым не обладала ни одна армия мира. Я не утверждаю, что нечто подобное нам внушали, — просто после долгого священнодействия возникало в конце концов такое ощущение. Впрочем, честно говоря, тут играла роль атмосфера стрельбища, бетонные позиции, сильная отдача, которой награждало ружье, если не прижать как

^{*} Сонным, растяпой (польск. — прим. ред.).

следует приклад к плечу; каким жалким в сравнении с боевой винтовкой был спортивный карабин, из которого мы иногда постреливали в гимназии! Даже самозарядка Юлека Д. теряла свою привлекательность.

Забавно, что осознания истинного назначения винтовки у нас — во всяком случае, у меня, да, пожалуй, и у других — в принципе не было. Правда, мишенями на стрельбище были уже не невинные спортивные кружочки с черным яблочком посредине, а достаточно красноречивые бледно-зеленые силуэты, с каской на голове и белым пятном лица, но ведь и эта цель была чисто условной. Требовалось попасть, а не убить — об убийстве как-то не говорили.

Даже тогда, когда шло обучение штыковому бою. Я этого не любил. Вместо винтовок мы пользовались длинными жердями, грубо имитирующими винтовки, свободные концы были обернуты паклей и обвязаны тряпками, так что получалось нечто вроде твердого матерчатого кулака. Основная стойка была нескладная: на широко расставленных, сильно согнутых ногах; мы сражались друг с другом, а иногда с сержантом — большим мастером штыкового боя — или же кололи огромные тряпичные куклы, немного напоминающие увеличенные портновские манекены. Сержант нам показывал, куда и как следует колоть, — его тут же втягивали в разговоры о разных видах штыков, о польском — плоском, о русском четырехгранном; после укола при некоторых обстоятельствах следовало «покрутить», чтобы у пораженного врага внутренности перемешались.

Наконец, но уже совершенно теоретически, сержант показывал нам, что можно сделать обыкновенной саперной лопаткой, какое это превосходное оружие, если садануть им человека в основание шеи, потому что при удаче можно отхватить все плечо; только, упаси Боже, не следует целиться в голову, ибо на ней обычно каска и лопатка отскочит. Показывали нам также способы отражения штыковых атак именно такой лопаткой; мы бросали гранаты, то есть болванки, а потом опять долгие часы не покладая рук чистили «лебеля». Однажды при совершенно необычных и особых обстоятельствах мы отправились с ними в город.

Это было после смерти маршала Пилсудского, вечером. Не знаю, почему именно в эту пору. Мы долго маршировали, все время в положении «смирно», так что руки занемели от тяжелого «лебеля», прижатого к самому поясу; мы шли центральными улицами, через Мариацкую площадь, где — кажется, неподалеку от памятника Мицкевичу, тогда в

темноте невидимого — одиноко стоял небольшой постамент с каменным бюстом, перевязанным черной лентой, освещенный откуда-то сверху прожектором, а мы под траурный, заполняющий, казалось, весь город, угрюмый грохот барабанов шли, изо всех сил колотя ногами по брусчатке. Был тридцать пятый год.

За три года военной подготовки нам ни разу не говорили о том, что существует что-либо похожее на танки. Как будто их и не было. Да, нам толковали о всевозможных газах, и названиях частей оружия, и уставах, и караульной службе, и полевой тактике, и множестве иных вещей; в общем за год набиралось что-то около ста часов, и триста в последних классах. Но все это выглядело — теперь я это вижу — так, словно нас готовили на случай войны вроде франко-прусской 1870 года. Мы не были частицей армии, ведь мы не входили в ее состав, мы были лишь намеком на такую частицу. Но на сколько же тысяч и десятков тысяч надо было бы помножить этот вошедший в систему анахронизм, никому не нужное обучение, чтобы стал ясен масштаб этих изнурительных занятий, этих трудов, бесчисленных усилий людей в мундирах, направленных в ничто! Поражение заслонило все, но я и сейчас не могу спокойно, без тоскливого изумления думать об этом напрасном труде.

Последние летние каникулы перед выпускными экзаменами я провел в лагере военной подготовки в Делятине. Там было как в армии на маневрах: мы жили в палатках по восемнадцать человек над высоким, обрывистым берегом Прута, со всем, что положено, — утренней побудкой, муштрой, полевыми учениями, обедами из котла, тактическими занятиями и вечерней поверкой. Впервые я оказался вдали от семьи — никто, кроме командиров отделений и унтер-офицеров, за мной не присматривал. Нам сразу же дали понять, что к нам относятся как кó взрослым, военным людям; капитан предостерегал от контактов с женским населением, поскольку среди гуцулов пошаливал сифилис. За это время я научился многому, в том числе функционированию механизма власти. Когда пришла моя очередь быть дежурным унтер-офицером, я отправился утром к старшине, чтобы получить приходящуюся на мою палатку порцию мармелада к хлебу; старшина открыл себе громадный кусок малинового вещества и вручил мне остальное; я же, возвращаясь, понял, что следует делать мне, и, в свою

счердь, по собственной инициативе взял должностную добавку.

Под конец учений состоялись большие маневры в присутствии наблюдателя из самой Варшавы, какого-то майора; он казался нам величиной совершенно недостижимой. Чтобы отделаться от лопатки, которая во время перебежек была по задку, я прикинулся, будто не получал ее — лопатки были не у всех, — и сам же, по совету благоволившего ко мне командира отделения, спрятал лопатку в матрац. Она, разумеется, немедленно исчезла, потом за нее пришлось платить, но по крайней мере мне не пришлось в поте лица окапываться. Я неплохо справился со своим «лебедем», так как по совету своего штатского духа раз навсегда вычистил до зеркального блеска канал ствола и заткнул его маленькой незаметной пробочкой, чтобы во время бесконечных прыжков и падений туда не попадал песок. Таким образом, во время чистки оружия я драил его только снаружи, а при осмотре в нужный момент украдкой вынимал пробку.

Хуже получилось у моего товарища Мечика Р., которого в перерыве больших маневров почему-то заметил сам господин майор и приказал сначала продемонстрировать действие по команде «Первая помощь при отравлении газами», а потом закричал: «Тревога!» Мечик побледнел, но под бдительными взглядами всех чинов вынужден был все-таки открыть жестяную коробку, в которой вместо маски оказались яблоки и сладости. Маску, как и лопату, он спрятал в матрац. Последствия должны были быть жуткими — вплоть до неудовлетворительной оценки по ВП в аттестате, — но потом все как-то обошлось.

Сами маневры я помню как великую беготню и стрельбу холостыми патронами, причем поднимали нас в четыре часа утра. Я заметил, что в эту пору суток мир в июле невероятно прекрасен, и даже пообещал себе, что на гражданке обязательно буду приветствовать его столь же рано. Впрочем, это так и осталось благим измерением. Наползались мы сверх меры, причем никогда не было известно, где находится так называемый неприятель, так что на всякий случай мы стреляли во все стороны. Потом куда-то запропастился головной дозор, потом встреченная случайно гуцулка, покрутившись около нас, неожиданно кинулась на шею командиру отделения и выхватила у него винтовку — оказалось, это был один из капралов, переодетый до неузнаваемости и демонстрировавший таким образом военные хитрости. Кажется, мы победили, хотя полностью я в

этом не уверен. Еще несколько раз нас по тревоге поднимали с матрацев посреди ночи; причем, если не у всех ботинки были как следует зашнурованы, отделение возвращали под одеяла; однажды нам пришлось раздеваться и одеваться в рекордном темпе раза четыре. Но лучше всего я запомнил, что в армии беспрерывно что-нибудь дряят — если не винтовку, то ботинки, если не ботинки, то полы (полов в палатках не было, в чем и обнаруживался чисто символический характер этих действий).

В то время я впервые столкнулся вблизи, в наши выходные, со страшной нуждой — у гуцулов. За пять грошей или кусок хлеба отдавали целую манерку малины или земляники, и при этом еще оставались довольны. Делятин стоял несколько в стороне от таких центров туризма, как Татару в Яремче.

Несколько дней мы работали в воде на строительстве моста, сорванного поднявшейся рекой. За эти дни я загорел, как негр. Наконец пришел конец этой игрушечной воинственности, осталось позади ритуальное подбрасывание поручиков и унтер-офицеров — тем, что сидели у нас в печенках, мы подставляли кулаки вместо раскрытых рук. За одним поручиком, мерзким блондином, красным от солнца, словно его вот-вот хватит удар, мы гонялись по всему лагерю — он пытался выкрикивать строгие команды, но наше уважение к чинам лопнуло, дисциплина неожиданно развалилась, и поручику ничего не помогло — он таки взлетел на воздух.

Винтовка меня удивительно распрямила, я даже похудел. В последний день был вечерний костер с песнями, пир с пгристиым лимонадом и непропеченными пончиками, а наутро нас погрузили в вагоны. По пути во Львов ко мне подсел один из преподавателей, подхорунжий*, которому я был просто-таки невероятно симпатичен, более того, он, оказывается, все время восхищался мною; сердечность, да что там, уважение (совершенно неизвестно за что), выражаемые мне почти что офицером, меня в конец околдовали. Поэтому, когда выяснилось, что подхорунжему нравятся мои сапоги (у меня были две пары), я немедленно расстался с ними — только сначала не знал, как бы их ему подарить, чтобы он не обиделся: все-таки почти офицер! К счастью, он сам облегчил мне дело и, держа их за ушки, тут же исчез. А поезд уже подходил к перрону, под огромный купол Главного вокзала, где ждали истосковавшиеся родители.

* Звание в польской армии, аналогичное званию старшины.

Когда я был маленьким, никто не умирал. Правда, я слышал о таких случаях — так же, примерно, как о падении метеоритов. Каждый знает, что они падают, это бывает, но какое это имеет отношение к нам? Когда я писал эту книгу, в ночь между двумя дождливыми днями в Закопане, мне приснился отец. Не такой неотчетливый, туманный, неопределенного возраста, каким я могу себе его представить наяву, а в конкретном времени, живой. Я видел его серые, еще неусталые глаза за очками, короткие усы, подстриженные над губой, небольшую бородку, руки врача, постоянно натираемые щеткой, пальцы с коротко обрезанными ногтями, золотое кольцо, утончившееся от ношения, складки на жилете, сюртук, немного оттянутый с правой стороны тяжестью ларингологического зеркала, а в глубине — квартира, обои, старая высокая печь из белого, покрытого мелкими трещинками изразца, тысячи других мелочей, которые, проснувшись, я не мог даже назвать. Все это во мне: недоступная толпа воспоминаний, череда минут, часов, недель, лет — и никто, кроме сна, над которым я не властен, не может туда проникнуть. Где-то там есть Стрыйский парк, весь в снегу, и отец, прогуливающийся по аллейке черных деревьев, страшно замерзший, засунувший руки в карманы пальто, а я — впервые на лыжах, едва двигаю ногами, воображая себя владыкой бескрайних просторов. Стук копыт, неожиданно пригложивший на деревянной брусчатке Маршалковской перед Университетом Яна Казимира, протяжный, бьющий в окна класса плакучий скрежет трамвая, сворачивающего около нашей спортплощадки в своем трудном восхождении к Высокому Замку. Поручни всех лестниц, с которых я съезжал, клетчатые гольфы моего однокашника Лозы — самые длинные в классе, зеленые локомотивы на Восточной ярмарке, каштаны. Медный водогрейный котел в кухонной печи, желуди на потолке спальни, толкучка, на которой среди железок я разыскивал сокровища, и даже первая кровать — белая, с боковой шнуровой сеткой. Корабль-загадка, каким-то чудом заплывший через узкое горлышко в бутылку, и первая легальная папироса марки «Нил» с красным бумажным мундштуком, которую я закурил после экзаменов в июне 1939 года.

А ведь какие лавины обрушились на этот мир! Как только не стерли его в порошок, не уничтожили последние его следы? Для кого они, собственно, существуют, от кого их так бережет память — несообщительная, только ночью, только в беспомыслии сна и для него, слепого, открывающая настежь свои сокровищницы, но непокорная и скупая наяву, дающая обрывочные, недосказанные ответы, которые вначале требуется старательно расшифровать, заполняя зияющие пробелы домыслами, смириться, если какой-либо осколок, силой вырванный из нее, как бы украдкой вынесенный, —

цветное пятнышко, контур чьих-то губ, тень, звук или о чем не говорит, хотя есть подсознательное ощущение, что это связано с чем-то важным, что там когда-то прошла линия судьбы, а сейчас — только пустота, глухая, невидимая стена; тут ничего не поделаешь! Раздумья, словно подкопы, словно обваливающиеся штольни. Что за скаредность, что за безразличие памяти, которая знает и может все, но не поддается уговорам — упрямая, презрительно замкнувшаяся в себе, игнорирующая течение времени, не зависящая от него. И если б она действительно была пустырем с редкими куртинами угасающих образов, — но нет, это наверняка не так, тому есть доказательства в снах, — а она всегда пускает меня не туда, куда бы я хотел, не тогда, когда мне это необходимо, — тупо замкнувшийся механизм, суверенный в своем безумно точном исполнении задачи: сохранять, закреплять неизменно и навсегда. Навсегда? Но ведь это неправда, ведь она погибнет вместе со мной, неподкупный страж, скряга, искушенная в тирании, в непослушании, в язвительной строптивости, столь постоянная и столь хрупкая одновременно, сентиментальная и в то же время равнодушная, словно пласт угля, в котором отгиснулся лист. Как ее понять? Как с ней примириться? Нейронные сети, синапсы, петли Мак-Каллоха? Нет, не объясняйте ее столь мудрым, столь потешно ученым образом — это ни к чему, пусть уж все останется, как есть. Мы с ней — как бы пара косящихся друг на друга лошадей, которые тянут один и тот же воз. Так иди же вперед, моя неразлучная, незнакомая подруга, мой враг, мой друг.

Закопане. Июнь 1965 года

МАСКА

НОВЕЛЛЫ



Вначале была тьма, и холодное пламя, и протяжный гул; и многочисленистые, обвитые длинными шнурами искр, дочерна опаленные крючья передавали меня все дальше, и металлические извивающиеся змеи тыкались в меня плоскими рыльцами, и каждое такое прикосновение пробуждало молниеносную, резкую и почти сладостную дрожь.

Безмерно глубокий, неподвижный взгляд, который смотрел на меня сквозь круглые стекла, постепенно удалялся, а может быть, это я передвигалось дальше и входило в круг следующего взгляда, вызывавшего такое же оцепенение, почтение и страх. Неизвестно, сколько продолжалось это мое путешествие, но по мере того, как я продвигалось, лежа навзничь, я увеличивалось и распознавало себя, ища свои пределы, хотя мне трудно точно определить, когда я уже смогло объять всю свою форму, различить каждое место, где я прекращалось и где начинался мир, гудящий, темный, пронизанный пламенем. Потом движение остановилось и исчезли суставчатые щупальца, которые передавали меня друг другу, легко поднимали вверх, уступали зажимам клещей, подсовывали плоским ртам, окруженным венчиками искр; и хоть я было уже способно к самостоятельному движению, но лежало еще неподвижно, ибо хорошо сознавало, что еще не время. И в этом оцепенелом наклоне — а я лежало тогда на наклонной плоскости — последний разряд, бездыханное касание, вибрирующий поцелуй заставил меня напрячься: то был знак, чтобы двинуться и вползти в темное круглое отверстие, и уже без всякого понуждения я

коснулось холодных гладких вогнутых плит, чтобы улечься на них с каменной удовлетворенностью. Но может быть, все это был сон?

О пробуждении я не знаю ничего. Помню только непонятный шорох вокруг меня и холодный полумрак. Мир открылся в блеске и свете, раздробленном на цвета, и еще так много удивления было в моем шаге, которым я переступало порог. Сильный свет лился сверху на красочный вихрь вертикальных тел, я видело насаженные на них шары, которые обратили ко мне пары блестящих влажных кнопок. Общий шум замер, и в наступившей тишине я сделало еще один маленький шаг. И тогда в неслышном еле ощутимом звуке будто лопнувшей во мне струны я *почувствовало* наплыв своего пола, такой внезапный, что у меня закружилась голова, и я прикрыла веки. И пока я стояла так с закрытыми глазами, до меня со всех сторон стали долетать слова, потому что вместе с полом я обрела язык. Я открыла глаза, и улыбнулась, и двинулась вперед, и мое платье зашелестело. Я шла величественно, окруженная кринолином, не зная куда, но шла все дальше, потому что это был придворный бал, и воспоминание о моей ошибке — о том, как минуту назад я приняла головы за шары, а глаза за мокрые пуговицы, — забавляло меня ее ребяческой наивностью, поэтому я улыбнулась, но улыбка эта была предназначена только мне самой. Слух мой был обострен, и я издали различала ропот изысканного признания, затаенные вздохи кавалеров и завистливые вздохи дам: «Откуда эта девочка, виконт?» А я шла через гигантскую залу под хрустальной паутиной жирандольей, и лепестки роз капали на меня с сетки, подвешенной к потолку, и я видела свое отражение в похотливых глазах худощавых пэров и в неприязни, выползающей на раскрашенные лица женщин.

В окнах от потолка до паркета зияла ночь, в парке горели смоляные бочки, а между окнами, в нише у подножья мраморной статуи, стоял человек, ростом ниже других, окруженный придворными в черно-желтых полосатых одеждах. Все они словно бы стремились к нему, но не переступали пустого круга, а этот человек, один из всех, когда я приблизилась, даже не посмотрел в мою сторону.

Поравнявшись с ним, я приостановилась и, хотя он даже отвернулся от меня, взяла слабыми кончиками пальцев кринолин и опустила глаза, будто хотела отдать ему глубокий поклон, но только глянула на свои руки, тонкие и белые, и, не зная почему, их белизна, засиявшая на голубом атласе

платья, показалась мне чем-то ужасным. Он же, этот низенький господин или пэр, за спиной которого возвышался бледный мраморный рыцарь в латном полудоспехе с обнаженной белой головой и с маленьким, будто игрушечным трехгранным мизерикордом, «кинжалом милосердия», в руке, не соизволил даже взглянуть на меня, он говорил что-то низким, как бы сдавленным скукой голосом, глядя прямо перед собой и ни к кому не обращаясь. А я, так и не поклонившись ему, только посмотрела на него быстро и пристально, чтобы навсегда запомнить лицо со слегка перекошенным ртом, угол которого был стянут белым шрамом в гримасу вечной скуки.

Впиваясь глазами в этот рот, я повернулась на каблуке так, что зашумел кринолин, и пошла дальше. Только тогда он посмотрел на меня, и я сразу почувствовала этот взгляд — быстрый, холодный и такой пронзительный, словно бы к его щеке прижат приклад, а мушка невидимой фузеи нацелена на мою шею между завитками золотых буклей, — и это было вторым началом. Я не хотела оборачиваться, и все же повернулась к нему и, приподняв обеими руками кринолин, склонилась в низком, очень низком реверансе, как бы погружаясь в сверкающую гладь паркета, ибо то был король. Потом я медленно отошла, размышляя над тем, отчего, зная все это так твердо и наверняка, я чуть было не совершила ужасной оплошности: должно быть, потому что раз я не могла знать, но узнавала все каким-то навязчивым и безоговорочным путем, то чуть было не приняла все за сон, — однако что стоит во сне, к примеру, схватить кого-нибудь за нос? Я даже испугалась, что не могу совершать промахи оттого, что во мне возникает как бы невидимая граница. Так я и шла между сном и явью, не зная куда и зачем, и при каждом шаге в меня вливалось знание, волна за волной, как на песке оставляя новые имена и титулы, будто сплетенные из кружев, и на середине залы, под сияющим канделябром, который плыл в дыму, как пылающий корабль, я уже знала всех этих дам, искусно прячущих свою изношенность под слоями грима.

Я знала уже столько, сколько знал бы человек, который вполне очнулся от кошмара, но помнит его почти ощутимо, а то, что еще было для меня недоступным, рисовалось в моем сознании, как два затмения: откуда я и кто я — ибо я все еще

* Кинжал, которым на поединке добивали поверженного противника.

ни капельки не знала себя самое. Правда, я уже ощущала свою наготу, укрытую богатым нарядом: грудь, живот, бедра, шею, руки, ступни. Я прикоснулась к топазу, оправленному в золото, который светлячком пульсировал в ложбинке на груди, и тотчас почувствовала, какое у меня выражение лица — неуловимое выражение, которое должно было изумлять, потому что каждому, кто смотрел на меня, казалось, что я улыбаюсь, но если он внимательно присматривался к моим губам, глазам, бровям, то замечал, что в них нет и следа веселости, даже вежливой, и снова искал улыбку в моих глазах, а они были совершенно спокойны, он переводил взгляд на щеки, на подбородок, но там не было трепетных ямочек: мои щеки были гладки и белы, подбородок серьезен, спокоен, деловит и так же безупречен, как и шея, которая тоже ничего не выражала. Тогда смотревший впадал в недоумение, не понимая, как ему пришло в голову, что я улыбаюсь, и, ошеломленный своей растерянностью и моей красотой, отступал в глубь толпы или отвешивал мне глубокий поклон, чтобы хоть этим жестом укрыться от меня.

А я все еще не знала двух вещей, хотя и понимала, что они самые важные. Я не могла понять, почему король не посмотрел на меня, когда я проходила мимо, почему он не хотел смотреть мне в глаза, хоть и не боялся моей красоты и не желал ее; я же чувствовала, что по-настоящему ценна для него, но ценна каким-то невыразимым образом, так, будто бы я сама была для него ничем, вернее, кем-то как бы потусторонним в этой искрящейся зале и что я была создана не для танца на зеркальном паркете, уложенном многокрасочной мозаикой под литыми из бронзы гербами, украшающими высокие притолоки; однако, когда я прошла мимо него, в нем не возникло ни одной мысли, по которой я могла бы догадаться о его королевской воле, а когда он послал мне вдогонку взгляд, мимолетный и небрежный, но как бы поверх воображаемого дула, я поняла еще и то, что не в меня целились эти белесые глаза, которые стоило бы скрыть за темными стеклами, потому что лицо его хранило благовоспитанность, а глаза не притворялись и среди всей этой изысканности выглядели как остатки грязной воды в медном тазу. Пуще того, его глаза были словно подобраны в мусорной куче — их не следовало бы выставлять напоказ.

Кажется, он чего-то от меня хотел, но чего? Я не могла тогда об этом думать, ибо должна была сосредоточиться на другом. Я знала здесь всех, но меня не знал никто. Разве только он, король. Теперь, когда во мне стало возникать

знание и о себе, странное ощущение овладело мною, и, когда, пройдя три четверти зала, я замедлила шаг, в разноцветной массе лиц окостенелых и лиц в серебряном инее бакенбардов, лиц искривленных и одутловатых, вспотевших под скатавшейся пудрой, меж орденских лент и галунов, открылся коридор, чтобы я могла проследовать, словно королева, по этой узкой тропинке сквозь паутину взглядов, чтобы я прошла — куда?

К кому-то.

А кем была я сама? Мысли мои неслись с невероятной быстротой, и я в секунду поняла, сколь необычно различие между мною и этим светским сбродом, потому что у каждого из них были свои дела, семья, всяческие отличия, полученные путем интриг и подлостей, каждый носился со своею торбой никчемной гордости, волоча за собой свое прошлое, как повозка в пустыне тянет сзади длинный хвост поднятой пыли. Я же была из таких далеких краев, что, казалось, имела не одно прошлое, а множество, и поэтому моя судьба могла стать понятной для них только в частичном переводе на здешние нравы, но по тем определениям, которые удалось бы подобрать, я все равно осталась бы для них чуждым существом. А может быть, и для себя тоже? Нет... а впрочем, пожалуй, да — у меня ведь не было никаких знаний, кроме тех, что ворвались в меня на пороге залы, как вода, которая, прорвав плотину, бурля заливаает пустоту. Ища в этих знаниях логику, я спрашивала себя, можно ли быть сразу множеством? Происходить сразу из многих покинутых прошлых? Моя собственная логика, отделенная от бормочущих воспоминаний, говорила мне, что нельзя, что прошлое может быть лишь одно, а если я одновременно графиня Тленикс, дуэнья Зореннэй, юная Виргиния — сирота, у которой родню истребил валандский род в заморской стране Лангодотов, если я не могу отличить вымысла от действительности, докопаться до истинной памяти о себе, то, может быть, я сплю? Но уже загремел оркестр; бал напирал, словно каменная лавина, и трудно было поверить в другую, еще более реальную действительность. Я шла в неприятном ошеломлении, следя за каждым своим шагом, потому что снова началось головокружение, которое я почему-то назвала *vertigo*^o.

Я ни на миг не сбилась в своей королевской поступи, хотя это потребовало огромного напряжения, незаметного внешне,

^o Кружение (лат.).

и ради этой незаметности — еще больших усилий, пока я не почувствовала поддержку извне: то был взгляд мужчины, который сидел в низком проеме приоткрытого окна, — на его плечо свесилась складка парчовой занавеси, расшитой красно-седыми коронованными львами, страшно старыми, поднимавшими в лапах скипетры и яблоки держав — райские, отравленные яблоки. Этот человек, уединившийся среди львов, одетый во все черное, прилично, но с долею естественной небрежности, в которой нет ничего общего с искусственным дамским беспорядком, этот чужой, не денди, не чичисбей*, не придворный и вовсе не красавчик, но и не старик, смотрел на меня из своего укрытия, такой же одинокий в этом всеобщем гомоне, как и я. Вокруг толпились те, кто раскуривает cigarillo свернутым банкнотом на глазах партнеров по tagosso** и бросает золотые дукаты на зеленое сукно так, как швыряют в пруд лебедям мускатные орехи, — люди, которые не могут совершить ничего глупого или позорного, ибо их знатность облакает благородством любой поступок. А этот мужчина в высшей степени не подходил к такому окружению, и снисходительность, с которой он как бы нечаянно позволял жесткой парче в королевских львах перевешиваться через плечо и бросать на его лицо отблеск тронного пурпура, выглядела тихим издевательством. Он был немолод, но юность все еще жила в его темных, нервно прищуренных глазах, он слушал, а возможно, и не слышал своего собеседника, маленького лысого толстяка, похожего на доброго закорюченного пса. Когда незнакомец встал, занавесь соскользнула с его плеча — ненужная отброшенная мишура, и наши глаза встретились в упор, и мои сразу же скользнули прочь, будто обратились в бегство — могу поклясться! Но его лицо осталось на дне моих глаз — я как бы ослепла и оглохла на мгновение, так что вместо оркестра некоторое время слышала только стук своего сердца. Не знаю почему.

Уверяю вас, лицо у него было совершенно обыкновенное. В его неправильных чертах была та привлекательная некрасивость, что нередко свойственна высоким умам; но, казалось, он уже устал от собственного интеллекта, излишне проницательного, который мало-помалу подтачивал его в самоубийственных ночных бдениях, — видно было, что ему приходится тяжело и в иные часы он рад бы избавиться от своей мудрости, уже не привилегии и дара, но увечья, ибо

* Дамский угодник (спутник для прогулок).

** Средневековая карточная игра особыми картами (таро)

неустанная работа мысли начала ему досаждать, особенно когда он оказывался наедине с собой, что случалось с ним часто — почти всегда и везде, а значит, и здесь. У меня вдруг возникло желание увидеть его тело, спрятанное под добротной, чуть мешковатой одеждой, сшитой так, будто он сам сдерживал старания портного. Довольно печальной должна, наверное, быть эта нагота, почти отталкивающе мужественная, с атлетической мускулатурой, перекачиваемой узлами вздутый и выпуклостей, со струнами сухожилий, способная вызвать страсть разве что у стареющих женщин, которые упорно не желают от всего навсегда отказаться и шалеют, как нерестящиеся рыбы. Зато голова его была так по-мужски прекрасна — гениальным рисунком рта, гневливой запальчивостью бровей, как бы разрезанных морщинкой посередине; его крупный, жирно лоснящийся нос даже чувствовал себя смешным в такой компании. Ох, не был красив этот мужчина, и даже некрасивость его не искушала, попросту он был *другой*, но если бы я внутренне не расслабилась, когда мы столкнулись взглядами, то, наверное, могла бы пройти мимо.

Правда, если бы я так поступила, если бы мне удалось вырваться из сферы его притяжения, всемиловейший король тотчас же занялся бы мною — дрожанием перстня, уголком выцветших глаз, зрачками, острыми, как булавки, — и я вернулась бы туда, откуда пришла. Но в тот миг и на том месте я не могла еще этого знать, я не понимала, что та, словно случайная встреча взглядов, мимолетное совпадение черных отверстий зрачков — а они же, в конце концов, всего-навсего дырочки в круглых приборах, проворно скользящих в глазницах черепа, — что это все заранее предопределено, но откуда мне это было знать тогда!..

Я уже прошла мимо, когда он встал, сбросил с рукава зацепившийся край парчи и, как бы давая понять, что комедия окончена, двинулся за мной. Сделав два шага, он остановился, вдруг осознав, каким пошлым ротодейством выглядела эта его отчаянная решимость плестись за незнакомой красавицей, как зазевавшийся дурачок за оркестром. Он остановился, и тогда, сложив кисть руки лодочкой, я другой рукой сдвинула с запястья петельку веера. Чтобы упал. И он, конечно, тут же... Мы рассматривали друг друга уже совсем вблизи, между нами была только перламутровая ручка веера. Это была прекрасная и страшная минута — смертный холод перехватил мне горло, и, чувствуя, что вместо голоса могу выдавить из себя только слабый

хрип, я лишь кивнула ему, и этот мой кивок был таким же неуверенным, как тот недавний реверанс перед королем, не удостоившим меня взглядом.

Он не ответил на мой поклон — он был растерян и изумлен тем, что происходило в нем самом, ибо такого он от себя не ожидал. Я знаю это точно, он позже сам сказал об этом, но, если бы и не сказал, я все равно бы знала. Ему нужно было что-то говорить, чтобы не стоять столбом, как болван, каким он выглядел тогда, отлично это сознавая.

— Сударыня, — произнес он, прихрюкивая, как поросенок, — сударыня, вот веер.

Я уже давно держала в руках и веер, и, кстати, себя тоже.

— Сударь, — отозвалась я, и голос мой прозвучал чуть-чуть приглушенно, как чужой, и он мог подумать, что это мой обычный голос, ведь раньше он никогда сго не слышал, — может быть, мне уронить веер еще раз?

И улыбнулась — нет, не искушающе, не соблазнительно, не лучезарно. Улыбнулась только потому, что почувствовала, как краснею. Однако тот румянец был не моим: он вспыхнул на моих щеках, разлился по лицу, окрасил мочки ушей — я все это прекрасно ощущала, но я вовсе не испытывала ни изумления, ни восхищения, ни замешательства перед этим чужим человеком, в сущности, одним из многих, как он, затерянных в толпе придворных; скажу точнее: этот румянец не имел ничего общего со мной, он возник из того же источника, что и знание, которое вошло в меня на пороге залы с первым моим шагом на ее зеркальную гладь, тот румянец был как бы частью придворного этикета — всего, что принято, как веер, криолин, топазы и прическа. И чтоб он не посмел истолковать всего превратно, чтобы показать, как мало значит мой румянец, я улыбнулась, но не ему, а поверх его головы, отмерив как раз такое расстояние, какое отделяет любезность от насмешки. И он захохотал тогда почти беззвучно, как бы про себя, точь-в-точь мальчишка, который знает, что строже всего на свете ему запрещено смеяться, и именно поэтому не в силах удержаться. И от этого смеха мгновенно помолодел.

— Если бы ты дала мне минуту отсрочки, — сказал он, вдруг перестав смеяться, словно протрезвел от новой мысли, — я бы смог придумать ответ, достойный твоих слов, то есть в высшей степени остроумный, но лучшие мысли всегда приходят мне в голову уже на лестнице.

— Неужели ты столь не находчив? — спросила я, сосредоточивая все усилия воли на своем лице и ушах, потому

что меня уже злил тот неуступчивый румянец, который мешал мне чувствовать себя независимой, ведь я догадывалась, что и он был частью того же замысла, с которым король отдавал меня моему предназначению.

— Может быть, мне следует добавить: «Нет ли средства этому помочь?» — продолжала я, — а ты ответишь, что все бессильно перед лицом красоты, чье совершенство способно подтвердить существование Абсолюта. Тогда бы мы посерьезнели на два такта оркестра и с надлежащей ловкостью выбрались бы на обычную придворную почву. Но она, мне кажется, тебе чужда, и, пожалуй, нам лучше так не разговаривать...

Только теперь, когда он услышал эти слова, он меня испугался — и по-настоящему и теперь вправду не знал, что сказать. У него были такие глаза, будто нас обоих подхватило вихрем и несет из этой залы неведомо куда — в пустоту.

— Кто ты? — спросил он жестко. От игры, от волокитства не осталось ни следа — только страх. А я совсем — вот ни капельки — его не боялась, хотя, собственно, должна бы испугаться ощущения, что его лицо, эта угреватая кожа, строптиво взъерошенные брови, большие оттопыренные уши сверяются с каким-то заключенным во мне ожиданием; накладываясь, совпадают словно бы с негативом, который я носила в себе непроявленным и который сейчас вдруг начал пропечатываться. Я не боялась его — даже если в нем был мой приговор. Ни себя, ни его. Однако сила, которую это совпадение освободило во мне, заставила меня вздрогнуть. И я вздрогнула, но не как человек, а как часы, когда их стрелки сошлись и пружина стронулась, чтобы пробить полночь, но первый удар еще не раздался. Этой дрожи не мог заметить никто.

— Кто я, ты узнаешь чуть позднее, — ответила я очень спокойно, раскрыла веер и улыбнулась легкой бледной улыбкой, какими ободряют больных и слабых. — Я бы выпила вина, а ты?

Он кивнул, сился напаялить на себя светскую оболочку, которая была ему не по нутру и не по плечу, и мы пошли по паркету, забрызганному перламутровыми потеками воска, стекавшего с люстры, словно капель, через всю залу, рука об руку — туда, где у стены лакеи разливали вино в бокалы.

В ту ночь я не сказала ему, кто я, потому что не хотела лгать, а истины не знала сама. Истина может быть лишь одна, а я была и дуэнья, и графиня, и сирота — все эти судьбы кружились во мне, и каждая могла бы стать истинной,

признай я ее своей; я уже понимала, что в конце концов мою истину предопределил мой каприз и та, которую я выберу, сдунет остальные, но я продолжала колебаться между этими образами, потому что мне мерещился в них какой-то сбой памяти. Скорее всего, я была молодой особой, страдавшей расщеплением личности, и мне на время удалось вырваться из-под заботливой опеки близких. Продолжая разговор, я думала, что если я и вправду сумасшедшая, то все кончится благополучно, ведь из помешательства можно выйти, как из сна, — и тут, и там есть надежда.

В поздний час, когда мы вместе (а он не отступал от меня ни на шаг) прошли рядом с его величеством за минуту до того, как король вознамерился удалиться в свои апартаменты, я обнаружила, что повелитель даже не взглянул в нашу сторону, и это было страшное открытие. Он не проверял, так ли я держу себя с Арродесом, видимо, это было не нужно, видимо, он не сомневался, что может полностью мне доверять, как доверяют подосланным тайным убийцам, зная, что они не отступят до последнего своего вздоха, ибо их судьба всецело в руке пославшего. Но могло быть и так, что королевское равнодушие должно стереть мои подозрения — раз он не смотрит в мою сторону, значит, я действительно ничего для него не значу, и оттого мои навязчивые домыслы опять склонялись к мысли о сумасшествии. И вот я, безумная и ангельски прекрасная, попиваю вино и улыбаюсь Арродесу, которого король ненавидит как никого другого, — однако он поклялся матери в ее смертный час, что если злая участь и постигнет этого мудреца, то только по собственной его воле. Не знаю, рассказал ли мне это кто-нибудь во время танца, или я это узнала от себя самой, ведь ночь была такая длинная и шумная, огромная толпа то и дело нас разлучала, а мы вновь находили друг друга, неумышленно, словно все здесь были замешаны в этом заговоре, — очевидный бред: не кружились же мы среди механически танцующих манекенов! Я разговаривала со старцами и девицами, завидовавшими моей красоте, различала бесчисленные оттенки благоглупости, столь скорой на зло. Я рассекала и прошивала этих ничтожных честолюбцев и этих девчонок с такой легкостью, что мне даже становилось их жаль.

Казалось, я была воплощением отточенного разума — я блистала остроумием, и оно добавляло блеска моим глазам, хотя из-за тревоги, которая росла во мне, я охотно притворилась бы дурочкой, чтобы спасти Арродеса, но именно этого я как раз и не могла. Увы, я была не столь всесильна.

Был ли мой разум, сама его безупречность подвластны ли? Вот над чем билась я во время танца, выделявая фигуры мснуэта, пока Арродес, который не танцевал, смотрел на меня издали, черным и худой на фоне пурпурной, расшитой львами парчи запавшей. Король удалился, а вскоре распростился и мы. Я не позволяла ему ни о чем спрашивать, а он все пытался что-то сказать и бледнел, когда я повторила «нет» сначала губами, потом только сложением бровей. Выходя из дворца, я не знала, ни где живу, ни откуда пришла, ни куда направляюсь, — знала только, что этого мне не дано, — все мои попытки что-то узнать были напрасны: каждому известно, что нельзя повернуть глазное яблоко так, чтобы зрачок заглянул внутрь черепа.

Я позволила Арродесу проводить меня до дворцовых ворот: позади круга все еще пылавших бочек со смолой был парк, будто высеченный из угля, а в холодном воздухе носился далекий нечеловеческий смех — то ли эти жемчужные звуки издавали фонтаны работы южных мастеров, то ли болтающие статуи, похожие на белесые маски, подвешенные над клумбами. Королевские соловьи тоже пели, хотя слушать их было некому, вблизи оранжерей один из них чернел на огромном диске луны, словно нарисованный. Гравий хрустел у нас под ногами, и золоченные острия ограды шеренгой торчали из мокрой листвы.

Он торопливо и зло схватил меня за руку, которую я не успела вырвать, рядом засияли белые полосы на эполетах гренадеров его величества, кто-то вызывал мой выезд, кони били копытами, фиолетовые отсветы фонаряков блеснули на дверце кареты, упала ступенька. Это не могло быть сном.

— Когда и где? — спросил он.

— Лучше никогда и нигде, — сказала я свою главную правду и тут же быстро и беспомощно добавила: — Я не шучу, приди в себя, мудрец, и ты поймешь, что я даю тебе добрый совет.

То, что я хотела произнести дальше, мне уже не удалось выговорить. Это было так странно: думать я могла все, что угодно, но голос не выходил из меня, я никак не могла добраться до тех слов. Хрип, немота — будто ключ повернулся в замке и засов задвинулся между нами.

— Слишком поздно, — тихо сказал он, спустив голову, — на самом деле, поздно.

— Королевские сады открыты от утреннего до полуденного сигнала. — Я поставила ногу на ступеньку кареты. — Там, где пруд с лебедями, есть старый дуб. Завтра, точно в полдень,

ты найдешь в дупле записку, а сейчас я желаю тебе, чтобы ты каким-нибудь немыслимым чудом забыл, что мы встречались. Если бы я знала как, то помолилась бы за это.

Не к месту было говорить это при страже. И слова были банальные, и мне не дано было вырваться из этой смертельной банальности — я это поняла, когда карета уже покатилась, а он ведь мог истолковать мои слова так, будто я боюсь чувства, которое он во мне пробудил. Так и было: я боялась чувства, которое он возбудил во мне, однако оно не имело ничего общего с любовью, а я говорила то, что могла сказать, словно пробовала, как во тьме, на болоте, пробуют почву под ногой, не заведет ли следующий шаг в трясины. Я пробовала слова, нащупывая дыханием те, что мне удастся вымолвить, и те, что мне сказать не дано. Но он не мог этого знать. Мы расстались ошеломленные, в тревоге, похожей на страсть, ибо так начиналась наша гибель. И я, прелестная, нежная, неискушенная, все же яснее, чем он, понимала, что я его судьба в полном, страшном и неотвратимом значении этого слова.

Коробка кареты была пуста. Я искала тесьму, пришитую к рукаву кучера, но ее не было. Окон тоже не было, может быть, черное стекло? Мрак внутри был такой полный, что, казалось, принадлежал не ночи, а пустоте. Не просто отсутствие света, а ничто. Я шарилась руками по вогнутым, сбитым плоским стенкам, но не нашла ни оконных рам, ни ручки, ничего, кроме изогнутых, мягко выстланных поверхностей передо мной и надо мной; крыша была удивительно низкая, словно меня захлопнули не в кузове кареты, а в трясущемся наклонном футляре. Я не слышала ни топота копыт, ни обычного при езде стука колес. Чернота, тишина и ничто. Тогда я сосредоточилась на себе — для себя я была более опасной загадкой, чем все, что со мной произошло. Память была безотказна. Мне казалось, что все так и должно быть и не могло произойти иначе: я помнила мое первое пробуждение — когда я еще не имела пола, — как чье-то чужое, как преследующий меня кошмарный сон. Я помнила и пробуждение в дверях дворцовой залы, когда я была уже в этой действительности, помнила даже легкий скрип, с которым распахнулись резные двери, и застывшее лицо лакея, служебным рвением превращенного в исполненную почтения куклу, живой восковой труп. Теперь все мои воспоминания слились воедино, но я могла в мыслях вернуться вспять, туда, где я не знала еще, что такое — двери, что — бал и что — я. Меня пронзила дрожь, оттого что

я вспомнила, как первые мои мысли, еще лишь наполовину облеченные в слова, я выражала в формах другого рода — «сознавало», «видело», «вошло», — вот как было, пока блеск залы, хлынув в распахнутые двери, не ударил мне в зрачки и не открыл во мне шлюзы и клапаны, сквозь которые с болезненной быстротой влилось в меня человеческое знание слов, придворных жестов, обаяние надлежащего пола и вкуче с ними — память о лицах, среди которых первым было лицо Арродеса, а вовсе не королевская гримаса. И хотя никто никогда не смог бы мне в точности этого объяснить, я теперь была уверена, что перед королем остановилась по ошибке — я перепутала предназначенного мне с тем, от кого предназначение исходило. Ошибка... но если так легки ошибки — значит, эта судьба не истинная, и я могу еще спастись?

Теперь, в полном уединении, которое вовсе не тревожило меня, а, напротив, было даже удобно, ибо позволяло мне спокойно и сосредоточенно подумать, когда я попыталась познать, кто я, вороша для этого воспоминания, такие доступные — каждое на своем месте, под рукой, как давно знакомая утварь в старом жилище, я видела все, что произошло этой ночью, но резко и ясно — только от порога дворцовой залы.

А прежде? Где я была? Или было?! Прежде? Откуда я взялась? Самая простая и успокаивающая мысль подсказывала, что я не совсем здорова, что я возвращаюсь из болезни, как из экзотического, полного приключений путешествия, — тонкая, книжная и романтическая девушка, несколько рассеянная, со странностями. Оттого что я слишком хрупка для этого грубого мира, мною овладели навязчивые видения, и, видно, в горячечном бреде, лежа на кровати с балдахином, на простынях, обшитых кружевами, я вообразила себе путешествие через металлический ад, а мозговая горячка была мне, наверное, даже к лицу — в блеске свечей, так озаряющих альков, чтобы, когда я очнусь, ничто меня не испугало и чтобы в фигурах, склонившихся надо мной, я сразу бы узнала неизменно любящих меня попечителей... Что за сладкая ложь! У меня были Видения, не так ли? И они, вплавившись в чистый поток моей единой памяти, расщепили ее. Расщепили?... Да, спрашивая, я слышала в себе хор ответов, готовых, ожидающих: дуэнья, Тленикс, Ангелита. Ну и что из этого? Все эти имена были во мне готовы, мне даны, и каждому соответствовали даже образы, как бы единая их цепь. Они сосуществовали так, как сосуществуют корни,

расходящиеся от дерева, и я, без сомнения, единственная и единая, когда-то была множеством разветвлений, которые слились во мне, как ручьи сливаются в речное русло.

«Не могло быть так, — сказала я себе. — Не может быть, я уверена». Но я же видела мою предыдущую судьбу разделенной на две части: к порогу дворцовой залы тянулось множество нитей — разных, а от порога — одна. Картины первой части моей судьбы жили отдельно друг от друга и друг друга отвергали. Дуэнья: башня, темные гранитные валуны, разводной мост, крики в ночи, кровь на медном блюде, рыцари с рожами мясников, ржавые лезвия алебард и мое личико в овальном подслеповатом зеркале, висевшем между рамой мутного окна из бычьего пузыря и резным изголовьем. Может быть, я пришла оттуда?

Но как Ангелита я росла среди южного зноя, и, глядя назад в эту сторону, я видела белые дома, повернувшиеся к солнцу известковыми спинами, чахлые пальмы, диких собак, поливающих пенящейся мочой их чешуйчатые корни, и корзины, полные фиников, слипшихся в клейкую сладкую массу, и врачей в зеленых одеяниях, и лестницы, каменные лестницы спускающегося к заливу города, всеми стенами отвернувшегося от зноя, и кучи виноградных гроздьев, и рассыпанные засыхающие изюмины, похожие на козий помет. И снова мое лицо в воде — не в зеркале: вода лилась из серебряного кувшина, потемневшего от старости. Я помню даже, как носила этот кувшин, и вода, тяжело колыхаясь в нем, оттягивала мне руку.

А как же мое «оно», лежащее навзничь, и то путешествие и поцелуи подвижных металлических змей, проникающие в мои руки, тело, голову, — этот ужас, который настолько теперь потускнел, что вспомнить его я могла лишь с трудом, как дурной сон, не передаваемый словами? Не могла я пережить столько судеб, одна другой противоречащих, — ни все сразу, ни одну за другой! Так что же истинно? Моя красота. Отчаяние и торжество — равно ощутила я, увидев в его лице, как в зеркале, сколь беспощадно совершенство этой красоты. Если бы я в безумии завизжала, брызгая пеной, или стала бы рвать зубами сырое мясо, то и тогда мое лицо осталось бы прекрасным, — но почему я подумала «мое лицо», а не просто «я»? Почему я с собой в раздоре? Что я за существо, не способное достичь единства со своим телом и лицом? Колдунья? Медея? Но подумать такое — уже совершенная несуразица. Мысль моя работала как источенный меч в руке рыцаря с большой дороги, которому нечего

терять, и я легко рассекала ею любой предмет, но эта моя способность тоже показалась мне подозрительной — своим совершенством, чрезмерной холодностью, излишним спокойствием, ибо над моим разумом был страх: и этот страх существовал вне разума — вездесущий, невидимый — сам по себе, и это значило, что я не должна была доверять и своему разуму тоже. И я не стала верить ни лицу своему, ни мысли своей, но страх остался — вне их. Так против чего же он направлен, если помимо души и тела нет ничего? Такова была загадка. А мои предыстории, мои корни, разбегавшиеся в прошлом, ничего мне не подсказывали: их ощупывание было лишь пустой перетасовкой одних и тех же красочных картинок. Северянка ли дуэнья, южанка Ангелита или Миньона — я всякий раз оказывалась другим персонажем, с другим именем, с другим положением, другой семьей. Ни одна из них не могла возобладать над прочими. Южный пейзаж каждый раз возникал в моей памяти, переслащенный театральным блеском торжественной лазури, и если бы не эти шелудивые псы и не полуслепые дети с запекшимися веками и вздутыми животиками, беззвучно умирающие на костлявых коленях закутанных в черное матерей, это пальмовое побережье показалось бы слишком гладким, скользким, как лодка. А север моей дуэньи: башни в снеговых шапках, бурое клубящееся небо и особенно зимы — снеговые фигуры на кручах, выдумки ветра, извилистые змеи поземки, ползущей из рва по контрфорсам и бойницам, белыми озерами растекающейся на скале у подножия замка, и цепи подъемного моста, плачущие ржавыми слезами сосуллек. А летом — вода во рву, которая покрывалась ряской и плесенью, — как хорошо я все это помнила!

Но было же и третье прошлое: большие, чопорные подстриженные сады, садовники с ножницами, своры борзых и черно-белый дог, как арлекин на ступенях трона, скупающая скульптура — лишь движение ребер нарушало его грациозную неподвижность, да в равнодушных желтых глазах поблескивали, казалось, уменьшенные отражения катарий или некроток. И эти слова — «некротки», «катарии» — сейчас я не знала, что они значили, но когда-то должна была знать. И теперь, вглядываясь в это прошлое, забытое, как вкус изжеванного стебелька, я чувствовала, что не должна возвращаться в него глубже — ни к туфелькам, из которых выросла, ни к первому длинному платью, вышитому серебром, будто бы и в ребенке, которым я когда-то была, тоже спрятано предательство. Оттого я вызвала в памяти

самое чуждое и жестокое воспоминание — как я, бездыханная, лежа навзничь, путешествовала, цепenea от поцелуев металла, издававшего, когда он касался моего тела, лязгающий звук, словно оно было безмолвным колоколом, который не может зазвенеть, пока в нем нет сердца. Да, я возвращалась в невероятное — в бредовый кошмар, уже не удивляясь тому, как прочно он засел в моей памяти, — конечно, это мог быть только бред, и, чтобы поддержать в себе эту уверенность, я робко стала ошупывать, только самыми кончиками пальцев, свои мягкие предплечья, грудь — без сомнения, то было наитие, которому я поддавалась, дрожа, будто входила, запрокинув голову, под ледяные струи отрезвляющего дождя.

Нигде не было ответа, и я попятилась от этой бездны — моей и не моей. И тогда я вернулась к тому, что тянулось уже единой нитью. Король, вечер, бал и тот мужчина. Я сотворена для него, он — для меня, я знала это, и снова — страх. Нет, не страх, а ощущение рока, чугуновой тяжести предназначения, неизбежного, неотвратимого: знание, подобное предчувствию смерти, знание, что уже нельзя отказаться, уйти, убежать, даже погибнуть, — погибнуть *иначе*. Я тонула в этом леденящем предчувствии, оно душило меня. Не в силах вынести его, я повторяла одними губами: «отец, мать, родные, подруги, близкие»; я прекрасно понимала смысл этих слов, и они послушно воплощались в знакомые фигуры: мне приходилось признавать их своими, но нельзя же иметь четырех матерей и столько же отцов сразу — опять этот бред, такой глупый и такой назойливый! Наконец я прибегла к арифметике: один и один — два, от отца и матери рождаются дети — ты была ими всеми, это память поколений. «Нет, либо я прежде была сумасшедшей, — сказала я себе, — либо я больна сейчас, и, хоть я и в сознании, душа моя помрачена. И не было бала, замка, короля, вступления в мир, который бы подчинялся заранее установленной гармонии». Правда, я тотчас ощутила горечь от мысли, что если так, я буду вынуждена распроститься с моей красотой. Что ж, из элементов, которые не подходят друг другу, я ничего не построю — разве только найду в постройке перекося, протиснусь в трещины и раздвину их, чтобы войти внутрь. Вправду ли все произошло так, как должно было случиться? Если я собственность короля, то как я могла об этом знать? Ведь мысль об этом даже и во сне должна быть для меня запретной. Если за всем этим стоит он, то почему, когда я хотела ему поклониться, я поклонилась

не сразу? И если все готовилось так тщательно, то почему я помню то, чего мне не следует помнить? Отзовись во мне только одно мое прошлое, девичье и детское, я не впала бы в душевный разлад, который вел к отчаянию, а затем — к бунту против судьбы. И уж наверняка надлежало стереть воспоминание о том путешествии навзничь, о себе безжизненной и о себе оживающей от искровых поцелуев, о безмолвной наготе, но и это тоже осталось и было сейчас во мне. Не закралось ли в замысел и в исполнение некое несовершенство? Небрежность, рассеянность и — неподвиженные утечки, которые теперь принимаются за загадки или дурной сон? Но в таком случае была надежда. Ждать, чтобы в дальнейшем осуществлении замысла нагромодились новые несообразности, чтобы обратить их в жало, нацеленное на короля, на себя, все равно на кого — только бы наперекор навязанной судьбе. А может быть, поддаться колдовству, жить в нем, пойти с самого утра на условленное свидание — я знала, что ЭТОГО мне никто не воспретит, наоборот, все будет направлять меня именно туда. А то, что было сейчас вокруг меня, раздражало своей примитивностью — какие-то стенки: сначала обивка, мягко поддающаяся под пальцами, под ней сопротивление стали или камня — не знаю чего, но ведь я могу разодрать ногтями эту уютную упаковку!.. Я встала, коснулась головой вогнутой крыши: вот что вокруг меня и надо мной, и вот внутри — я... Я — *единая?*..

Я продолжала отыскивать противоречия в мучительном моем самопознании, и по мере того, как мысли скачками надстраивались, этаж над этажом, я приблизилась уже к тому, что пора усомниться и в самом суждении, что если я — безумная русалка, заключенная, как насекомое, в прозрачном янтаре, в моем *obnubulacio lucida*^{*}, то понятно, что...

Постой. Минутку. Откуда взялась у меня такая изысканно отточенная лексика, эти ученые латинские термины, логические посылки, силлогизмы, эта изощренность, не свойственная очаровательной девушке, чье назначение воспламенять мужские сердца? И откуда это равнодушие в делах любви, рассудочность, отчужденность: ведь меня любили — наверное, уже бредили мною, жаждали видеть, слышать мой голос, коснуться моих пальцев, а я изучала эту страсть, как препарат под стеклом, — не правда ли, это удивительно, противоречиво и несинкатегориматично? Но может, мне все только пригрезилось и конечной истиной был

* Здесь: явное помрачение рассудка (лат.).

старый холодный мозг, запутавшийся в опыте бесчисленных лет? И может, одна только обостренная мудрость и была единственным моим настоящим прошлым: я возникла из логики, и лишь она творила мою истинную генеалогию?..

И я не верила в это. Да, я страшно виновна и вместе с тем невинна. Во всех ветвях моего завершеного прошлого, сбежавшихся к моему единому настоящему, я была невинна — там я была девочкой, хмурым молчаливым подростком в серо-седых зимах и в жаркой духоте дворцов; я была неповинна и в том, что произошло здесь, у короля, потому что я не могла быть иной; а жестокая моя вина состояла только в том, что, уже во всем хорошо разобравшись, я уверила себя, что все это мишура, фальшь, накипь, и в том, что, желая погрузиться в глубь своей тайны, я испугалась этого погружения и испытывала подлую благодарность к невидимым препятствиям, которые удерживали меня от него. Душа моя была одновременно грешной и праведной, но что-то у меня еще осталось? О, конечно, осталось. У меня было мое тело, и я стала ощупывать его, исследовать в этом черном замкнутом пространстве, как опытный криминалист изучает место преступления. Странное расследование! Отчего, прикасаясь к своему телу, я ощущала в пальцах легкое щекочущее онемение — кажется, это был мой страх перед собой? Но я же была прекрасна, и мои мышцы были проворны и пружинисты. Сжав руками свои бедра, словно они были чужими, — так никто себе их не сжимает, — в отчаянном усилии, я смогла под гладкой ароматной кожей прощупать кости, но внутренней стороны предплечий — от локтей до запястий — я почему-то боялась коснуться.

Я попыталась одолеть сопротивление: что же могло там быть? Руки у меня были закрыты жесткими кружевными рукавами — ничего не разобрать. Тогда — шея... Такие называют лебедиными. Голова, посаженная на ней с врожденной естественной грацией, с гордостью, внушающей почтение, мочки ушей, полуприкрытых локонами, — два упругих лепестка без украшений, непроколотые — почему? Я касалась лба, щек, губ. Их выражение, открытое мне кончиками пальцев, сноза меня беспокоило. Оно было не таким, как мне представлялось. Чужим. Но отчего я могла быть чужой для себя, как не от болезни?

Исподтишка, как маленький ребенок, замороченный сказками, я все же провела пальцами от запястья к локтю — и ничего не поняла. Кончики пальцев сразу онемели, будто мои сосуды и нервы что-то стиснуло, я тотчас вернулась к

прежним подозрениям: откуда я все знаю, зачем исследую себя, как анатом? Это не дело девушки: ни Ангелиты, ни светловолосой дуэньи, ни поэтичной Тленикс. И в то же время я ощутила настойчивое успокаивающее внушение: «Все хорошо, не удивляйся себе, капризуля, ты была немножко не в себе, не возвращайся туда, выздоравливай, думай лучше о назначенном свидании...» Но все же, что там — где локти и запястья?.. Я нащупала под кожей как бы твердый комочек. Набухший лимфатический узел? Склеротическая бляшка? Невозможно. Это не вязалось с моей красотой, с ее непогрешимым совершенством. Но ведь затвердение там было: маленькое — я его прощупывала только при сильном нажиме — там, где щупают пульс, и еще одно — на сгибе локтя.

Значит, у моего тела была своя тайна, и оно своей странностью соответствовало странности духа, его страхам и самоуглубленности, и в этом была правильность, соответствие, симметрия. Если там, то и здесь. Если разум, то и органы. Если я, то и ты... Я и ты... Всюду загадки — я была измучена, сильная усталость разлилась по моему телу, и я должна была ей подчиниться. Уснуть, впасть в забытие — в другой, освобождающий мрак. И тут меня вдруг пронизала решимость назло всему устоять перед соблазном, воспротивиться заключавшему меня ящику этой изящной кареты — кстати, внутри не столь уж изящной, — и этой душонке рассудительной девицы, вдруг слишком далеко зашедшей в своем умничанье! Протест против воплощенной красоты, за которой скрываются тайные стигматы. Так кто же я? Сопротивление мое переросло в буйство, в бешенство, от которого моя душа горела во мраке так, что он, казалось, начал светлеть. *Sed tamen potest esse totaliter aliter...* — что это, откуда? Дух мой? *Gratia? Dominus meus?**

Нет, я была одна, и я — единая, сорвалась с места, чтобы ногтями и зубами впиться в эти мягко усталые стены, рвала обивку, ее сухой, жесткий материал трещал у меня в зубах, я выплевывала волокна вместе со слюной — ногти ломаются, ну и ладно, вот так, не знаю, против кого, себя или еще кого-то, только нет, нет, нет, нет...

Что-то блеснуло. Передо мной вынырнула из тьмы как бы змеинная головка, но она была металлической. Игла? Да, что-то укололо меня в бедро с внутренней стороны, повыше

* Однако в целом все может быть иным... Благодать? Мой Бог? (лат.).

колена: это была слабая недолгая боль, укол — и за ним ничто.

Ничто.

Сумрачный сад. Королевский парк с поющими фонтанами, живыми изгородями, подстриженными на один манер, геометрия деревьев и кустов, лестницы, мрамор, раковины, амур. И мы вдвоем. Банальные, обыкновенные, но романтические и полные отчаяния. Я улыбалась ему, а на бедре носила знак. Меня укололи. И теперь мой дух, против которого я бунтовала, и тело, которое я уже ненавидела, получили союзника, — правда, он оказался недостаточно искусным: сейчас я уже не боялась его, а просто играла свою роль. Конечно, он все же был настолько искусен, что сумел навязать мне ее изнутри, прорвавшись в мою твердыню. Но искусен не совсем — я видела его сети. Я не понимала еще, в чем цель, но я уже ее увидела, почувствовала, а тому, кто увидел, уже не так страшно, как тому, кто вынужден жить одними домыслами. Я так устала от своих метаний, что даже белый день раздражал меня своей пасмурной торжественностью и панорамой садов, предназначенных для лицемерия его величества, а не зелени. Сейчас я предпочла бы этому дню ту мою ночь, но был день, и мужчина, который ничего не знал, ничего не понимал, жил обжигающей сладостью любовного помешательства, наваждением, насланным мною — нет, кем-то третьим. Силки, западня, ловушка со смертельным жалом, и все это — я? И для этого — струи фонтанов, королевские сады, туманные дали? Глупо. О чьей гибели речь, о чьей смерти? Разве не достаточно подставных свидетелей, старцев в париках, виселицы, яда? Что же ему еще? Отравленные интриги, какие подобают королям?

Садовники в кожаных фартуках, поглощенные куртинами всемогущественнейшего монарха, нас не замечали. Я молчала — так мне было легче. Мы сидели на ступенях огромной лестницы, сооруженной будто для гиганта, который сойдет когда-нибудь с заоблачных высот только для того — специально, — чтобы воспользоваться ею. Символы, втиснутые в нагих амуров, фавнов, силенов — в осклизлый, истекающий водой мрамор, — были так же мрачны, как и серое небо над ними. Идиллическая пара — прямо Лаура и Филон, но столько же здесь было и от Лукреции!

...Я очнулась здесь, в этих королевских садах, когда моя карета отъехала, и пошла легко, как будто только что выпорхнула из ванны, источающей душистый пар, и платье

на мне было уже другое, весеннее, своим затуманенным узором оно робко напоминало о цветах, намекало на девичью честь, окружало меня неприкосновенностью *Eos Rhododaktilos*^{*}, но я шла среди блестящих от росы живых изгородей уже с клеймом на бедре, к которому не могла прикоснуться, да в этом и не было нужды, довольно того, что оно не стиралось в памяти. Я была плененным разумом, закованным уже с пеленок, рожденным в неволе, и все-таки разумом. И поэтому, пока мой суженый еще не появился и поблизости не было ни чужих ушей, ни той иглы, я, как актриса перед выходом на сцену, пыталась пробормотать про себя те слова, которые хотела сказать ему, и не знала, удастся ли мне их произнести при нем, — я пробовала границы своей свободы, ощупью исследуя их при свете дня.

Что особенного было в этих словах? Только правда: сначала о перемене грамматической формы, потом — о множестве моих плюсквамперфектов, обо всем, что я пережила, и о жале, усмирившем мой бунт. Отчего я хотела рассказать ему все — из сострадания, чтобы не погубить его? Нет, ибо я его совсем не любила. Но чтобы предать чужую, злую волю, которая нас свела. Ведь так я скажу? Что хочу, пожертвовав собой, избавить его от себя — как от погибели?

Нет, все было иначе. Была еще и любовь — я знаю, что это такое. Любовь пламенная, чувственная и в то же время пошленькая — желание отдать ему душу и тело лишь постольку, поскольку этого требовал дух моды, обычай, стиль придворной жизни, — о, как-никак, а все же чудесный галантный грешок! Но то была и очень большая любовь, вызывающая дрожь, заставляющая колотиться сердце, я знала, что один вид его сделает меня счастливой. И в то же время — любовь очень маленькая, не преступающая границ, подчиненная стилю, как старательно приготовленный урок, как этюд на выражение мучительного восторга от встречи наедине. И не это чувство побуждало меня спасти его от меня или не только от меня, ибо, когда я переставала рассуждать о своей любви, он становился мне совершенно безразличен, зато мне нужен был союзник в борьбе с тем, кто ночью вонзил в меня ядовитый металл. У меня никого больше не было, а он был мне предан безоглядно, и я могла на него рассчитывать. Однако я знала, что он пойдет на все лишь

^{*} Рсозоперстой Эсс (греч.).

ради своей любви ко мне. Ему нельзя было доверить мой *reservatio mentalis*^{*}. Оттого я и не могла сказать ему всей правды: что и моя любовь к нему, и яд во мне — из одного источника. И потому мне мерзки оба, и предназначивший, и предназначенный, и я обоих ненавижу и обоих хочу растоптать, как тарантулов. Не могла я ему этого выдать: он-то в своей любви, конечно, был как все люди, и ему не нужно было такое мое освобождение, которого жаждала я, — такой моей свободы, которая сразу сбросила бы его прочь. Я могла действовать только ложью — называть свободу фальшивым именем любви, ибо только так можно его убедить, что я — жертва неведомого. Короля? Но даже если бы он посягнул на его величество, это бы меня не освободило: король если и был на самом деле виновником всему, то таким давним, что его смерть ни на волос не отдалила бы моего несчастья. Чтобы проверить себя, способна ли я убеждать, я остановилась у статуи Венеры Каллипиги, чья нагота воплотила в себе символы высших и низших страстей земной любви, и принялась в одиночестве готовить свою чудовищную весть, мои обличения, оттачивая доводы до кинжальной остроты.

Мне было очень трудно. Я все время натыкалась на непреодолимую преграду, я не знала, когда мой язык сведет судорога, на чем споткнется мой дух, потому что и дух мой тоже был моим врагом. Не во всем лгать, но и не касаться сути истины, средоточия тайны... Я лишь могла постепенно уменьшать ее радиус, приближаясь как бы по спирали. Но когда я увидела издали, как он шел, а потом почти побежал ко мне — маленькая еще фигурка в темной пелерине, — я поняла, что ничего не выйдет: в рамках галантного стиля мне не удержаться. Что это за любовная сцена, в которой Лаура признается Филону в том, что она — приготовленное для него орудие пытки? Даже если бы путем иносказаний я преодолела бы мое заклятие, все равно бы я снова обратилась в ничто, из которого возникла. И вся его мудрость была здесь ни к чему. Прелестная дева, которая считает себя орудием тайных сил и бормочет о каких-то системах, о стигматах, о заклятиях, — да если она говорит *так* и о *таких* вещах, то, право, эта девица помешана. Ее слова свидетельствуют не об истине, а лишь о галлюцинациях, и потому она достойна не только любви и преданности, но и жалости. Движимый этими чувствами, он, может быть, и сделает вид, будто поверил

* Мысленный тайник (лат.).

всему, что услышал, опечалится, станет уверять, что готов погибнуть, но освободить, а сам кинется за советами к докторам и по всему свету разнесет весть о моей беде, — я уже сейчас готова была его оскорбить. При таком сочетании сил, конечно же, чем надежнее союзник, тем меньше он может рассчитывать на исполнение надежд как любовник: во имя своего счастья он наверняка не захочет отказаться от роли любовника, ведь его-то безумие нормальное, крепкое, солидное, последовательное: любить, ах, любить, острые камни на моем пути раздробить в мягкий песок, но только не играть в анализ чудовищной загадки — «откуда берет начало мой дух»?

И получалось, что если я создана ему на погибель, то он должен погибнуть. Я не знала, какая часть меня ужалит его в объятии: локти? запястья? — это было бы слишком просто. Но я уже знала, что иначе быть не может. Теперь мне надо было пойти с ним по тропинкам, улаждающим взор творениями мастеров паркового искусства; мы сразу же удалились от Венеры Каллипиги, ибо откровенность, с которой она выставляла напоказ свою суть, была неуместна на раннеромантической стадии наших платонических вздохов и робких надежд на счастье. Мы прошли мимо фавнов, тоже откровенных, но на свой лад — каменная плоть этих кудлатых мраморных самцов не задевала моей ангельской натуры, настолько целомудренной, что они не смущали меня даже вблизи, — я была вправе не понимать их поз. Он поцеловал мою руку — как раз то место, где было загадочное затвердение: губами он не мог его почувствовать. А где притаился мой укротитель? Наверное, в ящике кареты. Но может быть, я прежде должна добыть для него какие-то секреты, словно волшебный стетоскоп, приложенный к груди осужденного мудреца. Я ничего не смогла рассказать Арродесу.

В два дня наш роман прошел все подобающие стадии. Я жила с кучкой верных слуг в поместье, расположенном в четырех почтовых станциях от резиденции короля. Флёбе, мой дворецкий, снял особняк на следующий же день после свидания в саду, ни словом не обмолвившись, во что это обошлось, а я, ничего не понимающая в денежных делах девушка, ни о чем не спрашивала. Помнится, он меня побаивался и злился на меня — видимо, не был посвящен в суть дела, даже наверняка не был, просто выполнял королевский приказ: на словах — сама почтительность, а в

глазах нескрываемое презрение, — скорей всего, он принял меня за новую королевскую пассию, а моим прогудкам и свиданиям с Арродесом не слишком удивлялся — умный слуга не станет требовать, чтобы король строил свои отношения с наложницей по схеме, привычной для него, слуги. Полагаю, если бы при нем я вздумала обниматься с крокодилом, он бы и тогда глазом не моргнул. Я была свободна во всем, что не перечило королевской воле, однако сам монарх не показался там ни разу. И я уже убедилась, что есть слова, которых я никогда не скажу своему суженому, ибо язык у меня тотчас немел при одном лишь желании произнести их и губы деревезели, совсем как пальцы, когда я пробовала ощупывать себя в ту ночь в карете. Я твердила Арродесу, чтоб он не смел посещать меня, а он объяснял это, как все люди, простой боязнью оказаться скомпрометированной п, как человек порядочный, старался держаться осторожней.

На третий день вечером я наконец отважилась узнать, кто я. Оставшись одна в спальне, я сбросила пеньюар и стала перед зеркалом — нагая статуя. Серебряные иглы и стальные ланцеты, разложенные на подзеркальнике, я прикрыла бархатной шалью, так как боялась их блеска, хоть и не боялась их лезвий. Высоко посаженные груди смотрели вверх и в стороны розовыми сосками, след укола на бедре исчез. Обдумывая операцию, точно акушер или хирург, я обеими руками мяла это белое гладкое тело так, что ребра прогибались, но живот, выпуклый, как у женщины с готической картины, не поддавался, и под его теплой, мягкой оболочкой я ощутила неуступчивую твердость. Проведя ладонями сверху вниз, я нащупала и очертила в своем чреве овальный предмет. Поставив по обе руки от себя по шесть свечей, я кончиками пальцев взяла ланцет, самый маленький, но не из страха, а только потому, что он был изящнее других. В зеркале все выглядело так, будто я собираюсь пронзить себя ножом, — чистой воды финальная сцена из трагедии, выдержанная в едином стиле до последней мелочи: широкое ложе с балдахином, два ряда высоких свечей, блеск стали в моей руке и моя бледность, потому что тело мое страшилось и колени подкашивались, и только рука, державшая скальпель, сохраняла необходимую твердость. Именно туда, где овальный неподатливый предмет прошупывался всего явственней, чуть пониже грудины, я с силой вонзила ланцет. Боль была мгновенной и слабой, а из разреза выступила всего лишь капля крови. Не обладая умением

мясника, я аккуратно, как анатом, рассекла тело от грудины до лона — правда, сжав зубы и зажмурившись. Смотреть было уже сверх моих сил. Однако я стояла, теперь уже не дрожащая, а только похолодевшая, и мое дыхание, судорожное, как у астматика, звучало сейчас в комнате, будто чужое, будто доносившееся извне. Рассеченная белокожая оболочка разошлась, и я увидела в зеркале свернувшееся серебряное тело — как бы огромный плод, скрытую во мне блестящую куколку, обрамленную розовыми складками некровоточащей плоти. Это было чудовищно — так себя видеть! Я не отваживалась коснуться серебристой поверхности, чистейшей, безупречной. Овальное туловище сияло, отражая уменьшенные огоньки свечей. Я пошевелилась и тут же увидела его ножки, прижатые в утробной позе, — тонкие, раздвоенные, как щипцы, они исходили из моего тела, и я вдруг поняла, что это «оно» не было чужим, инородным — оно тоже было мною. Вот почему, ступая по мокрому песку, я оставляла такие глубокие следы, почему я была такой сильной: «Это же — я, это снова — я», — повторяла я мысленно, когда вдруг вошел Арродес.

Я оставила двери незапертыми — такая неосторожность! И он прокрался ко мне, неся перед собой, как оправдание и щит, огромный букет красных роз, вошел и так был зачарован собственной дерзостью, что, когда я обернулась с криком ужаса, он, все уже увидев, ничего не осознавал, не понимал, не мог... Не от испуга, а только от огромного стыда, душившего меня, я еще пыталась хотя бы прикрыть руками серебряный овал, но он был слишком велик, а разрез слишком широк, чтобы это удалось.

Его лицо, беззвучный крик и бегство... От этой части показаний прошу меня освободить. Не мог дожидаться позволения, приглашения и вот пришел с цветами, а дом был пуст. Я же сама отослала всех слуг, чтобы никто не помешал задуманному мной, — у меня уже не было выбора, не было другого пути. А быть может, в него уже закралось первое подозрение? Я вспомнила, как вчера днем мы переходили через русло высохшего ручья и как он хотел перенести меня на руках, а я запретила ему, но не из стыдливости, истинной или притворной, а потому, что это было запрещено. А он тогда заметил на мягком податливом песке следы моих ног, такие маленькие и такие глубокие, и хотел что-то сказать, наверное, какую-нибудь невинную шутку, но смолчал, знакомая морщинка меж бровями стала резче — и, взбираясь на противоположный берег, вдруг не протянул мне руки.

Может быть, уже тогда... И еще: когда уже на самой вершине холма я споткнулась и, ухватившись, чтобы сохранить равновесие, за толстую ветку орешника, почувствовала, что вот-вот выворочу весь куст с корнями, — я опустилась на колени, отпустив сломанную ветвь, чтобы не выдать моей неодолимой силы. Он тогда стоял, повернувшись боком, не глядя на меня, но, мне казалось, все увидел краешком глаза — так из-за подозрений прокрался он сюда или от неудержимой страсти?

Теперь уже все равно.

Сочленениями своих щупальцев я оперлась на края открытого настежь тела, чтобы наконец освободиться, и проворно высунулась наружу, и тогда Тленикс, Дуэнья, Миньона сперва опустилась на колени, потом рухнула на бок, и, распрямляя все свои ноги и неторопливо пятясь, словно рак, я выползла из нее. Свечи сияли в зеркале, и пламя их еще колебалось от сквозняка, поднятого его бегством. Обнаженная лежала неподвижно, непристойно раскинув ноги. Не желая прикасаться к ней, моему кокону, моей фальшивой коже, я обошла ее стороной и, откинув корпус назад, поднялась, как богомол, и посмотрела на себя в зеркало. «Это я, — сказала я себе без слов. — Это все еще я». Обводы гладкие, жестокрылые, насекомоподобные; утолщения суставов, холодный блеск серебряного брюшка; бока обтекаемые, созданные для скорости; темная, пучеглазая голова. «Это я», — повторяла я про себя, будто заучивала на память, и тем временем затуманивались и гасли во мне многократные мои прошлые: Дуэнья, Тленикс, Ангелиты. Теперь я могла их вспоминать только как давно прочитанные книжки из детства с неважным и уже бессильным содержанием. Медленно поворачивая голову, я пыталась разглядеть в зеркале свои глаза и, хотя еще не совсем освоилась со своим новым воплощением, уже понимала, что к этому акту самоизвлечения я пришла вовсе не по своей воле — он был заранее предусмотренной частью некоего плана, рассчитанной именно на такие обстоятельства — на бунт, которому надлежало быть прелюдией к полной покорности. Я и теперь могла мыслить с прежней быстротой и свободой, но зато была подчинена моему новому телу — в его сверкающий металл были впечатаны все действия, которые мне предстояло совершить.

Любовь угасла. Гаснет она и в вас, только годами и месяцами, а я пережила такой же закат чувства за несколько минут — и то было уже третье по счету мое *начало*, и тогда,

издавая легкий плавный шорох, я трижды обежала комнату, то и дело притрагиваясь вытянутыми усиками к крозати, на которой мне уже не суждено отдыхать. Я вбирала в себя запах моего нелюбовника, чтобы пуститься по его следу и померяться силами в этой новой и, назерное, последней игре. Начало его панического бегства было обозначено распахнутыми одна за другой дверями и рассыпанными розами. Их запах мог мне помочь, потому что он, хотя бы на время, стал частью его запаха. Комнаты, сквозь которые я пробегала, я теперь видела снизу вверх — в новой перспективе, и они казались мне слишком большими, наполненными неудобными, лишними вещами, которые враждебно темнели в полумраке. Потом мои коготки слабо заскрежетали по ступенькам каменной лестницы, и я выбежала в сырой и темный сад. Пел соловей — теперь мне это показалось забавным: сей реквизит был ненужен, следующий акт спектакля требовал нового. С минуту я рыскала между кустами, слыша, как хрустит гравий, брызжащий из-под моих ног, описала круг, другой и помчалась напрямик, взяв след. Не взять его я не могла — я выудила его из невероятной мешанины тающих запахов, изалекла из колебаний воздуха, рассеянного Арродесом на бегу, каждую его частичку, еще не развеянную ветром, и так выпла на предначертанный мне путь, который с этой минуты стал моим до конца.

Не знаю, по чьей воле я дала Арродесу столь большую фору и, вместо того чтобы идти по следу, до самого рассвета рыскала по королевским садам. В этом мог быть скрыт известный смысл, ибо я кружила там, где мы прогуливались рука об руку между живыми изгородями, и могла хорошенько впитать его запах, чтобы наверняка не спутать с другими. Правда, проще было сразу за ним помчаться и захватить его, беспомощного, в полном замешательстве и отчаянии, но я этого не сделала. Знаю, все мое поведение в ту ночь можно объяснить по-разному: и моей скорбью, и королевской волей. Я потеряла возлюбленного и взамен обрела лишь гонимую дичь, а монарху мало было одной лишь гибели ненавистного ему человека, притом быстрой и внезапной. Арродес, наверное, тем временем помчался не к себе домой, а к кому-то из друзей, чтобы там в сумбурной исповеди, самому себе задавая вопросы и на них отвечая, до всего дойти своим умом: чье-то присутствие было ему все-таки необходимо, но только как отрезвляющая поддержка. В моих скитаниях по садам ничего, однако, не было от мучений разлуки. Я знаю, как

неприятно это прозвучит для душ чувствительных, но, не имея ни рук, чтобы их заламывать, ни слез, чтобы их проливать, ни колен, на которые могла бы пасть, ни губ, чтобы прижать к ним увядшие цветы, я не впадала в отчаяние. Тогда меня куда больше занимало необычайное умение различать следы, которое вдруг во мне открылось. Ведь когда я пробегала по аллеям, меня ни разу, ни на волос не сбил чужой обманчивый след, пусть даже и очень схожий с тем, что стал моей приманкой и моим кнутом. Я ощущала, как каждая частица воздуха просасывается в моем левом легком сквозь лабиринты бесчисленных испытующих клеток и как каждая подозрительная частичка попадает в мое правое, горячее легкое, где мой внутренний призматический глаз внимательно всматривается в нее, чтобы подтвердить правильность отбора или отшвырнуть прочь как ненужную, и все это свершается быстрее взмаха крылышек мошки, быстрее, чем вы смогли бы осознать. На рассвете я покинула королевские сады. Дом Арродеса стоял пустой — двери настежь, и там, не помыслив даже проверить, взял ли он с собой какое-нибудь оружие, я отыскала новый след и пустилась по нему уже без проволочек. Я не рассчитывала, что путешествие будет долгим, однако дни сложились в недели, недели в месяцы, а я все еще за ним гналась.

И все мои поступки вовсе не казались мне более мерзкими, чем поведение других существ, направляемых жребием, свыше им предначертанным.

Я бежала в дождь и в жару через луга, овраги и заросли, сухой тростник хлестал по моему туловищу, а вода ручьев и луж, через которые я неслась напрямик, обдавала меня и скатывалась по выпуклой спине, по голове и глазам крупными, как слезы, каплями, но это были не слезы. В своем непрерывном беге я видела, что каждый, кто замечал меня еще издали, тотчас отворачивался и становился лицом к стене или к дереву, а если рядом ничего не было, падал на колени, закрыв руками лицо, или валился ничком и долго еще лежал, хотя я была уже далеко. Мне не нужен был сон, и потому я бежала и ночью, и днем через деревни, селения, местечки, через рынки, полные плодов, вялившихся на веревках, и глиняных горшков, и целые толпы селян разбегались передо мной врассыпную, и дети с визгом бросались в боковые улочки, а я, ни на что не обращая внимания, мчалась по назначенному мне следу. Я уже позабыла лицо того человека, и мое сознание, видимо, менее выносливое, чем тело,

сужалось — особенно во время ночного бега — настолько, что я уже не знала, кого преследую и вообще преследую ли кого-то: знала только, что единственная воля моя — мчаться так, чтобы запах, ведущий меня в этом буйном половодье мира, сохранялся и усиливался, ибо, если он ослабевал, это значило, что я сбилась с верного пути. Я никого ни о чем не спрашивала, да и меня никто не отваживался бы о чем-либо спросить. Пространство, разделявшее меня и тех, кто съезживался у стен при моем появлении или падал наземь, закрывая руками затылок, было полно напряженного молчания, и я воспринимала его как положенную мне почтительную дань ужаса, ибо я шла королевским путем, наделенная беспредельным могуществом. И разве лишь маленький ребенок, которого родители не успели подхватить на руки при моем внезапном появлении, принимался плакать, но мне было не до него, потому что моей воле надлежало неустанно быть предельно собранной, сосредоточенной, разом обращенной и наружу, в зеленый, песчаный, каменистый мир, окутанный голубой дымкой, и в мой внутренний мир, где в четкой работе обеих моих легких рождалась музыка молекул, прекрасная, совершенная в своей безошибочности. Я пересекала реки и рукава лиманов, пороги, илистые впадины высыхающих озер, и всякая тварь бежала меня, уносясь скачками или лихорадочно зарываясь в спекшийся грунт, но, вздумай я на них поохотиться, бегство было бы напрасным, ибо никто из них не был так молниеносно проворен, как я, но что мне до них — косматых, четвероногих, длинноухих тварей, издающих писк, вой или хриплое ржание, — ведь у меня была иная цель...

Иногда я, как снаряд, пробивала большие муравейники — их обитатели, рыжие, черные, пятнистые, бессильно скатывались по моему сверкающему панцирю, а раза два какие-то существа, несравненно крупнее других, не уступили мне дорогу — я ничего против них не имела, но, чтобы не тратить времени на обход окружным путем, я сжималась в прыжке и на лету прошивала их насквозь под треск костей и бульканье красных струек, брызгавших мне на спину и на голову, и удалялась так быстро, что даже не успевала подумать о смерти, причиненной таким внезапным и быстрым ударом. Помню также, как пробиралась через поля сражений, беспорядочно усеянные множеством серых и зеленых мундиров — одни еще шевелились, а из других уже торчали кости, грязно-белые, как подтаявший снег, но я ни на что не

обращала внимания, и у меня была высшая цель, и она была под силу только мне.

Из того, как след вился, петлял, пересекал сам себя, из того, как он почти исчезал на берегах соленых озер в пережженной солнцем пыли, раздражавшей мои легкие, или смытый дождями, я постепенно пришла к выводу, что тот, кто ускользает от меня, изворотлив и хитер и идет на все, чтобы ввести меня в заблуждение и оборвать цепочку частиц, отмеченных признаком единства. Если бы тот, кого я преследовала, был простым смертным, я бы настигла его по истечении предопределенного времени, того, какое необходимо, дабы страх и отчаяние в должной мере усугубили назначенную ему кару, — тогда бы я наверняка догнала его благодаря своей неутомимой скорости и безошибочной работе сыщицких легких — и уничтожила быстрее, чем успела бы это осознать. Но я не стала наступать ему сразу на пятки: я шла по хорошо остывшему следу, чтобы насладиться своим мастерством, а вместе с тем по исконному обычаю дать гонимому время накопить в себе отчаяние, но порой позволяла ему хорошенько оторваться, потому что, чувствуя мою неотступную близость, он в безысходной тоске мог учинить над собою зло и тем самым ускользнуть от меня и от воздаяния, которое я ему несла. Мне надо было настичь его не слишком быстро и совсем не внезапно, ибо он должен был прочувствовать все, что его ожидает. А потому я по ночам останавливалась, укрываясь в чащах не для отдыха, который мне не был нужен, а для умышленных проволочек и для того, чтобы рассчитать дальнейшие действия. Я уже не думала о преследуемом как об Арродесе, моем бывшем возлюбленном, — память об этом почти зарубцевалась, и ее не стоило тревожить. Я жалела только, что теперь лишена дара усмехаться, хотя бы при воспоминаниях о бывших фортелях, сиречь Ангелите, дуэнье, сладостной Миньон. И я разглядывала себя лунными ночами в зеркале воды, чтобы убедиться, что ныне ничем на них не похожа, хотя и осталась красивой, однако теперь это была другая красота, смертоносная, внушающая страх, великий, подобный восхищению. Тех моих ночей в укромных логовах мне хватало на то, чтобы очистить брюшко от комков засохшей грязи, доведя его до серебряного блеска, и перед тем, как пуститься в дальнейший путь, я всякий раз легонько раскачивала прыжковыми ногами втулку жала, проверяя ее готовность, потому что день и час мне были неизвестны.

Иногда я бесшумно подкрадывалась к людским жилищам

и прислушивалась к голосам, то прицепляясь блестящими щупальцами к оконной раме сбоку, то заползая на крышу, чтобы поудобнее свеситься с ее края вниз головой, ибо я все же не мертвый механизм, снабженный парой сыщицких легких, но существо, которое пользуется, как подобает, своим разумом. А погоня и бегство тянулись уже столь долго, что молва о нас разнеслась повсюду, и я слышала, как старухи пугали мною детей, и узнавала бесчисленные толки об Арродесе, которому почти все сочувствовали в такой же мере, в какой страшились меня, королевской посланницы. Что же болтали простаки на завалинках?

Что я машина, которую натравили на мудреца, осмелившегося посягнуть на королевскую власть. Что я не простой механический палач, а особое устройство, способное произвольно принимать любой облик: нищего, ребенка в колыбели, прекрасной девушки или же металлической змеи. Но эти формы — только маски, в которых подосланная машина является преследуемому, чтобы соблазнить его. Перед всеми же другими она предстает в обличье серебряного скорпиона, который бежит так быстро, что никому еще не удалось сосчитать всех его ног. Тут повествование разделялось на множество версий. Одни говорили, что мудрец вопреки королевской воле хотел даровать всем людям свободу и тем возбудил монарший гнев. Другие — что у него была живая вода и он мог воскресить замученных, и это было запрещено ему высочайшим указом, а он, притворно склонившись перед волей владыки, тайно собирал рать из казненных бунтовщиков, тела которых он похищал с виселиц на цитадели. Многие вообще ничего не знали об Арродесе и не приписывали ему никаких сверхъестественных способностей, а просто полагали, что коли он осужден, то уже по одному этому заслуживает сочувствия и помощи. И хотя никто не знал истинных причин, из-за которых распалилась королевская ярость и созданным мастерам приказано было соорудить в их кузницах гончую машину, — злым все звали это умыслом и несправедливым повелением, ибо, что бы ни совершил гонимый, вина его не могла быть столь же страшной, как судьба, уготованная ему королем. Конца не было этим рассказам, в которых вволю расходилось простецкое воображение, и лишь одно в них не менялось: мне всякий раз приписывали такие мерзости, какие только можно вообразить.

Слышала я также и тьму вранья о смельчаках, будто бы поспешавших на помощь к Арродесу, которые-де преграждали мне дорогу, чтобы пасть в неравном бою, — на самом деле

на это ни единая живая душа не отважилась. Хватало в сказках и предателей, указывавших мне его следы, когда я не могла отыскать их сама, — вот уж отъявленной ложь. Однако же о том, кто я, кем могу быть, что у меня на уме, ведомы ли мне растерянность или сомнение, никто ничего не говорил, да я тому и не удивлялась.

И я столько наслышалась о простых, всем известных гончих машинах, выполняющих королевскую волю, которая была для всех законом, что вскоре совсем перестала таиться от обитателей этих приземистых изб и порой прямо под их окнами дожидалась восхода солнца, чтобы серебряной молнией выскочить на траву и в блистающих брызгах росы связать конец вчерашнего пути с началом сегодняшнего и, стремительно мчась по нему, упиваться остекленевшими взглядами, падением ниц, смертельным страхом и ореолом неприкасаемости, который окружал меня.

Однако настал день, когда мой верхний нюх оказался беспомощен, и тогда, тщетно петляя по холмистым окрестностям в поисках следа, я извела боль и горечь от того, что мое совершенство напрасно. Но, застыв на вершине холма со скрещенными шупальцами и как бы молясь ветреному небу, я по слабому звуку, наполнившему колокол моего тела, вдруг поняла, что не все еще потеряно, и, чтобы исполнить замысел, обратилась к давно заброшенному дару — человеческой речи. Мне не нужно было учиться ей заново, она была во мне, я должна была лишь оживить ее в себе. Сначала я выговаривала слова и фразы резко и визгливо, но скоро мой голос стал почти человеческим, и я сбежала по склону, чтобы прибегнуть к дару слова — там, где меня подвело обоняние. Я вовсе не чувствовала ненависти к беглецу, хотя он и оказался таким проворным и хитрым, — он играл свою роль, а я играла свою. Я отыскала перепутье, на котором след угасал, остановилась и судорожно задержалась на месте оттого, что одна пара моих ног бессознательно тянулась к дороге, покрытой известковой пылью, а другая, лихорадочно царапая камни, тащила меня в противоположную сторону — туда, где белели стены небольшого монастыря, окруженного вековой рощей. Собрав всю свою волю, я тяжело, будто немощная, подползла к монастырской калитке, у которой стоял, подняв очи к небу, монах — казалось, он залюбовался зарей. Я потихоньку приблизилась к нему, чтобы не испугать своим внезапным появлением, и смиренно приветствовала его, а когда он безмолвно обратил на меня внимательный взгляд, спросила, не позволит ли он, чтобы я

поведала ему о деле, в котором сама разобраться не могу. Я поначалу решила, что он окаменел от страха, ибо он даже не пошевелился и ничего не ответил, но оказалось, он просто задумался и минуту спустя сказал, что согласен. Тогда мы пошли в монастырский сад, он впереди, я — за ним. Странная, наверное, пара, но в тот ранний час вокруг не было ни единой живой души — некому подивиться на серебряного богомола и белого монаха. И когда он сел под лиственницей в привычной позе исповедника, не глядя на меня, а лишь склонив ко мне ухо, я рассказала ему, что, прежде чем выйти на эту торную тропу, я была девушкой, предназначенной Арродесу по воле короля. Что я познакомилась с ним на балу во дворце и полюбила его, ничего о нем не зная, и в неведении совершенно отдалась этой любви, которую сама в нем возбудила, и так было, пока после ночного укола я не поняла, кем мне суждено стать для него, и, не видя ни для себя, ни для него другого спасения, проткнула себя ножом, но вместо смерти свершилось перевоплощение. И жребий, о котором я раньше только подозревала, с тех пор ведет меня по следу возлюбленного — я сделалась настигающей его Немезидой. Погоня эта длится долго — так долго, что до меня стало доходить все, что люди говорят об Арродесе, и, хотя я не знаю, сколько в том правды, я начала заново размышлять над нашей общей судьбой, и в мою душу закралось сочувствие к этому человеку, ибо я поняла, что изо всех сил хочу убить его только потому, что не могу его больше любить. Так я познала собственное ничтожество, низость погибшей и поправленной любви, которая адчет мести тому, кто не повинен перед ней ни в чем, кроме собственного несчастья. Оттого и не хочу я продолжать погоню и сеять вокруг себя ужас, а хочу воспротивиться злу, хотя и не знаю как.

Насколько я могла заметить, до конца моего рассказа монах ничуть не избавился от подозрительности: он как бы заранее, еще прежде, чем я заговорила, решил для себя, что все, что я скажу, не подпадает под таинство исповеди, так как, по его разумению, я была существом, лишенным собственной воли. А кроме того, наверное, подумал, не подслана ли я к нему умышленно, ведь, по слухам, иные лазутчики маскируются еще коварнее. Однако заговорил он со мной доброжелательно.

Он спросил меня: «А что, если бы ты нашла того, кого ищешь? Знаешь ли ты, что бы ты сделала тогда?»

И я сказала: «Отец мой, я знаю только то, чего не хочу сделать, но не знаю, какая сила, кроющаяся во мне,

пробудится в тот миг, а потому не могу сказать, не буду ли я принуждена погубить его».

И он спросил меня: «Какой же совет я могу тебе дать? Хочешь ли ты, чтобы этот жребий был снят с тебя?»

Лежа, словно пес, у его ног, я подняла голову и, видя, как он жмурится от солнечного луча, который ударил ему в очи, отраженный серебром моего черепа, сказала:

— Ничего так не желаю, как этого, хоть и понимаю, что судьба моя станет тогда жестокой, потому что не будет у меня тогда более никакой цели. Не я выдумала то, для чего сотворена, и значит, мне дорого придется заплатить, если преступлю королевскую волю, ибо немислимо, чтобы мое преступление осталось безнаказанным, и меня в свою очередь возьмут на прицел оружейники из дворцовых подземелий и вышлют в погоню железную свору, чтобы уничтожить меня. А если бы я даже спаслась, воспользовавшись заложенным во мне искусством, и убежала хоть на край света, то где бы я ни очутилась, все станут бежать меня, и я не найду цели, ради которой стоило бы существовать дальше. И даже судьба, подобная твоей, также будет для меня закрыта, потому что каждый, имеющий, как ты, власть, так же, как ты, ответит мне, что я не свободна духовно, и потому мне не дано будет обрести убежища и под монастырским кровом.

Монах задумался и потом сказал удивленно:

— Я ничего не знаю об устройствах, подобных тебе, но я вижу тебя и слышу, и ты по твоим речам представляешься мне разумной, хотя и подчиненной какому-то принуждению, и — коль скоро ты, машина, борешься, как сама мне поведала, с этим принуждением и говоришь, что чувствовала бы себя свободной, если бы у тебя отняли стремление убить, — то скажи мне, как ты чувствуешь себя сейчас, когда оно в тебе?

И я сказала на это:

— Отче, хоть мне с ним и худо, но я превосходно знаю, как преследовать, как настигать, следить, подсматривать и подслушивать, таиться и прятаться, как ломать на пути препятствия, подкрадываться, обманывать, кружить и сжимать петлю кругов, причем, исполняя все это быстро и безошибочно, я становлюсь орудием неумолимой судьбы, и это доставляет мне радость, которая, наверное, с умыслом была вписана пламенем в мое нутро.

— Снова спрашиваю тебя, — сказал монах. — Что ты сделаешь, когда увидишь Арродеса?

— Снова отвечаю, отче, что не знаю, ибо не хочу

причинить ему ничего дурного, но то, что заложено во мне, может оказаться сильнее меня.

Выслушав мой ответ, он прикрыл глаза рукой и промолвил:

— Ты — сестра моя.

— Как это понимать? — спросила я в полнейшем недоумении.

— Так, как сказано, — ответил он. — А это значит, что я не возвышу себя над тобой и не унижу себя пред тобою, потому что, как бы различны мы ни были, твое неведение, в котором ты призналась, делает нас равными перед лицом Провидения. А если так, иди за мной, и я покажу тебе нечто.

Мы прошли через монастырский сад к старому деревянному сараю. Монах толкнул скрипучие двери, и когда они распахнулись, то в сумраке сарая я различила лежащий на соломе темный предмет, а сквозь ноздри в мои легкие ворвался тот неустанно подгонявший меня запах, такой сильный здесь, что я почувствовала, как само взводится и высовывается из лонной втулки жало, но в следующую минуту взглядом переключенных на темноту глаз я заметила, что ошиблась. На соломе лежала только брошенная одежда. Монах по моей дрожи понял, как я потрясена, и сказал:

— Да, здесь был Арродес. Он скрывался в нашем монастыре целый месяц с тех пор, как ему удалось сбить тебя со следа. Он страдал оттого, что не может предаваться прежним занятиям, и ученики, которым он тайно дал знать о себе, посещали его по ночам, но среди них оказались два мерзавца, и пять дней назад они его увели.

— Ты хотел сказать «королевские посланцы»? — спросила я, все еще дрожа и молитвенно прижимая к груди скрещенные щупальца.

— Нет, я говорю «мерзавцы», потому что они взяли его хитростью и силой. Глухонемой мальчик, которого мы приютили, один видел, как они увели его на рассвете, связанного и с ножом у горла.

— Его похитили? — спросила я, ничего не понимая. — Кто? Куда? Зачем?

— Думаю, затем, чтобы извлечь для себя корысть из его мудрости. Мы не можем обратиться за помощью к закону, потому что это — королевский закон. А эти двое заставят его им служить, а если он откажется, убьют его и уйдут безнаказанными.

— Отче! — воскликнула я. — Да будет благословен час, когда я осмелилась приблизиться и обратиться к тебе. Я пойду

теперь по следам похитителей и освобожу Арродеса. Я умею преследовать, достигать: ничего другого я не умею делать лучше — только покажи мне верное направление, которое ты узнал от немого мальчика.

Он возразил:

— Но ты же не знаешь, сможешь ли удержаться, — ты ведь сама в этом призналась!

И я сказала:

— Да, но я верю, что найду какой-нибудь выход. Может быть, найду мастера, который отыщет во мне нужный контур и изменит его так, чтобы преследуемый превратился в спасаемого.

А монах сказал:

— Прежде чем отправиться в путь, ты, если хочешь, можешь попросить совета у одного из наших братьев: до того, как присоединиться к нам, он был в миру посвящен именно в такое искусство. Здесь он пользуется нас как лекарь.

Мы стояли в саду, уже освещенном лучами солнца. Я чувствовала, что монах все еще не доверяет мне, хотя внешне он этого никак не проявлял. За пять дней след улетучился, и он мог с равной вероятностью направить меня по истинному пути и по ложному. Но я согласилась на все, и лекарь с величайшей предосторожностью принялся осматривать меня, светя фонариком сквозь щели между пластинами панциря в мое нутро, и проявил при этом много внимательности и старания. Потом он встал, отряхнул пыль со своей рясы и сказал:

— Случается, что на машину, высланную с известной целью, устраивает засаду семья осужденного, его друзья или другие люди, которые по непонятным для властей причинам пытаются воспрепятствовать исполнению предписанного. Для противодействия сему прозорливые королевские оружейники изготавливают распорядительную суть непроницаемой и замыкают ее с исполнительной сутью таким образом, чтобы всякая попытка вмешательства оказалась губительной. И, наложив последнюю печать, даже сами они уже не могут удалить жала. Так обстоит дело и с тобой. А еще случается, что преследуемый переодевается в чужую одежду, меняет внешность, поведение и запах, однако же он не может изменить склада своего разума, и тогда машина, не удовлетворившись розыском при посредстве нижнего и верхнего обоняния, подвергает подозреваемого допросам, продуманным сильнейшими знатоками отдельных способностей духа. Так же обстоит дело и с тобой. Но сверх всего я

приметил в твоём нутре устройство, какого не имела ни одна из твоих предшественниц: оно представляет собой многообразную память о предметах, для гончей машины излишних, ибо в ней записаны истории разных женщин, полные искушающих разум имен и речей, — именно от сего устройства и бежит в тебе проводник к смертоносной сути. Так что ты — машина, усовершенствованная непонятным мне образом, а может быть, даже и воистину совершенная. Удалить твоё жало, не вызвав при этом упомянутых последствий, не сможет никто.

— Жало понадобится мне, — сказала я, все ещё лежа ничком, — ибо я должна поспешить на помощь похищенному.

— Что касается того, смогла бы ты сдержать затворы, опущенные над известным местом, или нет, даже если бы хотела этого из всех сил, на сей счёт я не могу сказать ни да, ни нет, — продолжал лекарь, словно не слыша моих слов. — Я могу, если ты, конечно, захочешь, сделать только одно, а именно: напылить на полюса известного места через трубку железо, истёртое в порошок, так что от этого несколько увеличатся пределы твоей свободы. Но даже если я сделаю это, ты до последнего мгновенья не будешь знать, спеша к тому, кому стремишься помочь, не окажешься ли ты по-прежнему послушным орудием его гибели.

Видя, как испытующе смотрят на меня оба монаха, я согласилась на эту операцию, которая продолжалась недолго, не доставила мне неприятных ощущений и не вызвала в моём душевном состоянии никаких ощутимых перемен. Чтобы ещё больше завоевать их доверие, я спросила, не позволят ли они мне провести ночь в монастыре, потому что весь день ушел на беседы, рассуждения и медицинские процедуры.

Они охотно согласились, а я посвятила ночное время исследованию сарая, запоминая запахи похитителей Арроде-са. Я была способна и на это, ибо случалось, что королевской посланнице преграждал дорогу не сам осужденный, а какой-нибудь другой смельчак. Перед рассветом я улеглась на соломе — там, где многие ночи спал похищенный, и, в полной неподвижности вдыхая его запах, дожидалась прихода монахов. Я допускала, что все их рассказы могли быть выдумкой, обманом и, коли так, они должны бояться моего возвращения с ложного следа и моей мести, а этот темный предрассветный час был для них наиболее подходящим, если бы они вознамерились меня уничтожить. Я лежала, притворившись глубоко спящей, и вслушивалась в каждый,

даже самый легкий шорох, доносившийся из сада: ведь они могли завалить чем-нибудь двери и поджечь сарай, дабы плод чрева моего разорвал бы меня в пламени на куски. Им не пришлось бы даже преодолевать свойственного им отвращения к убийству, ибо я была для них не личностью, а только механическим палачом, останки мои они закопали бы в саду и не испытали бы никаких угрызений совести. Я не знала, что предприняла бы, услышав их приближение, и не узнала этого, потому что ни до чего такого не дошло. Я оставалась наедине со своими мыслями и все повторяла про себя удивительные слова, которые сказал, не глядя мне в глаза, старый монах: «Ты — сестра моя». Я по-прежнему их не понимала, но, когда мысленно их повторяла, они всякий раз обжигали меня, словно я уже утратила тот тяжелый плод, которым была обременена. Рано утром я выбежала через незапертую калитку и, миновав монастырские постройки, как указал мне монах, полным ходом пустилась в сторону синевших на горизонте гор — именно туда он и направил мой бег.

Я очень спешила — к полудню меня отделяло от монастыря более ста миль. Я летела, как снаряд, между белоствольных берез, достигла предгорных лугов, и, когда бежала по ним напрямик, высокая трава разлеталась по обе стороны, словно под ударами косы.

След похитителей я нашла в глубокой долине, на мостике, переброшенном через поток, но не обнаружила на нем следов Арродеса — видимо, пренебрегая тяжестью, они по очереди несли его, выказывая этим свою хитрость и осведомленность, ибо понимали, что никто не вправе опередить королевскую машину в ее миссии, что и так они уже немало повредили монаршей власти, отважившись на это свое деяние.

Вы, наверное, хотели бы знать, каковы были мои истинные намерения в этой последней погоне, — я скажу, что и обманула монахов, и не обманула их, ибо на самом деле желала лишь возвратить себе свободу, вернее, добыть ее, поскольку никогда раньше ее не имела. Если же спросите о том, что я собралась делать с этой своей свободой, то не знаю, что вам сказать. Незнание не было мне внове: вонзая в свое обнаженное тело нож, я тоже не знала, чего хочу, — убить ли себя или только познать, пусть даже одно при этом будет равнозначно другому. И следующий мой шаг тоже был предусмотрен — об этом свидетельствовали все дальнейшие события, а потому и надежда на свободу тоже могла оказаться только иллюзией, и даже не моей собственной, а нарочно

введенной в меня, чтобы я действовала энергичнее, побуждаемая такою коварно подсунутой приманкой. Как знать, не равнялась ли свобода отказу от Арродеса? Ведь я могла ужалить его, даже будучи полностью свободной, я же не была настолько безумной, чтобы поверить в невероятное чудо — в то, что взаимность может возвратиться теперь, когда я уже перестала быть женщиной, и пусть не совсем перестала быть ею, но мог ли Арродес, который собственными глазами видел свою возлюбленную с разверстым животом, поверить в это? Итак, хитроумие сотворивших меня простиралось за последние пределы механического искусства, ибо они, несомненно, учли в своих расчетах вариант и этого моего состояния, когда я устремлялась на помощь любимому, утраченному навсегда. Если бы я могла свернуть с пути и удалиться, чреватая смертью, которую мне не для кого родить, я и этим тоже ему не помогла бы. Наверное, меня намеренно сотворили такой благородно никчемной, поработанной собственным желанием свободы, дабы я выполняла не то, что мне приказано прямо, а то, чего — как мне казалось в очередном моем воплощении — хотела я сама. Мое путаное и раздражающее своей бесцельностью самокопание должно было, однако, прерваться только у цели. Расправившись с похитителями, я спасу возлюбленного и сделаю это так, чтобы отвращение и страх, которые он питал ко мне, сменились бессильным изумлением. Так я смогу обрести если не его, то хотя бы самое себя.

Пробившись сквозь густые заросли орешника к первому травянистому склону, я неожиданно потеряла след. Напрасно я искала его; вот здесь он был, а дальше — исчез, как будто преследуемые провалились сквозь землю. Я догадалась вернуться в чащу и не без труда отыскала куст, у которого было срублено несколько самых толстых ветвей. Обнюхав срезы, истекающие соком, я вернулась туда, где след исчезал, и нашла его продолжение по запаху орешника. Беглецы учли, что полоса верхнего запаха недолго продержится в воздухе — ее скоро сдует горный ветер — и потому воспользовались ходулями, но и эта уловка только подхлестнула меня. Запах орешника вскоре ослабел, но я разгадала и новый их фортель — они обернули концы ходуль обрывками джутового мешка. Брошенные ходули я нашла неподалеку от скалистого обрыва. Склон был усеян огромными замшелыми валунами, которые громоздились друг на друга так, что преодолеть эту россыпь можно было, лишь прыгая большими скачками с камня на камень. Так и поступили мои противники. Однако

они не избрали прямого пути — они петляли. Из-за этого мне приходилось сползать чуть ли не с каждого валуна, чтобы, оббежав кругом, сызнава отыскать нюхом зыблущиеся в воздухе частички их запаха. Так я дошла до отвесной скалы, по которой они вскарабкались наверх. Они не смогли бы взобраться туда, не развязав руки своему пленнику, но меня не удивило, что он добровольно полез вместе с ними, — пути назад теперь для него уже не было. Я поползла вверх по разогретому камню, ведомая отчетливым, утроенной силы запахом — ведь им приходилось взбираться по этой отвесной стене, цепляясь за каждый уступ, промоину, впадину: не было такого клочка седого мха, забившегося в расщелину нависших скал, ни мелкой трещинки, дающей минутную опору ногам, которую похитители не использовали бы как ступеньку. Порой в самых трудных местах им приходилось останавливаться, чтобы выбрать дальнейший путь, — я чувствовала это по усиливающемуся запаху. А я буквально мчалась вверх, едва касаясь скалы, чувствуя, как сильнее и сильнее все во мне дрожало, как все во мне играло и пело, ибо эти люди были достойны меня, я чувствовала радость и изумление, потому что восхождение, которое они проделывали втроем, страхуясь одной веревкой, джутовый запах которой остался на острых выступах камня, я совершала одна и без особых усилий и ничто не могло сбить меня с той поднебесной тропы. На вершине меня встретил сильный ветер, который свистел на остром, как нож, гребне, но я даже головы не повернула, чтобы полюбоваться на простершуюся далеко внизу зеленую страну и горизонты, тающие в голубой дымке, а принялась ползать по гребню взад и вперед, пока в незаметной выбоине не нашла продолжение следа. Беловатый излом и осколки камня обозначили место, где один из путников сорвался. Перегнувшись через каменную грань, я посмотрела вниз и увидела маленькую фигурку, словно отдохавшую на середине склона, и острым зрением различила даже темные капли на известняке, словно оставленные недолгим кровавым дождем. Двое других пошли дальше по гребню, и я пожалела, что мне достанется теперь всего один стерегущий Арродеса враг, потому что никогда до сей поры не ощущала так сильно, сколь благородно мое дело, и не была исполнена такой жадной борьбы, отрезвляющей и опьяняющей одновременно. Я побежала вдоль гребня под уклон, ибо беглецы избрали именно это направление, оставив погибшего в пропасти, ведь они очень спешили, а его мгновенная смерть при падении была для них несомненна. Я

приближалась к скальным воротам, похожим на руины гигантского собора, от которого остались только столбы разбитого портала, боковые контрфорсы и одно высокое окно, сквозь которое светилося небо, а на его фоне выделялось тоненькое деревце, с бессознательной отвагой выросшее там из семени, занесенного ветром в горсть праха. За воротами начиналась скалистая котловина, наполовину затянутая туманом, придавленная длинной тучей, из складок которой сыпался мелкий искрящийся снег. Пробегая в тени, которую отбрасывала причудливая башня, я слышала грохот сыплющихся камней, и тут же по склону скатилась лавина. Глыбы колотились об меня с такой силой, что высекали дым и искры из моих боков, но я, поджав все свои ноги, успела упасть в неглубокую выемку под валуном и в безопасности переждала, пока пролетели последние обломки. Мне пришла в голову мысль, что тот, второй, который вел Арродеса, нарочно выбрал это лавиноопасное место в расчете, что я, не зная гор, попаду под обвал и обвал — хоть надежда на это и невелика — раздавит меня. Такая мысль меня обрадовала: ведь если противник не только убегает и путает следы, но и нападает, борьба становится более достойной. На дне выбеленной снегом котловины ~~виднелась~~ постройка — то ли дом, то ли замок, сложенный из самых тяжелых валунов, какие в одиночку не сдвинул бы и гигант; я поняла, что это и есть убежище врага, ибо где же ему еще быть в этой глуши. И, бросив поиски следа, стала сползать с осыпи, погрузив задние ноги в сыплющийся щебень, — передними я как бы плавала в мелких обломках, а средней парой тормозила спуск, чтобы не сорваться. Так я добралась до слежавшегося снега и по нему уже почти бесшумно пошла дальше, пробуя на каждом шагу, не провалюсь ли в какую-нибудь бездонную расщелину. Надо было идти осторожно, ибо враг ожидал моего появления со стороны перевала, и я не стала подходить слишком близко, чтобы меня не заметили из укрепленного здания, а втиснулась под грибообразный валун и принялась терпеливо ждать наступления ночи.

Стемнело быстро, но снег все порошил, ночь оказалась светлой, и я не отважилась приблизиться к дому, а только приподнялась, подперев голову скрещенными передними ногами так, чтобы хорошо видеть его издали.

После полуночи снег перестал, но я не отряхивала его с себя, потому что он сделал меня похожей на окружающие предметы, и от лунных лучей, пробивающихся меж облаками, сиял, как подвенечное платье, которого мне так и

не пришлось надеть. Потом я потихоньку поползла в сторону хорошо видной издали темной глыбы дома, не спуская глаз с окна на втором этаже, в котором тускло тлел желтоватый свет. Я прикрыла зрачки тяжелыми веками, чтобы луна не слепила меня, а к слабому освещению я была приспособлена. Мне показалось, что в этом окне что-то двинулось и какая-то большая тень проплыла вдоль стены, и я поползла быстрее, пока не добралась до подножья постройки. Метр за метром я стала взбираться по кладке, это было нетрудно, потому что между камнями не было швов, их соединяла только собственная огромная тяжесть. Так я добралась до нижнего ряда окон, черневших, как крепостные бойницы, предназначенные для пушечных жерл. Все они зияли мраком и пустотой. Внутри царила такая тишина, будто уже много веков единственной хозяйкой здесь была смерть. Чтобы лучше видеть, я включила свое ночное зрение, сунула голову в каменный проем, открыла светящиеся глаза своих щупальцев, и в глубь комнаты пошел от них фосфорический свет. Напротив окна я увидела сложенный из шершавых плит закопченный камин, в котором давно остыла кучка рассохшихся поленьев и обугленного хвороста, у стены заметила скамью и ржавые инструменты, в углу виднелось продавленное ложе и груда каких-то каменных ядер. Мне показалось странным, что вход ничем не защищен и дверь в глубине распахнута настежь, но именно в этом я увидела западню и, не поверив заманивающей пустоте, вновь бесшумно убрала голову и стала взбираться на верхний этаж. К окну, из которого лился тусклый свет, я и не подумала приблизиться. Наконец я выбралась на крышу и на ее заснеженной площадке прилегла по-собачьи, решив дождаться здесь рассвета. Снизу до меня доносились два голоса, но я не могла разобрать слов. Я лежала без движения, страшась той минуты, когда брошусь на противника, чтобы освободить Арродеса. В напряженном оцепенении я мысленно рисовала картины борьбы, которая завершится уколом жала, но в то же время, пытаясь проникнуть в тайное тайных своей души, уже не доискивалась, как прежде, истоков движущей меня воли, а искала там хотя бы самый слабый намек, знак, который открыл бы мне, одного ли только человека я погублю.

Не знаю, когда исчезла моя нерешительность. Я все еще находилась в неведении, все так же не знала себя, но именно незнание того, прибыла ли я как избавительница или как убийца, вновь вызвало у меня ощущение чего-то до сих пор

неизвестного, непонятно нового, придало каждому моему движению девственную загадочность и наполнило меня восторгом. Этот восторг очень меня удивил, и я подумала, не в том ли снова проявилась мудрость моих создателей, что я могла в моем безграничном могуществе видеть способность нести сразу и помощь, и гибель. Но даже и в этом я не была уверена. Вдруг снизу до меня донесся резкий короткий звук и сдавленный крик, а потом глухой стук, словно упало что-то тяжелое, — и снова тишина. Тотчас я поползла с крыши, перегнувшись через ее край так, что задняя пара ног и втулка жала находились еще на кровле, грудь терлась о стену, а голова, дрожа от усилий, уже дотягивалась до окна.

Свеча, сброшенная на пол, погасла, только фитиль еще тлел красноватым огоньком. Усилив ночное зрение, я увидела лежащее под столом тело, залитое кровью, которое при этом освещении казалось черным, и, хотя все мое существо требовало прыжка, я сначала втянула в себя воздух с запахом крови и стеарина. Это был чужой человек, — видимо, дело дошло до схватки и Арродес опередил меня. Как, когда и почему — эти вопросы меня не занимали: меня как громом поразило то, что с ним, живым, я осталась в этом пустом доме один на один, что нас теперь только двое. Я вся дрожала, суженая и убийца, отмечая одновременно немигающим оком мерные судороги этого большого тела, которое испускало последнее дыхание. Вот сейчас бы уйти потихоньку в мир заснеженных гор, чтобы только не оказаться с ним лицом к лицу, чтобы не встретились две пары наших глаз, нет, три пары, поправила я себя и поняла, как безвыходно осуждена быть смешной и страшной; и это предчувствие насмешки и издевательства, все во мне подавив, толкнуло меня вперед, и я бросилась в проем вниз головой, как паук на добычу, и, уже не обращая внимания на скрежет брюшных пластин о подоконник, стремительной дугой перескочила через недвижимого врага, целясь в дверь.

Не помню, как я распахнула ее. Сразу за порогом начиналась крутая лестница, и на ней навзничь лежал Арродес, упираясь повернутой головой в истертый камень нижней ступеньки. Наверное, они боролись здесь, на этой лестнице, оттого я почти ничего и не слышала. И вот он лежал у моих ног в разорванной одежде, и его ребра вздымались, и я видела его наготу, которой не знала и о которой думала только в первую ночь на королевском балу.

Он дышал хрипло. Видно было, как он силится разлепить веки, а я, откинувшись назад и поджав брюшко, всматрива-

лась сверху в его запрокинутое лицо, не смея ни коснуться его, ни отступить, ибо, пока он был жив, я не была в себе уверена. Жизнь уходила из него с каждым вздохом, а я помнила, что заклятие лежит на мне до его последнего дыхания, поскольку королевский приказ надлежит выполнить даже во время агонии, и не хотела рисковать, ибо он еще жил и я не знала, хочу ли его пробуждения. Что, если бы он хоть на минуту открыл глаза и взглядом обнял бы меня всю, такую, какой я стояла перед ним в молитвенной позе, бессильно смертоносная, с чужим плодом в себе, — было бы это нашим венчанием или немилосердно предусмотренной пародией на него?

Но он не очнулся, и, когда рассвет прошел между нами в клубах мелкого искрящегося снега, который задувала в окно горная метель, он, еще раз простонав, перестал дышать, и тогда, уже успокоенная, я легла рядом, прильнула к нему, сжала в объятиях и лежала так при свете дня и во мраке ночи все двое суток пурги, которая укрывала нас нетающим одеялом. А на третий день взошло солнце.

1974 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

От издательства

«Рукопись, найденная в ванне» увидела свет в 1961 году. Это было время «оттепели» в СССР, ветер перемен затронул и Польшу — в большей даже степени, чем нашу страну, где роман так и не печатался вплоть до 1993 года, — что, на деле, не вызывает удивления: роман этот с убийственной силой изображает суть тоталитарной системы с ее манией преследования, пронизывающей все и вся и превратившейся в образ жизни, с ее чудовищной, обезличенной бюрократической машиной — и, конечно же, ложью, ставшей обязательной нормой бытия. Эти знаки тоталитарной страны, государства, читатель с легкостью вычленил в «Рукописи...», казалось бы, повествующей всего лишь о Здании — о некоем учреждении разведки, не более того. Но тут же вспоминается, что такие автономные, самодостаточные структуры-гиганты — НКВД, КГБ, гестапо — возникают именно под крылом тоталитарных режимов.

Мало того, Станислав Лем, как всегда, создал произведение удивительно многослойное. «Рукопись...» — первоклассный психологический роман; в нем демонстрируется феномен поработленного духа, личности, лишенной внутренней свободы и чувства собственного достоинства, — феномен, без которого тоталитаризм был бы невозможен.

В Польше, стране от века свободолюбивой, поработить дух не удалось, поэтому-то «Рукопись, найденная в ванне» была там опубликована немедленно после создания. Но — с одним цензурным условием: автору пришлось написать вводную главу, в которой читателю сообщается, что

действие романа происходит в Америке, в каком-то Третьем Пентагоне и так далее.

«Я был вынужден, — писал он переводчику, — предложить этому роману «Предисловие», в котором место действия фиктивно переносилось в Америку, в противном случае, как сообщил мне польский издатель, роман не сможет выйти в свет по цензурным соображениям» (из письма от 10 октября 1991 г.).

Это вынужденное «Предисловие» вошло во все польские и переводные издания. Нам проще всего было бы его опустить, однако же глава-предисловие интересна сама по себе: самостоятельный фантастический рассказ, очень забавный и очень «лемовский», а кроме того, как считает сам писатель, это документ времени. Поэтому, с согласия автора, мы публикуем «предисловие для цензора» в приложении.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

к предыдущим изданиям

«Рукопись, найденной в ванне»

«Записки человека неогена» — один из драгоценнейших памятников архаического прошлого Земли. Они относятся к позднему периоду предхаотической культуры, которая предшествовала Великому Распаду. Вот иронический парадокс истории: о цивилизациях раннего неогена, о пракультурах Ассирии, Египта и Греции мы знаем много больше, нежели о временах праатомистики и ранней астрогации. От архаических культур все же остались долговечные памятники из кости, камня, обожженной глины и бронзы, тогда как в среднем и позднем неогене для запечатления всей совокупности знаний применялась так называемая бумага.

Это производное целлюлозы, вещество непрочное, почти совершенно белое, вальцевали и резали на прямоугольные листы, затем на них посредством надавливания наносили черной краской всевозможную информацию, складывали их вместе и особым образом сшивали.

Чтобы понять, почему стал возможен Великий Распад, катастрофа, за считанные недели истребившая наследие многих веков, нужно вернуться на три тысячи лет назад. В

те времена не было еще ни метамнестики, ни кристаллизаторов информации.

Все функции нынешних мнеморов и гностронов выполняла бумага. Правда, существовали уже зачатки механической памяти, но то были огромные и сложные в обслуживании машины, используемые, впрочем, лишь в узко специальных целях. Их называли «электрическими мозгами», в силу того же, понятного лишь с исторической дистанции преувеличения, в силу которого малоазийские зодчие полагали, что башни Баа-Билонской святыни упираются в небо.

Мы точно не знаем, когда и где вспыхнула эпидемия папиролиза. По-видимому, это случилось в южных, пустынных провинциях тогдашнего государства Аммер-Ку, где строили первые космические порты. Современники не сразу поняли, какая им угрожает опасность. Мы не склонны осуждать их за легкомыслие столь сурово, как это делали многие позднейшие историки. Действительно, бумага не отличалась особой прочностью, однако нельзя возлагать на предхаотическую культуру ответственность за то, что она не предусмотрела появления катализатора РВ, известного также как фактор Гарция. Впрочем, действительная природа этого фактора была установлена лишь в галактическую эпоху Продоктором Фолсесом Шестым, обнаружившим, что его колыбелью является третий спутник Урана. Случайно занесенный на Землю одной из раннеорбитальных исследовательских экспедиций (согласно Прогностору Фаа-Вааку это была восьмая малалдийская экспедиция), фактор Гарция вызвал лавинообразный распад бумаги на всем земном шаре.

Подробности катаклизма нам неизвестны. Согласно устным преданиям, кристаллизированным лишь в четвертом галактиуме, очагами эпидемии были крупные накопители знаниеносных бумаг, так называемые бао-блио-теки. Реакция протекала почти моментально. На месте бесценных залежей коллективной памяти оставались груды серой, легкой как пепел пыли.

Предхаотические ученые полагали, что имеют дело с особым вирусом, и потратили много времени на напрасные поиски. Трудно не согласиться с горьким замечанием Четвертого Тавридского Историогностора, что они оказали бы большую услугу человечеству, посвятив это потраченное впустую время вытесыванию распадавшейся информации в камень.

Поздний неоген, эпоха катастрофы, не знал ни гравитроники, ни киберкономики, ни синтефизики. Экономика

отдельных этнических групп, так называемых наций, имела относительно автономный характер. Она целиком зависела от циркуляции бумаги, так же как и бесперебойность доставок на Марс, где шла лишь первая стадия строительства Тиберии Сыртовой.

Папиролиз обратил в руины не только экономическую жизнь. Те времена не без оснований называют эпохой папирократии. Бумага регулировала и координировала все виды коллективной деятельности, а сверх того определяла, не очень-то ясным для нас образом, судьбы отдельных людей (в качестве так называемых «личных бумаг»). Впрочем, прикладные и ритуальные значения бумаги в тогдашнем фольклоре (а катастрофа пришлось на период высшего развития культуры предхаотического неогена) все еще не систематизированы до конца. Значение одних ее разновидностей нам известно, от других остались лишь пустые названия (аффиши, чьеки, баункнооты, духоменты и пр.). В ту эпоху нельзя было родиться, вырасти, учиться, трудиться, путешествовать, добывать средства к существованию без посредничества бумаги.

Сказанное дает понятие о размерах катастрофы, обрушившейся на Землю. Все контрмеры: карантин, изоляция целых городов и континентов, строительство герметических убежищ — не принесли результата. Наука того времени была бессильна перед субатомной структурой катализатора, возникшего в ходе анабиотической эволюции. Впервые в истории общественным связям угрожал полный распад. Как гласит надпись, высеченная анонимным певцом катаклизма на стене бани в раскопках Фри-Ско (одного из наиболее сохранившихся городов северного Аммер-Ку) и расшифрованная археологами, «небо над городом затмили тучи распавшейся бумаги, а потом сорок дней и ночей шел грязный дождь; так, с ветром и потоками грязи, стекла с лица Земли человеческая история».

Поистине жесток был удар, нанесенный гордости человека позднего неогена, мнившего, что уже достал рукой до звезд. Кошмар папиролиза захватывал все области жизни. В городах вспыхнула паника, люди, лишившиеся всего, что удостоверяло их личность, теряли рассудок, снабжение рушилось, торжествовало насилие; техника, наука, образование — распадалась и гибли. Выходящие из строя электростанции не удавалось отремонтировать за неимением планов и чертежей. Гас электрический свет, и наступившую тьму рассеивало лишь пламя пожаров.

Так неоген сменился хаотическим периодом, который продолжался два столетия с лишним. От первой четверти века Великого Распада не сохранилось ни одной писаной хроники, по причинам слишком понятным. Можно только догадываться, в каких условиях правительство возникшей за полстолетия до того Земной Федерации пыталось предотвратить распад общества.

Чем выше цивилизация, тем важнее для нее бесперебойное обращение информации, тем чувствительнее она к любому его нарушению. Кровообращение общественного организма замирало. Единственной сокровищницей знаний оставалась память живущих специалистов, следовательно, ее надо было запечатлеть прежде всего. Эта задача, казалось бы, не слишком сложная, оказалась неразрешимой. Знания позднего неогена были настолько расчленены, что ни один специалист не охватывал всей своей области. Воссоздание знаний требовало поэтому кропотливых, долгих усилий целых групп специалистов. Если бы за это принялись сразу, утверждает Лаа Бар, Восьмой Полигностор из Бермандской исторической школы, цивилизация неогена была бы вскоре реконструирована. Высокочтимому создателю хронологической систематики неогена следует ответить, что таким образом, возможно, и удалось бы накопить горы знаний, однако после достижения этой цели некому было бы ими воспользоваться. Это было бы не по силам ордам кочевников, покидающих руины опустошенных городов, а их одичавшие дети уже и вовсе не владели бы искусством чтения и письма. Цивилизацию приходилось спасать в то самое время, когда приходила в упадок промышленность, замирало строительство, останавливался транспорт, когда о помощи молило голодающее население целых континентов и лишенные подвоза колонии Марса, которым угрожала гибель. Не могли же специалисты предоставить человечество самому себе, чтобы в тишине и спокойствии создавать новые способы записи информации.

Усилия предпринимались отчаянные. Вся продукция некоторых отраслей развлекательной индустрии (например, так называемой киноиндустрии) отныне использовалась лишь для записи информации о движении судов и ракет, потому что их катастрофы все учащались. Воссоздаваемые по памяти планы энергосетей наносили на одежную ткань. Все запасы пригодных для писания искусственных материалов были направлены в школы. Ученые-физики осуществляли надзор за атомными реакторами, грозившими взрывом. Команды

специалистов-спасателей мчались с одного конца планеты на другой. Но все это были лишь песчинки порядка, атомы организации, которые тонули в океане воцарявшегося хаоса. Хаотическую культуру, колеблемую неустанными потрясениями, противостоящую половодью неграмотности, невежества, деградации, следует оценивать не по тому, что она утратила из наследия истории, но по тому, что она, вопреки всему, сумела спасти.

Противодействие первой волне Великого Распада потребовало наибольших жертв. Удалось удержать передовые посты землян на Марсе и реконструировать технологию — становой хребет цивилизации. Магнитотеки и микрофоны пришли на смену хранилищам распавшейся бумаги. Увы, в других областях потери оказались ужасны.

Новых средств записи не хватало для удовлетворения даже самых неотложных потребностей, поэтому ради спасения материальных основ культуры в жертву приносилось все, что не служило этому прямо. Самая тяжелая катастрофа постигла гуманитарные науки. Знания передавались изустно, в виде лекций, слушатели которых стали наставниками следующего поколения. То было одно из поразительнейших проявлений примитивизма хаотической культуры; так что, выйдя из катастрофы, Земля понесла невосполнимые потери в области историографии, палеологии и палеоэстетики. Удалось спасти лишь жалкие крохи литературного наследия. В прах обратились миллионы томов исторических хроник, бесценное достояние среднего и позднего неогена.

И вот, на исходе хаотического периода, положение было в высшей степени парадоксальным: при сравнительно развитой технике — уже существовали ранняя гравитроника и технобиотика, а также регулярное внутrigалактическое сообщение, — человечество ничего или почти ничего не знало о собственном прошлом. Все, что сохранилось из огромного неогенического наследия, — это не связанные между собой фрагменты, сообщения о фактах, искаженные до полной невнятицы, переиначенные в ходе многократного устного пересказа, и именно такая история, с ненадежной по сей день хронологией важнейших событий, полная пропусков и лакун в кристаллах познания, досталась нам в удел.

Можно лишь повторить вслед за Субгностором Наппро Лейзом, что папиролиз обернулся историолизом. Лишь на этом фоне понятно все значение трудов Прогностора Вид-Висса, который, трудясь в одиночку, в разладе с

официальной историографией, открыл «Записки человека неогена» — дошедший до нас через бездну столетий голос одного из последних жителей погибшего государства Аммер-Ку. Это сокровище тем драгоценнее, что не имеет аналогов. С ним не идут ни в какое сравнение духовноментальные находки, которые археологическая экспедиция Палеогностора Мнемонита Брадраха Сыртийского извлекла из мергелей нижнего преднеогена. Это памятники верований, господствовавших в Аммер-Ку в эпоху VIII Династии, а речь в них идет о всякого рода Опасностях, как-то: Червой, Красной и Желтой; вероятно, то были заклятия тогдашней каббалистики, связанные с загадочным божеством Рас-Са, которому будто бы приносили в жертву людей. Но это истолкование остается предметом спора между Трансаденской и Великосыртийской школами, а также группой учеников знаменитого Год-Ваада.

Следует опасаться, что большая часть истории неогена для нас навсегда останется тайной, ибо самые важные подробности общественной жизни не могут быть установлены даже методом хронотракции. Изложение того отрезка истории, который удалось частично реконструировать, выходит за рамки настоящего предисловия. Мы ограничимся немногими замечаниями, которые помогут читателю лучше понять «Записки». Эволюция древних верований протекала двухэтапно. В первую (древнемеловую) эпоху существовали различные религии, которые основывались на признании сверхъестественного, нематериального начала, первичного по отношению ко всему сущему. От древнемеловой эпохи остались такие долговечные памятники, как пирамиды (относящиеся к раннему неогену), а также сооружения, обнаруженные в мезогенических раскопках (островерхие готические святыни Лафранси).

Во вторую, неомеловую, эпоху верования приняли иной характер. Метафизическое начало как бы воплотилось в материальном, земном мире. Одним из главных был культ Кап-Э-Таала (или Каппи-Таа в транскрипции кремонских палимпсестов). Это божество почиталось на всей территории Аммер-Ку, а также в Австралоиндии и части Европейского полуострова. Связь между изображениями слона и осла, найденными на территории Аммер-Ку, и культом Кап-Э-Таала кажется сомнительной. Самого имени «Кап-Э-Таал» нельзя было произносить (запрет, аналогичный Из-Ра-Эльским); в Аммер-Ку это божество называли чаще всего Тоо-Ллар. Впрочем, у него имелось множество других священных имен, текущей оценкой которых занимались

особые ордена (напр. Макк-Леров). Колебания рыночной ценности отдельных имен (или атрибутов?) Кап-Э-Таала доселе остаются загадкой. Установить его сущность в предхаотических верованиях трудно постольку, поскольку Кап-Э-Таалу отказывали в сверхиндивидуальном бытии, а значит, его не считали духом, да и вообще существом (что указывает на тотемическую природу данного культа — обстоятельство, удивительное в эпоху развитых точных наук), и отождествляли, по крайней мере в практической деятельности, с движимыми и недвижимыми материальными благами. Вне их он никакого бытия не имел. Было, однако, доказано, что в жертву ему приносили огромные количества сахарного тростника, кофе и пшеницы, и притом в периоды экономических спадов, словно бы для ублагоустройства этого жестокого божества. Описанное выше противоречие усугубляется наличием в культе Кап-Э-Таала элементов Откровения: считалось, что все мироздание покоится на так называемой «св. собственности». Попытки поколебать этот догмат жестоко карались.

Как известно, эпохе глобальной киберэкономики предшествовали на исходе неогена зачатки социостаза; по мере того как культ Кап-Э-Таала с его сложными корпоративными ритуалами и институциональными обрядами уступал одну земную территорию за другой сторонникам светской социостатической экономики, нарастал конфликт между областью господства этой архаической веры и остальным миром.

Центром наиболее фанатической веры до конца, то есть до создания Земной Федерации, оставалось государство Аммер-Ку, во главе которого стояли сменявшие друг друга династии Пресынидов. Это не были в точном смысле слова жрецы Кап-Э-Таала. Пресыниды (или Пресс-Денн-Тиды в терминологии тиррийской школы) в эпоху XIX династии построили Пентагон. Чем была эта постройка позднего неогена, первая в ряду каменных гигантов? Предыстории аквилинской школы поначалу считали ее усыпальницей Пресынидов, по аналогии с египетскими пирамидами. Но в свете дальнейших открытий от этой гипотезы пришлось отказаться. Высказывались предположения, что это были святыни Кап-Э-Таала, в которых замышлялись крестовые походы против неверных народов и разрабатывалась наиболее эффективная стратегия их обращения.

При отсутствии достоверных фактов, которые позволили бы решить эту проблему, безусловно, центральную для

понимания эпохи правления последних династий — XXIV и XXV, — историки обратились за помощью к Институту темпористики. При его любезном содействии оказалось возможным использовать новейшие достижения в области хрономобилизма для выяснения загадки Пентагонов. Институт предпринял двести девяносто зондирований в глубь прошлого времени, затратив 17 триллионов эргов мощности, накопленной в сателлитарных хроноглотах Луны.

В соответствии с теорией хрономобилизма двигаться вспять во времени реально можно лишь вдаль от крупных материальных масс, поскольку сближение с ними ведет к невероятному расходу энергии. Поэтому прошлое наблюдалось при помощи зондов, зависающих высоко в стратосфере. Их внезапное появление в небе и столь же внезапное исчезновение было, наверное, немалой загадкой для людей неогена. Как утверждает Продоктор Стерлпранс Второй, заброшенный в прошлое ретрохрональный зонд выглядит там как выпуклый диск, напоминающий две сложенные одна с другой, свободно плывущие в воздухе тарелки.

Попятные хронозонды дали богатый материал, в частности, благодаря им мы располагаем подлинными фотографиями строительства Первого Пентагона. Это здание, имевшее форму правильного пятигранника, каждая сторона которого простиралась на 460 инфов, было сущим лабиринтом из бетона и камня. Длину его коридоров Историогностор Сер Ээн оценивает в 17—18 тогдашних миль. Вход в здание день и ночь охраняли двести низших служителей. Хроники, раскопанные в руинах Вас-Эн-Тона, позволили открыть, в ходе дальнейшего хронобурения, Второй Пентагон, не столь внушительный, как Первый, поскольку значительная его часть была заглублена в грунт. Некоторые фрагменты упомянутых хроник указывали на существование следующего, Третьего Пентагона, объекта уже совершенно самостоятельного, своего рода государства в государстве — благодаря изощренному камуфляжу и огромным запасам продовольствия, воды и сжатого воздуха. Но так как систематическое хроноксиальное зондирование всей территории Аммер-Ку XX века не обнаружило ни малейших следов этой постройки, историки в своем большинстве решили, что в раскопанных хрониках говорится о Третьем Пентагоне в метафорическом смысле, что здание это существовало как творение веры, воображения — лишь в умах верующих, а распространение слухов о нем имело целью поднятие духа все менее многочисленных почитателей Кап-Э-Таала.

Такова была официальная версия земной историографии, когда молодой еще Прогностор Вид-Висс начал свою археологическую деятельность.

Изучив собственным методом все доступные материалы, он опубликовал работу, в которой утверждал, что, когда могущество Пресынидов уже явственно клонилось к упадку, а владения их сокращались, они начали строить новый центр власти вдали от крупных скоплений людей, где-то в гористой глуши Аммер-Ку, и притом глубоко под скалами, чтобы сделать это последнее пристанище божества недоступным для непосвященных. Вид-Висс считал Пентагон Последней Династии чем-то вроде коллективного военного мозга, задачей которого было блюсти чистоту веры в Кап-Э-Таал, а также вновь обращаться в ее лоно отпавшие от нее народы.

Гипотезу Вид-Висса в научных кругах встретили холодно, поскольку она противоречила большинству установленных фактов. В частности, критики, в лице Супергносторов Йоо На Вака, Квирлсто и Писуово из марсианской школы сравнительной палеографии, указали на внутреннюю противоречивость предложенной Вид-Виссом хронологической канвы событий.

Дело в том, что согласно теории Вид-Висса Последний Пентагон был построен всего за несколько десятков лет до папиролизной катастрофы. Если бы, подчеркивали критики, Третий Пентагон реально существовал, укрытые в нем Пресыниды, несомненно, попытались бы воспользоваться анархией, воцарившейся после катастрофы, чтобы в самом начале хаотического периода захватить власть над Землей. Даже если бы такое покушение на власть Федерации было подавлено, от него остался бы какой-нибудь след в устном предании. Однако историографы ни о чем подобном не сообщают.

Вид-Висс защищал свою гипотезу, утверждая, что, когда население Аммер-Ку перешло на сторону «неверных» и объединилось с остальной Федерацией, властители Последнего Пентагона приказали полностью его изолировать. Отрезав себя от всего человечества, подземный молах просуществовал до папиролизной катастрофы и хаотического периода, не имея никакого контакта с тем, что происходило на поверхности планеты.

Вид-Висс признавал, что столь абсолютная, столь герметичная изоляция гипотетического сообщества духовных и военных служителей Кап-Э-Таала от внешнего мира представляется неправдоподобной. Он даже выдвинул пред-

положение, что Последний Пентагон каким-то образом мог подглядывать за земными событиями, но, как он полагал, этот коллективный военный мозг Последней Династии был уже неспособен к каким-либо агрессивным или хотя бы диверсионным действиям. Ни нападение на Федерацию, ни даже заговор против нее оказались ему не по силам: закопавшись однажды в недрах скал, он выпал из хода истории, отгородился от нее не только стенами, но укладом внутренних отношений, живя одним лишь мифом, одной легендой о прежнем могуществе Кап-Э-Таала, и выявлял, контролировал, преследовал ересь в самом себе.

Эти последние допущения Вид-Висса историография обошла молчанием. Но ученый не опустил рук. Целых двадцать семь лет вместе с горсткой верных сотрудников он вел систематические поиски вдоль всей гряды Скалистых гор. Наконец его упорство восторжествовало — когда о нем почти совершенно забыли. 28 мая 3146 года передовой отряд археологов, отвалив не одну сотню тонн скальной осыпи у подножия горы Гаар-Варда, оказался перед превосходно сохранившимся выпуклым металлическим щитом, окрашенным в маскировочные цвета, — входом в Последний Пентагон...

Исследование подземного здания потребовало огромных сил и средств, поскольку на семьдесят втором году изоляции от мира Пентагон Последней Династии стал жертвой природного катаклизма. Из-за незначительной подвижки гранитного основания главного горного массива донный слой лопнул, и открылся проход для подкоркового слоя магмы. Защитная бетонная оболочка, вдавленная в глубь треснувшей скалы, не выдержала напора. Жидкая лава ворвалась в постройку и заполнила ее до самого верха; так прекратилась загадочная подземная деятельность этого муравейника последних Пресынидов; он обратился в мертвую окаменелость, которая тысячу шестьсот восемьдесят лет ждала своего Колумба.

Не наша задача знакомить читателя с безмерным богатством раскопок Третьего Пентагона; тут мы отсылаем читателя к специальным работам. Добавим лишь несколько замечаний, которые, надеемся, будут полезны при чтении «Записок».

«Записки» были обнаружены на третьем году раскопок на пятом ярусе, в системе внутренних коридоров, где располагались банные помещения. В одном из них, заполненном, как и все остальные, окаменевшей лавой, нашли части двух

человеческих скелетов, а под ними — свиток бумаги, оказавшийся оригиналом «Записок».

Как убедится Читатель, смелые предположения Историогностора Вид-Висса в своем большинстве оправдались. В «Записках» изображена судьба замкнутого в подземелье общества, которое, не принимая к сведению информацию о действительных событиях, вело себя так, будто по-прежнему остается мозгом и штабом державы, простирающейся вплоть до самых отдаленных галактик, — пока, наконец, притворство не стало верой, а вера — уверенностью. Читатель увидит, как фанатичные слуги Кап-Э-Таала создали миф так называемого «Антиздания», как вели они жизнь, подглядывая друг за другом, проверяя благонадежность всех поголовно и их преданность мифической «Миссии», даже тогда, когда всякое представление о реальности этой «Миссии» улетучилось из их сознания и осталось им только одно: все глубже и глубже погружаться в пучину коллективного безумия.

Историческая наука еще не сказала своего последнего слова о «Записках», называемых также, по месту, где они были обнаружены, «Рукописью, найденной в ванне». Нет и единого мнения о датировке отдельных частей манускрипта (первые одиннадцать страниц Гибериадские Гносторы считают позднейшим апокрифом), однако для Читателя эти споры специалистов несущественны, и мы умолкаем, чтобы дать голос последнему дошедшему до нас свидетельству папирографического периода неогена.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Роман *«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ВАННЕ»* был опубликован в 1961 г. — Lem S. *Pamiętnik znaleziony w wannie*. Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1961.

На русском языке публикуется впервые.

Роман переведен на 8 языков.

Роман *«ВЫСОКИЙ ЗАМОК»* вышел в свет в 1966 г. — Lem S. *Wysoki Zamek*. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.

Первая публ. на русском языке (в пер. Е. Вайсброта): Отд. изд. М. 1969. Это издание взято за основу настоящей публикации, с изменениями и дополнениями по 3-ему польскому изданию.

Роман переведен на 3 языка.

Повесть *«МАСКА»*: первая публ. в газете — *Kultura* (Warszawa), 1974, № 37 — 38; книжная публ. в сб. *«Маска»* — Lem S. *Maska*. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.

Первая публ. на русском языке (в пер. И. Левшина): журнал *«Химия и жизнь»*, 1976, № 7 — 8. Первое книжное издание в сб.: Лем С. *Маска*. М.: Наука, 1990.

Повесть переведена на 5 языков (публикации в книжных изданиях).

К. Д.

СОДЕРЖАНИЕ

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ВАННЕ. Роман.

Перевод К. В. Душенко 5

ВЫСОКИЙ ЗАМОК. Роман. Перевод Е. П. Вайсброта 175

МАСКА. Повесть. Перевод И. В. Левшина 293

ПРИЛОЖЕНИЕ. Предисловие автора

к предыдущим изданиям «Рукописи, найденной в ванне»

Перевод К. В. Душенко 338

Библиографическая справка. К. Д. 350

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 10 ТОМАХ
Т 5

Редакторы *А.И.Мирер, А.В.Молчанов*
Художественный редактор *В.Б.Прищепа*
Технический редактор *Л.Е.Синенко*
Корректоры *Т.В.Калинина, Н.М.Пуцина*

Лем С.

Л44 Рукопись, найденная в ванне. Высокий замок: Романы. Маска:
Повесть. Собр. соч. в 10 тт. Т. 5. — М.: «Текст», 1994. — 351 с.

Л 4703010100-036 подп.
94

ISBN-5-87106-058-7

Сдано в набор 19.10.92. Подписано в печать 26.04.93. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 20,77. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 5238. С21.

Издательство «Текст»
125190 Москва, А-190, а/я 89

ЛР № 063402 от 26.05.94

Литературно-издательская студия «РИФ»
101000 Москва, Чистопрудный бульвар, 12а,
Международный фонд развития
кино и телевидения для детей и юношества
(«Фонд Ролана Быкова»)

Набор и диапозитивы изготовлены
в Московской типографии № 7.
Министерство печати и информации Российской Федерации
103001 Москва, Трехпрудный пер., 9

Отпечатано на Книжной фабрике № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

STANISŁAW LEM

